ВРЕМЕНА

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

4 (20) 2021

ВРЕМЕНА

Литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выпуск 4 (20) 2021

Бостон
2021

ВРЕМЕНА

Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

Главный редактор: Давид Гай

VREMENA

International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary

Editor-in-Chief: David Guy

Published by **M·Graphics | Boston, MA**

ISSN 2575-9558

Copyright © 2021 by M·Graphics

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except for brief quotations in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

For any information about obtaining permission
to reproduce selections from the journal, email or call to
the publisher (mgraphics.books@gmail.com / 781-990-8778)
or editor-in-chief (guydavid094@gmail.com / 646-270-9615).

Printed in the U.S.A.

Редакционный совет:

Ирина Басова-Заборова	(Франция)
Владимир Батшев	(Германия)
Марк Вейцман	(Израиль)
Семён Каминский	(США)
Геннадий Кацов	(США)
Гари Лайт	(США)
Андрей Остальский	(Англия)
Ларс Поульсен-Хансен	(Дания)
Семён Резник	(США)
Эллайда Трубецкая	(США)
Марина Тюрина-Оберландер	(США)
Евсей Цейтлин	(США)

КУПОН ДЛЯ ПОДПИСКИ

Дорогие читатели!

Начинается подписка на журнал на 2022 год (4 номера).
Для получения всех номеров выпишите чек / money-order
на сумму **70 долларов** (почтовые расходы по США включены)
на имя компании-издателя: **M•Graphics**

Вложите чек/money-order в конверт и отправьте по адресу:

Mr. David Guy 97-07 63th Road, Apt. 11H Rego Park, NY 11374

Телефон для справок: **646-270-9615.** Спасибо!

Вы также можете оформить подписку на нашем вебсайте:

vremena.mgraphics-books.com/subscription

Наши зарубежные читатели теперь получат возможность оформить подписку на журнал на нашем сайте с онлайн-оплатой:

vremena.mgraphics-books.com/subscription

Стоимость подписки для зарубежных читателей (включая доставку журнала в любую страну мира) — US $80

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие друзья! Именно так хочу обратиться к вам, читателям нашего издания. Вы держите в руках четвертый, последний номер журнала за этот год. В некотором роде отмечающего первый юбилей — пятилетие.

Времена, как известно, не выбирают. Мы живем, ощущая подземные толчки, это не землетрясение, но предупреждение, предостережение. Мир меняется на глазах: не ясны первые последствия еще не вполне утихнувшей пандемии, раздробленность, разобщенность Америки — реальность. Далеко не всем по нутру вводимое понятие полного, тотального равенства, не равноправия, а именно равенства…

Каждый из нас применяет на себя, в какой Америке ему лучше, комфортнее, честнее существовать. Некоторые так и не принимают решения, оставаясь в пустом, незанятом пространстве. Нас пугают призраком социализма. Нет, это никакой не социализм, это гибридная модель, сочетающая жесткий политический и идеологический контроль со свободной многоукладной экономикой, обеспечивающей стране стабильность. Сможет ли президент Байден сгладить противоречия, сблизить обе Америки, отторгающие друг друга? Многие в этом сомневаются, хотя, согласно опросам, рейтинг президента высок — более 50 процентов.

Наш журнал неоднократно писал на эти темы (сошлюсь на статьи замечательного публициста Владимира Фрумкина).

Каким в этой связи должен быть «толстый» литературный журнал, чтобы его читали, стремились стать подписчиками? Не открою ничего нового — он должен отвечать на возросшие читательские запросы. А значит, качество и еще раз качество прозы, поэзии, публицистики, лучшие образцы творчества авторов-иммигрантов, живущих в разных концах света, а не только в Америке. Не секрет — количество «русских» бумажных литературных изданий неумолимо сокращается, выпускать их финансово все труднее. И то, что тираж «Времен» в этом году увеличился на четверть, вселяет в нас, его создателей, определенный оптимизм.

Что нового появилось в журнале? Прежде всего, появился вебсайт журнала — **vremena.mgraphics-books.com.** Он сделан на современной программной базе и дает всеобъемлющее представление о деятельности журнала. Выставлены для чтения все вышедшие за последние пять лет номера. С помощью сайта многие оплачивают подписку. Теперь любому русскоязычному читателю можно будет подписаться на наше издание,

где бы он ни жил, — в любой точке земного шара — подробнее об этом можно узнать на сайте журнала. «Времена» также заняли достойное место на популярном российском интернет-портале «Журнальный зал».

Это и многое другое я как главный редактор связываю с нашим новым издателем Михаилом Минаевым. Он живет и работает в Бостоне. В 2001 году вместе с несколькими единомышленниками создал книжное издательство M•Graphics и до сегодняшнего дня остается его руководителем. Благодаря его непосредственному участию в подготовке номеров дизайн журнала стал гораздо привлекательнее.

Одновременно хочу отметить членов редакционного Совета, куда входят известные литераторы США и ряда других стран. Их советы, рекомендации, конкретная помощь в редактировании и корректуре текстов неоценимы. Моя особая признательность — Марине Тюриной-Оберландер.

В редакционном портфеле — немало любопытных и даже сенсационных текстов, которые увидят свет в будущем году. Раскрывать секреты не стану — вы это все прочтете на страницах журнала.

Наконец, о самом главном изменении, увы, неизбежном. На днях мы получили письмо из типографии, осуществляющей печать и отправку номеров журнала подписчикам. Нас уведомили о резком удорожании бумаги, печати и почтовых отправлений. Удивляться не приходится — в нынешней экономической ситуации инфляция, связанная с ростом цен, неизбежна. В других типографиях, куда мы обратились, та же картина. Напомню: проект нашего журнала — филантропический, мы не получаем никакой поддержки «со стороны», грантов и пр. Существование издания полностью зависит от денег за подписку. Плюс небольшие пожертвования читателей-благотворителей.

Подсчитав расходы, мы приняли единственно возможное решение: увеличить стоимость годовой подписки (4 номера, более 300 стр. в каждом) на 10 долларов. Теперь подписка составляет 70 долларов. Очень надеюсь, это не ударит по вашему карману, и вы останетесь верны журналу, а мы — вам. Будем искренне признательны и добровольным благотворителям, примем с благодарностью любую сумму пожертвований.

Всего вам самого доброго, друзья! Спасибо, что вы существуете и нам есть ради кого трудиться на ниве литературы.

Давид Гай, главный редактор

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Давид ГАЙ
ДЖЕКПОТ *(главы из романа. окончание)* **8**

Владимир СОЛОВЬЁВ
НЕПОЛНОЦЕННЫЕ АМЕРИКАНЦЫ *(глава из книги)*. **84**

Павел ЛЕМБЕРСКИЙ
ИЗБРАННЫЕ НОВЕЛЛЫ **117**

Валерий БОЧКОВ
САХАРНЫЙ БЕС *(глава из повести)* **153**

Александр МАТЛИН
АНАТОМИЯ ТРЕТЬЕГО ВИДА **177**

Давид ШРАЕР-ПЕТРОВ
ЗООПАРК ИСКУССТВЕННЫХ ЗВЕРЕЙ **184**

Джейкоб ЛЕВИН
МОЙ ДОБРЫЙ МАКС ИЗ ФЛОССЕНБЮРГА **209**

ПОЭЗИЯ

Вера ЗУБАРЕВА. **76**
Валентина КОРКИНА **142**
Лазарь МАРМУР **146**
Валерий СКОБЛО. **228**
Геннадий Михлин **280**

РЕМИНИСЦЕНЦИИ

Виктор НОРД
ДЕД И «ИСПАНКА» *(глава из книги)* **237**

ДНЕВНИК

Евгений КИСИН
ВО ВРЕМЕНА КОРОНАВИРУСА **264**

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Роальд МАНДЕЛЬШТАМ: ***ТАКАЯ КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ*** **287**

ПЕРЕВОДЫ

Хорен Арамуни
«ВОЙНА И МИР». **299**

НОВЫЕ КНИГИ

Моисей БОРОДА
ПЕРЕПИСКА ЧЕРЕЗ ОКЕАН **304**

Давид ГАЙ

ДЖЕКПОТ

Главы из романа

Наташа приезжает в Поконо на выходные. После путешествия словно подменили её: немногословна, уклончива, вещь в себе. И шутит задумчиво, мрачновато, на себя непохоже. Однажды выдаёт про любовь: это ток, для женщины — постоянный, для мужчины — переменный. Намёк? На что? Часто идёт гулять одна, чтобы не мешать ему работать, а может, по другой, неведомой ему причине.

Костя исподволь наблюдает за ней, силясь понять, что происходит. На расспросы отвечает Наташа односложно: «Всё в порядке». Став символом его новой, лишённой главного побудительного стимула — материального, зыбкой, неустоявшейся, *соскальзывающей* куда-то жизни, она, определяя её во многом, тем не менее (Костя чувствует) начинает отдаляться, искусственно держать дистанцию, ничего не предлагает, не просит и не требует. А главное, не объясняет.

Однажды утром, проснувшись, подходит к овальному зеркалу в спальне, внимательно в себя вглядывается:

— Природа дарит вам лицо в двадцать лет, жизнь моделирует его, и в сорок вы имеете ту внешность, которую заслужили.

— Грех тебе жаловаться, — реагирует Костя на непривычную в Наташиных устах сентенцию.

— А я и не жалуюсь, просто констатирую.

Комплексует по поводу возраста? Рано ещё, да и повода нет — хороша по-прежнему. А может, другое? Пару раз осторожно касаются этой темы. Наташа признаётся: она не может рожать. Последствия абортов. Может, искусственное оплодотворение? Медицина сейчас

Окончание. Начало в № 3 (19) 2021

невероятное творит. В ответ: да, надо бы попробовать, посоветоваться с врачами,— как-то вяло, без энтузиазма.

На днях за ужином вдруг затеивается разговор о великодушии. Наташина инициатива. Ни с того ни с сего. Наиболее виноватые — наименее великодушны, и добавляет:

— Всякий желает иметь репутацию великодушного человека и стремится купить её подешевле.

В его огород камешек? Но чем он заслужил? Он не играет в благородство, ведёт себя так, как считает нужным, грех Наташе на него жаловаться и не в чем упрекнуть.

— Истинное великодушие в том, как вы принимаете неблагодарность,— подытоживает Наташа.

С этим он согласен, только о чьей неблагодарности идёт речь, не может понять. Туманно изъясняется подруга, сама толком не знает, что с головушкой её бедовой творится. А творится несомненно, иначе зачем ей афоризм выдавать более чем сомнительный, обидный даже, да и наверняка не ею придуманный: грош цена тому мужчине, который может понравиться женщине только своими деньгами… Он-то разве только этим Наташу привлекает? А если, действительно, только этим и ничем более? — мыслишка поганая закрадывается.

И ещё замечает Костя: пьёт Наташа больше прежнего. В Поконо держится, но звонит из Нью-Йорка часто навеселе. И с работой не очень — бизнес «даун», попрут её как пить дать.

— Невелика беда — буду тебе пособие платить,— смеётся Костя.

— Пособие мне государство заплатит, можешь не беспокоиться.

— Но я-то заплачу больше.

— Это меня и пугает. Роль приживалки не по мне, хотя ты, уверена, думаешь иначе. Девка по объявлению, какие там принципы… А потом найдёшь помоложе, посвежее, не такую заебистую, как я,— и кончится наш контракт.

Вот так теперь происходит их общение.

В одну из пятниц вечером, как обычно, Наташа приезжает на дачу, ставит автомобиль не в гараж, а возле дома — будто заглянула ненадолго и вскоре уедет, поднимается на крыльцо, целует Костю, у входа её встречающего (от неё ощутимо попахивает спиртным), закуривает и, улыбаясь, объявляет с долей злорадства, как о давно ожидаемом, предрешённом:

— *I am fired.* (Я уволена.)

— Не может быть… — Костя застигнут врасплох сообщением. Одно дело — трёп по поводу возможного увольнения, а другое дело — реальность.

— Может. В Америке иезуитски, по пятницам увольняют, после работы, чтобы ни один час не пропал, чтобы неделю отработал человек сполна.

— Ну и хрен с ней, с работой, — Костя наигранно-бодро. — Подумаешь… Сядешь на пособие, разошлёшь резюме — глядишь, и найдёшь что-нибудь приличное. Хороших паралигалов не так много. О деньгах не волнуйся, сколько захочешь, столько и будешь брать.

— Спасибо, дорогой! Что бы я без тебя делала… — чудится неуместная ехидца.

Ужинают они в расположенном в пятнадцати минутах езды ресторане гостиницы «Крисчент Лодж», выпивают по три шата «Смирновской», вернувшись, переходят на виски и к полуночи надираются. Костя редко теперь в этом потребность испытывает, но сейчас именно тот случай — уравняться с Наташей. Сбросив одежду на пол, любовью занимаются в гостиной на диване, неистово, до отключки. Засыпают голые, в обнимку, не в силах дойти до спальни. Просыпается Костя от холода, разомкнув объятия, пошатываясь, встаёт, приносит одеяло. Наташа утыкается носом в его подмышку, крепко прижимает к себе и спросонья мурлычет:

— Как порядочный человек ты должен на мне жениться.

От неё он слышит это впервые. Никогда прежде. Ни полсловом, ни намёком. Вырывается случайно, по пьянке, или вполне осознанно? Почему он ни разу не задумывается об этом всерьёз? Девка по объявлению — так, кажется, характеризует она себя. Неправда, для Кости она совсем иная, обстоятельства их знакомства давно растворились в мельтешении дней, не имеют никакого значения, по крайней мере для него. Про две измены свои, странные и непонятные, попросту дурацкие, ничем не продиктованные, кроме одиночества, даже вспоминать противно. Жениться… Почему бы нет? Что ему мешает? С Наташей роднит его многое: прежде всего, отношение к жизни как к бесконечному путешествию, а не как домашней оседлости, и ещё внутренняя уверенность, что все только начинается, и в Наташином, и даже в Костином возрасте; он привык к ней и к закидонам её привык, да и не столь они частые. Нет видимых причин, мотивов, которые отвратили бы от неё: привлекательна, иронична, сексапильна,

с ней легко. Бытом, как всякая одинокая баба, не слишком озабочена, отчасти неряшлива, однако разве это столь важно… Важно другое — любят ли по-настоящему друг друга? И обязательно ли надо что-то менять в их отношениях? Сегодня, сейчас?

В новом своём безработном положении Наташа оказывается полностью от него зависимой. Он оплачивает рент её бруклинской квартиры, все биллы и ежемесячно даёт полторы тысячи на текущие расходы. По глазам Наташи видит: её тяготит такая зависимость. «Как при коммунизме. Не жизнь, а малина…». Но иного выхода нет. (Если бы мог догадаться, к чему всё приведёт…)

Наташа рассылает резюме во все места, звонит знакомым адвокатам, и без толку — с работой швах. Кажется, смиряется с мыслью: уповать придётся лишь на везение. А его нет.

Уже пару недель Наташа рядом, на даче, и в выходные, и в будни. Готовит завтраки и обеды, надо сказать, без особого рвения и умения — не её это стихия, сама признаёт. Костя на это смотрит сквозь пальцы: не умеет и не умеет, подумаешь… Обнаруживает рыжие волосы в умывальнике, просыпанный на пол пепел, брошенную там-сям одежду и спрашивает себя: раздражает это его или ему безразлично?

Больше волнует степень уживаемости: смогут ли постоянно быть вместе? Путешествия — не в счёт. Их биологические циклы не совпадают: Костя — жаворонок, Наташа — сова. В половине седьмого утра Костя уже за компьютером, Наташа нежится в постели до десяти. Зато ложится в час ночи, а Костя значительно раньше укладывается. Сие, однако, тоже имеет мало значения. Значение имеет одно, долбит он с настойчивостью дятла: любит ли он Наташу, а она — его. И однозначный ответ по-прежнему повисает в воздухе. Кажется, не находится случая проверить по-настоящему — встречаются для гулянок и отдыха, больше ни для чего; впрочем, какая особая нужна проверка: могут друг без друга или не могут — вот в чём вопрос. Нет-нет и вползает стыдливое ощущение, от которого хотел бы избавиться: ему лучше, если видятся они не каждый день. Может, и впрямь с ней не так плохо, как хорошо без неё? Два одиночества вместе не уживаются.

Наташа вдруг засобиралась в Бруклин. Давно не была, почту надо забрать, может, ответы пришли на разосланные резюме относительно работы, и вообще…

— Отдохнёшь от меня, заскучаешь… А то и впрямь семейка образуется.

— Ты же хочешь этого.

— Тебе кажется,— тоном, в котором явно звучит: забудь, что я лепетала по пьяни.— Говорят, обворожительную женщину и великолепного мужчину часто разделяет сущий пустяк: то, что они состоят в браке друг с другом.

Наташа уезжает, и он, стыдясь признаться себе, чувствует облегчение.

Две следующие недели общаются они по телефону: Костя звонит почти каждый вечер, Наташа же тогда, когда у неё хорошее настроение, а оно появляется в основном во время или после очередной поддачи — в секрете такое времяпрепровождение от Кости не держится. Это не мешает ей пройти два интервью с шансами на устройство.

— Скучаешь, котик? Твоя киска скоро появится,— заверяет его во время очередного разговора. Прежде, помнится, не употребляла слов, от которых его коробит.

Постепенно нарастает тревога, мешает работать, не даёт покоя. С Наташей неладно. Ехать в Бруклин разбираться. В чём разбираться, зачем? Неопределённость останавливает его, рождает сомнения. Может, дать ей перебеситься? Перебесится и вернётся в прежнее состояние. Лишь бы наркотой не баловалась. Хотя пьянка не лучше. Опять же за рулём. Ехать надо, решает однозначно, сразу после выходных. Сегодня четверг, три дня терпят.

(Никогда не простит себе оттяжку. Лучшее время сделать что-либо — между вчера и завтра. Презрел это правило — и поплатился. Но разве личная его потеря идёт в какое-то сравнение со случившимся в эти злосчастные дни…)

Глубокой ночью будит его мелодия арии Фигаро — позывные мобильника. Звонят, очевидно, долго, пока не срабатывает автоответчик, потом ещё раз, сквозь сон Костя слышит мелодию, однако чудится — не наяву. Тянется к телефону, нажимает на зелёную пупочку, в аппарате щёлкает, далёкий, кажущийся замогильным (зловещий смысл порой заключён в самых расхожих определениях), женский голос сдавленно произносит то, что Костин ватный, не пронизанный токами, отдыхающий мозг отказывается воспринять:

— С Наташей несчастье. Я её бывшая сослуживица. Она рассказывала о вас. Поэтому я звоню. Вы слышите? Почему вы молчите?..

— Что с ней? — наконец выдавливает, уже предвидя самое худшее, но не желая верить.

— Авария. Врезалась в столб. Она в Маймонидес. Запишите мой телефон, я в госпитале, вышла на улицу позвонить.

Не может быть. Этого же не может быть… Как врезалась? Раз в госпитале, значит, живая… Не получается на ощупь включить прикроватную лампу, пальцы соскальзывают, не слушаются. Начинает колоть в груди, давненько не чувствовал сердце, и вот — прихватывает. Зажигает свет, лихорадочно записывает номер, бежит в ванную, споласкивает лицо, наскоро одевается и в гараж. Быстрее, быстрее. А у самого всё трепещет внутри. Который час? Без пятнадцати два. Проклятый Маймонидес, опять на его пути. Его оперировали там же, где сейчас лежит Наташа. Но почему проклятый? Его же спасли там. Спасут и Наташу. Сколько раз предупреждал: не гони сломя голову, осторожнее, — не слушалась, упрямица. И наверняка поддатая ехала. Почему он не бросился к ней тотчас, как угнездилась в нём тревога? Почему?

По пустым ночным хайвэям долетает до Бруклина меньше чем за два часа. Ещё не светает. Вот и Десятая авеню. В *emergency room* сплошь афроамериканцы и латиносы, русских физиономий не видно. Он было узнавать про Наташу, и тут его окликают:

— Вы — Костя?

Зарёванное женское лицо, рядом с ней — двое понурых мужчин средних лет. Их не было в помещении, когда он вбежал. С улицы пришли, возможно, поджидали.

— Я вас по фотографии узнала, Наташа показывала.

— Где она, что врачи говорят?

— Врачи?.. — повторяет, словно в забытьи, прикладывает платок к глазам и начинает рыдать в голос.

— Да не ревите! Что говорят врачи?

— Она… умерла.

— Как… умерла? — Ватное обмирание ног, он, кажется, пошатывается, один из мужчин берёт его под руку. — Вы… соображаете, что…

Костю сажают на стул, плачущая женщина протягивает валидол. Он слабым жестом — не надо и, низко склонясь, охватывает ладонью лоб в испарине и глаза с режущей влагой…

…В гробу Наташа не похожа на себя: в госпитальном морге постарались припудрить, подрумянить, скрыть следы травмы головы, оттого лицо совсем иное, чужое. Застывшая мука, обида на несправедливый мир и — на него, мнится Косте.

В крови Наташи нашли дозу алкоголя, семикратно норму превысившую. Ехала на своей «Тойоте» одна, возвращалась с очередной гулянки, как всегда, гнала — в полицейском сообщении указана скорость 95 миль в час. Видимо, в какой-то момент отключилась, заснув. Удар страшный оказался: столб пробил радиатор и застрял в двигателе; машина, как консервная банка, нанизалась на железобетонный штырь. Чтобы извлечь Наташино тело, пожарным резать пришлось сплющенную дверь автогеном. Ехала, к несчастью, не пристёгнутая, отсюда перелом основания черепа от удара в лобовое стекло и шейных позвонков. Ремни, возможно, спасли бы.

Копы достали из сумочки документы и записную книжку, выяснили Наташин домашний телефон, безуспешно звонили, полагая, что откликнутся близкие (а близкий лежал в своей дачной берлоге, ни о чём не подозревая), потом нашли первое имя в книжке — Аси и сообщили о случившемся.

Как сны мои тебя зовут!
Они кричат беззвучным криком,
в своём отчаяньи великом
они мне сердце разорвут.
Надежды нет. Осталось мне
лишь одинокое сомненье,
души больной оцепененье
в холодной, белой тишине.

Возвращаться в Поконо и продолжать прерванную работу он не желает: процесс представляется самомучительством, выжиманием из себя бесполезных, бессмысленных слов. Он не в силах описывать то, что произошло, а выдумывать иной ход развития отношений героев вовсе кажется невозможным. Сочинительство придётся отложить, решает он и звонит дочери.

Видятся они за последние месяцы пару раз: Костя заезжает накоротке в Эктон и Дина по делам в Нью-Йорк — обедают в «Самоваре», болтают о том о сём — и вся недолга. Нерегулярные телефонные звонки лишь фиксируют данность: живы-здоровы, заняты своими делами, ну и слава богу.

И вот сейчас в Косте пробуждается жгучая потребность немедленно видеть дочь, внука и зятя — семью, которая как бы сама по себе

живёт, а он сам по себе, обочь, и пути их, по сути, не пересекаются. Одиночество волчьей хваткой вцепилось после ухода жены и не отпускало долго. И снова он не находит места себе, мается или вдруг, внутри себя, беситься начинает, сходить с ума, бьётся, ища выход, о прутья железной клетки, в его воображении существующей, но так зримо и ощутимо, будто и впрямь в клетку посажен, набивает невидимые, однако от этого не менее болезненные синяки и шишки.

Дина внешне спокойно, неэмоционально, как разумеющееся, воспринимает Костино желание погостить неделю. Он не чувствует с её стороны особого энтузиазма, но и нежелания тоже не чувствует. Нормально: любимый отец в кои-то веки навестить собирается близких. Любимый… Насколько, до какой степени? Кто Дину знает…

Он добирается в Эктон к вечеру в пятницу, когда семья в сборе и думает не о работе и учёбе, а о выходных. Дина пирог готовит с мясной начинкой, перловкой и грибами — своё фирменное блюдо; Глеб виснет на шее и требует показать, что дед купил в подарок (в наличии подарка внук нисколько не сомневается), — зная новое его увлечение, Костя купил футбольный мяч и детские адидасовские бутсы; Марио долго почтительно жмёт руку и приглашает после ужина попариться в сауне.

Застолье получается замечательное: пьют вино из Тосканы, едят овощи, закуски и пирог, а на десерт мороженое.

Погуляв час в округе, по усаженным ясенями, дубами и американскими клёнами улочкам, мимо двухэтажных, скучно похожих частных деревянных строений в викторианском стиле, с большими лужайками и цветниками перед входами, Костя вместе с Марио отправляется в сауну в бэйсменте дома. После операции не злоупотребляет парилкой, хотя прежде практиковал такой способ расслабухи. Сейчас, однако, сидит в стоградусной жаре подолгу, выгоняет пот из набравшего лишние фунты тела, разогретый, выскакивает и плюхается в маленький бассейн с холодной водой, плещется с минуту и снова в жаровню, пока обильно на коже не проступают розоватые пятна открывшихся капилляров.

Марио ведёт себя с ним подчёркнуто уважительно, даже чересчур, с нотками подобострастия, ранее за ним не замечаемого; Костя понять не может, откуда берётся оно и почему. Постепенно доходит: наверное, так относятся к тем, чьему богатству завидуют и чьи деньги в конечном итоге могут перейти к заслужившим это. А заслужить

можно по-разному, в том числе и таким отношением. Открытие, если, конечно, оно хотя бы отчасти верно, слегка коробит.

Наутро Костя едет смотреть тренировку Глеба. На школьном, с травяным покрытием и разметкой для бейсбола и американского футбола, стадионе на Массачусетс-авеню небольшие ворота установлены с сеткой, две мальчишеские команды в разномастной форме с упоением гоняют мяч, отдавая дань увлечению, через которое проходят сверстники во всём мире, но в Америке далеко не всё. Глеб в новых чёрных бутсах, дедом подаренных, похоже, у него единственного такая обувка, и он безмерно собой горд. Играет он на месте центрального защитника. Голенастый, с ненакачанными мускулами и мышцами ног, но довольно координированный, Глеб смело ввязывается в борьбу, не промахивается по мячу, делает довольно точные пасы, прыгает, покамест без навыка бьёт головой, прерывая навесные передачи, падает, вскакивает и снова пытается прервать атаку…

В пору детства своего Костя иначе играл: гонял тряпичные и резиновые мячики во дворах на Чистоках, летом на даче, на 42-м километре по Казанке, на поляне меж сосняка, босой, в тапочках или не знающих сноса китайских кедах бил по лёгкому волейбольному мячу, страсти разгорались нешуточные — москвичи против местных, и только перед окончанием школы впервые попробовал, как летит пущенный с мыска, «щёточкой» или «пыром» настоящий кожаный мяч. Тогда и пришла к нему страсть, не утраченная в эмиграции, с поправкой на то, что любимый «Спартак» и весь советский футбол начал разваливаться. А прежде… О, прежде Костя не вылезал со стадионов. Наивысшее наслаждение и беспредельное горе, мерцающая надежда и обидное разочарование, исторгающееся из груди ликующее «Гол!!!» и помертвение в глазах при виде мяча, бьющегося, как в силках, в сетке ворот красно-белых…

И вот внук унаследовал, увлёкся тем, что для американского пацана непрестижно. Никто не выбирает себе гены…

Дни незаметно пролетают, словно проглатываются. Дина и Марио по утрам на работу спешат, Костя отвозит на своей машине внука в школу и до обеда предоставлен сам себе. Гуляет, катается на велосипеде, читает газеты, смотрит телевизор, тягучая, нутряная боль начинает понемногу отпускать. И пустота уже не такая страшная. Он ничего не пишет, в голове, как на отдыхе, роятся разрозненные, расплыв-

чатые, ленивые, не энергичные мысли. Бывают долгие часы, когда он не вспоминает Наташу, не видит её, не разговаривает с ней. Неужто его лекарство и лечение именно здесь, в этом тихом благополучном городке?.. Может, продать к чёртовой матери квартиру в Манхэттене и переехать в Эктон, поближе к семье? Вовсе не странное желание, если покумекать, так вполне разумное. Но что-то неосознанное, подспудное мешает принять и развить идею.

Изредка он ловит на себе испытующие взгляды дочери, будто та намеревается спросить важное и никак не решается. В один из поздних вечеров пьют чай вдвоём на кухне: Марио после одиннадцати уже спит — вставать ему и ехать на работу ни свет ни заря, а Глеб укладывается и того раньше. Костя не хочет чаю, просто испытывает потребность посидеть рядом с дочерью — такая возможность не часто выпадает. Дина в шортах и короткой маечке, как у девчонок, пупок торчит на всеобщее обозрение — дома может позволить себе вольность, красивая зрелая женщина крупной лепки, но не толстеющая, спокойная и уверенная в себе.

— Скажи, отец, как тебе живётся? — спрашивает вдруг ни с того ни с сего и смотрит прямо, неотвязно, молча настаивая на откровенном, без увиливаний, ответе.

Костя ложечкой чай в стакане мешает, отводит глаза.

— В каком смысле?

— В том самом. Ты ведь не просто так приехал. Вид у тебя какой-то потерянный, хоть и хорохоришься. Что случилось?

— Да ничего. Ровным счётом ничего. Соскучился, вот и приехал.

— Не верю. Что соскучился — верю, но не в этом причина главная. Ты, часом, не болен? Сердечко как?

— Стучит. Всё нормально, дочка, не волнуйся.

— Ладно… А скажу я тебе вот что. Нельзя жить в долг перед самим собой. А ты именно так живёшь, мне кажется. И знаешь, почему? Потому что один. Привык к одиночеству, а на поверку жутко тоскливо, разве не так? Если бы жива была мама… Ты что заблагорассудится можешь делать, право имеешь, и возможностей куча: «по щучьему велению, по моему хотению…» Деньги у тебя есть, но покоя в душе нет, я же чувствую. И не могу помочь. И дело не в расстоянии, не так уж велико оно. Я думала иногда предложить тебе сюда переехать, в деревню нашу, дом купить. Потом поняла: не сможешь жить, как мы все, метаться начнёшь, изъедать себя. Эктон не для тебя (угадала,

умничка, его подспудное желание и тоже пришла к выводу — неосуществимо). Тебе везде будет плохо, пока не влюбишься. Да-да, не делай глаза удивлённые. Это говорю тебе я — твоя дочь, взрослая женщина. Ты ведь у меня не старый ещё, бабы на тебя смотрят, я замечала. Ты им нравишься. Отдай, наконец, долг самому себе и больше не занимай.

Костя слушает и диву даётся: неужто это Дина подталкивает его к тому, чему прежде противилась всей душой? Она бы глаза выцарапала любой, посягнувшей на право претендовать на него. А когда джекпот выпал, так особенно забеспокоилась, как бы не объявилась претендентка на отцовский капитал. Неужто и впрямь выглядит он таким потерянным, неприкаянным, несчастным, что его собственная дочь жалеет? Может статься, впервые. Рассказать про Наташу? Нет, не станет открываться, даже дочери. Пусть останется с ним и в нём.

— Ницше, кажется, сказал: «Наш долг — это право, которые другие имеют на нас». Действительно, не хочу никому быть должным, и прежде всего самому себе. Всё остальное, Диночка, в руках судьбы.

— Судьбу за хвост ловить надо. Ты богат. Я хочу видеть тебя ещё и весёлым, счастливым.

— Счастье, дорогая дочка, не реальное состояние, а игра воображения. Мы выдумываем счастье и только так достигаем. Кто на миг, кто подольше.

Долго они ещё говорят в тот вечер. Так откровенно, как, пожалуй, никогда прежде. Совсем другой предстаёт перед Костей дочь, поражается он — как, плохо, оказывается, её знает. Открывается не замечаемое им прежде, это-то и отрадно. А напоследок и вовсе изумление — сообщает Дина, что решила рожать. Марио настаивает, она не возражает. Так что станешь ты дважды дедом. Ты рад? Ещё бы он не рад! — обнимает дочь, и такое тепло неизбывное приливает…

А через некоторое время возникло желание умчаться куда глаза глядят. Америка вдруг осточертела. Неведомая сила оторвала его от земли, стремительный вихрь злобно набросился, закружил и понёс в неизвестном направлении, чтобы сбросить туда, где хотя бы на день или на неделю сможет избыть ледяные приступы одиночества. Таким местом стал Рим, где, как ни странно, Костя дотоле ни разу не был. Верный себе, не заказывает никаких экскурсий — карты и путеводителя вполне достаточно. На этот раз не берёт напрокат машину.

В Вечном городе он не будет ездить — только ходить, до изнеможения. На некоторое время он может сказать о себе: *Civis Romanus sum* — «Я — гражданин Рима».

Поселяется Костя недалеко от площади Республики. С утра до поздней ночи он в городе. Чуть ли не в каждой точке всякий раз нового маршрута вздрагивает от радости узнавания: знакомо по картинам, книгам, фильмам, будь то Капитолий с дворцами-близнецами, развалины Форумов, чьи скелеты каменные рассыпались по отрогам холмов, будь то остатки колоннад храмов и неведомо каким образом сохранившиеся статуи, площадь Навона, днём и ночью облепленный туристами фонтан Треви с несущейся галопом по воде колесницей Нептуна, мраморными фигурами и тритонами (Косте кажется, вот-вот в воде окажутся пышногрудая Анита Экберг и Мастроянни и вновь погрузятся в сочинённую Феллини сладкую жизнь), лестница из травертина, по которой безошибочно определяешь площадь Испании, вилла Боргезе — многокилометровый парк, музей и галерея... На Пьяцца Маттеи взор будоражит другой фонтан — Черепах, и само собой вышептывается: «Я пил из этого фонтана в ущелье Рима. Теперь, не замочив кафтана, канаю мимо...»Неподалёку — знаменитая джелатерия и бесчисленные кафешки с крепчайшим кофе эспрессо в маленьких стаканчиках...

И всё-таки самое сильное, мучительно-острое ощущение — не лицезрение дворцов, площадей, капелл, фонтанов, а полуночная прогулка от памятника Виктору-Эммануилу к Колизею. Днём Костя видит развалины Форумов со следами раскопок со смотровой площадки тыльной стороны монумента королю-объединителю. Двумя часами позже бродит возле Колизея и арки Константина, избегая фотографироваться с приставалами-гладиаторами с могучей мускулатурой в виде нательного муляжа. Терпеть не может туристического ширпотреба, такие снимки ему за ненадобностью. Вновь оказавшись возле Виктора-Эммануила в поздний час, обходит монумент сбоку, видит многометровую колонну Траяна и колонны много меньше, обрушенные стены и сохранившиеся арочные проёмы базилик и храмов, там-сям разбросанные камни и слегка белеющие в темноте почти на уровне земли и на невысоких постаментах статуи, а вдали подсвеченный Колизей, и в Косте зажигается упрямое желание пройти сквозь историю империи, возвеличенной в Форумах, уподобиться воинам, ремесленникам и просто горожанам, собиравшимся здесь

на рыночные торги, послушать ораторов, увидеть религиозные церемонии. Полночь, темень, безлюдье, наверное, небезопасно, чёрт с ним, рискну, решается Костя и по узкой дорожке идёт вперёд.

Против ожидания, он не одинок в своей шалой затее. Впереди слышны разговоры, мелькают силуэты, странная молодая пара — она в свадебном платье, с охапкой цветов, он в чёрном костюме — в сопровождении фотографа снимаются на фоне тысячелетия назад умерших стен, прах империи возле их ног, вспышки озаряют смеющиеся, счастливые лица: в самом деле счастливы или позируют для какого-нибудь журнала? В нишах у стены, граничащей с проезжей частью, спят в обнимку с собаками бездомные; кто-то на корточках, прислонясь к стене, пьёт вино из бутылок. Своя особая жизнь протекает здесь, среди порушенной славы великой империи, никому до неё нет дела, никто не вспоминает, что когда-то, немыслимо давно, происходило меж этих в ту пору сияющих храмов, базилик, церквей, арок, скульптур, коринфских колонн…

Он почти нагоняет беседующую пару: атлетически сложенный мужчина держит за плечи невысокую, ладно сбитую женщину, та обнимает его за талию, оба в светлом, контрастирующем на фоне полуночных теней, и, кажется, подшофе, их сносит чуть вправо, в сторону женщины. Третий, в тёмной кожаной куртке, держится чуть спереди; заложив руки в карманы брюк, по-утиному переваливается с ноги на ногу, плечи его ещё шире, чем у мужчины в светлом, и ростом он, кажется, выше. Костя с изумлением ловит русскую речь, не веря ушам, приближается — нет, точно, говорят по-русски.

Голос мужчины звучит с аффектацией, будто декламирует:

— …Стало быть, есть такой закон, не нами писанный, а с нами рождённый, и закон этот гласит: если жизнь наша в опасности от казней, от насилия, от мечей разбойников или недругов, то всякий способ себя оборонить законен и честен. Когда говорит оружие, законы молчат.

Хочет, чтобы его непременно слышали, притом на непонятном окружению языке, думает Костя и подходит совсем близко. Мужчина оборачивается, останавливается, снимает руку с плеча женщины и продолжает возвышенно и с пафосом, точно с трибуны вещает, но имеет в виду конкретно его, Костю:

— До каких же пор, скажи мне, Катилина, будешь злоупотреблять ты нашим терпением? Сколько может продолжаться эта опасная игра

с человеком, потерявшим рассудок? Будет ли когда-нибудь предел разнузданной твоей заносчивости?

Женщина хохочет заливчато, нутряно, смех исторгается из самой её глуби и очень идёт ей; они и впрямь навеселе или хочется развлечься, думает Костя и непроизвольно вступает в диалог:

— Меня, между прочим, зовут Константин, а не Катилина, хотя тоже вполне латинское имя. Та же арка Константина у Колизея, куда мы, судя по всему, путь держим. Кстати, речь Цицерона несколько иначе звучит: «Доколе же, Катилина, ты будешь испытывать наше терпение?»

— О, вы говорите по-русски?! — пара произносит одновременно, нимало не смутившись. — Надо же, ночью на развалинах встретить земляка! — Это уже женщина, оказавшаяся симпатичной смуглолицей шатенкой восточного типа с чуть заметной распевностью речи, характерной для не родившихся и не живших в детстве в России. Что-то есть семитское, полагает Костя, а вот спутник её прибалт, вероятно, — такие классические альбиносы с белыми ресницами среди русских редко встречаются. Внешность пары Костя разглядеть успевает при свете фонаря, возле которого останавливаются полуночный оратор и его спутница.

— Дело в переводе, — поясняет альбинос. — Мой вариант более отвечает стилю обращения сенатора.

— Муж мой знает речи Цицерона, Цезаря, Криспа наизусть, — шатенка считает долгом похвалить его и снова хохочет.

— Ну уж и наизусть… — довольный, поправляет её альбинос. — Учил на юрфаке, тогда, действительно, помнил многое и на латыни, сейчас же обрывки, фразы… «С той поры, как богатство стало вызывать почтение, как спутниками его сделались слава, власть, имущество, с этой самой поры и начала вянуть доблесть, бедность считаться позором и бескорыстие — недоброжелательством. По вине богатства на юность напали роскошь и алчность, а с ними и наглость: хватают, расточают, своё не ставят ни во что, жаждут чужого, стыд и скромность, человеческое и божественное — всё им нипочём, их ничто не смутит и не остановит!»

— Браво, у тебя гениальная память! — хлопает в ладоши жена и представляется: — Меня зовут Валерия Ибрагимовна, можно просто Лера.

— А я Генрих, — альбинос крепко пожимает Костину руку. От него попахивает коктейлем каких-то дорогих напитков.

— Странно, ваше лицо мне незнакомо, — Лера уже серьёзна, смотрит вприщур, изучающе. — В Москве очень многих знаю. Память на лица у меня — как у Генриха на тексты.

— Я не живу в Москве. Вернее, жил когда-то. Теперь — в Нью-Йорке.

— Всё равно земляк, какая разница, — Генрих явно расположен к общению, и потому его вроде бы не волнует, где обретается человек, случайно встреченный на ночной дороге к Колизею.

Лера же, видать, особа въедливая, напротив, хочет разузнать о Косте побольше и в манере, исключительно русским свойственной, выпытывать начинает:

— Давно эмигрировали?

— Лет десять назад.

— Чем в России занимались?

— Сценарии писал. Для документального кино и научпопа. В Америке переучился, — предваряя следующий вопрос.

— На кого же, если не секрет?

— По медицинской части.

— Доктор — это замечательно, престижно, да и денег много, — подаёт реплику Генрих. — Знаете, Костя, анекдот? В две тысячи двадцать четвёртом году выбирают в Америке президента. Впервые женщину. Инаугурация, лужайка Белого дома, спичи, всё как положено. Один мужик сидит в первых рядах, обращается к соседу, какому-то сенатору, и важно говорит: «Видите даму в красном, которая клятву произносит? Так вот, её брат — доктор».

— Ну, я не совсем врач, я… как бы его помощник. Хотя это в прошлом, нынче я вольный художник.

— В каком смысле? — Лера вострит уши.

— В прямом. Нигде не служу. Занимаюсь литературой, вернее, пробую заниматься, — вырывается.

— А на что живёте? Извините, конечно, за бестактность, неполиткорректность, как у вас говорят. Но мы не в Америке, у нас, у русских, всё проще между собой.

— Не скажи, дорогая, наши бизнесмены ни за что не откроются, сколько зарабатывают и на какие средства существуют. На фига им с налоговиками иметь дело и кое с кем ещё.

— Видите ли… — Костя тянет с ответом, обдумывая, в какую форму отлить. — Судьбе угодно было, чтобы я не нуждался всю оставшуюся жизнь.

— О… вот как! Приятно познакомиться с «новым американцем», — улыбается Лера и смотрит уже другим взглядом, заинтересованно-оценивающим и одновременно сомневающимся: а не врёшь ли ты, парень?

Они двигаются в полутьме по узкой дорожке, Генрих и Лера опять в обнимку, на пару шагов впереди, за ними Костя и увалень в кожане, он не представлен Косте, за несколько минут беседы не проронил ни слова, ведёт себя безучастно, будто не имеет никакого отношения к этой паре. А меж тем имеет, и самое непосредственное. Непонятный субъект амикошонски берёт Костю под руку, урежает шаг, обозначив дистанцию от идущих впереди, и затем бесцеремонно, впрочем, не грубо, обшаривает с ног до головы. Костя и пикнуть не успевает, как субъект, вовсе не увалень, а весьма проворный малый, успокаивает, дыша в ухо:

— Не взыщите, мистер, такая у нас работа.

Что же это за парочка, к которой охранник приставлен? — недоумевает Костя, которого, едва дорога расширяется, Лера приглашает идти посередине, между собой и мужем. «Биг шатс», «новые русские» или как там их… На бандитов не смахивают, Генрих Цицерона шпарит наизусть. Интересное кино…

Вот и Колизей, подсвеченный амфитеатр с трехъярусным травертиновым фасадом в арках и сохранившимся куском четвёртого яруса. В ночи смотрится он магическим сооружением, словно не верящим, что пережил столько и стольких. Сейчас вокруг него пустынно, бродят несколько шалых туристов, заглядывают внутрь, на неосвещённую арену, впитавшую за тысячелетия море крови людей и животных, а утром тут опять столпотворение, ребята в гладиаторских доспехах и нагрудных муляжах, имитирующих мощную мускулатуру, будут зазывать сфотографироваться за деньги, начнётся бойкая торговля сувенирами — и магия исчезает до следующей ночи.

Иной раз чувство города чужого к тебе вторгается, тебе грозит, как будто места нет ему иного, и целый мир в одном тебе сокрыт…

— Какие мысли, господа? — Генрих поправляет выбившуюся из брюк рубашку, охорашивается и делает несколько разминочных движений руками, прогоняя сонливость. — Римское время час ночи. Кабаки закрыты. А расходиться неохота, верно? Поэтому поступает предложение продолжить у нас на вилле. Кто за? — смотрит на Костю,

тот после секундного раздумья кивает: почему нет? — Принимается единогласно.

Альбинос по мобильнику на хорошем английском просит какого-то Луиджи подъехать к Колизею. Через минут пятнадцать они садятся в чёрный джип, который везёт на окраину города. Во всяком случае, так представляется Косте, ибо едут они довольно долго. По пути Генрих отдаёт распоряжения увальню в кожане, которого называет Арнольд, а Лера — Ариком, говорят о каких-то непонятных Косте московских делах. Джип тормозит у строения, чей первый этаж скрыт за плотно растущими у каменной ограды оливами и пирамидальными тополями, а второй выглядывает половиной больших прямоугольных окон.

— Вы, Константин, останетесь до утра, выспитесь, отдохнёте, а утром Луиджи доставит вас в отель, о'кей?

Костю устраивает.

Арнольд открывает входную дверь, они попадают в огромную гостиную с белой кожаной мебелью и старинной люстрой. Витая лестница ведёт наверх. Генрих интересуется у Кости, что он предпочитает: водку, коньяк, виски, джин или текилу, а может, итальянское вино? Ассортимент как в приличном баре, отмечает Костя. Он будет пить виски со льдом.

Арнольд молча сервирует стол, ставит бутылки, закуски, включая чёрную и красную икру. Лера мажет ломтик маслом, кладёт икру жирным слоем — и в Костину тарелку.

— Итак, господа, начнём наше застолье. За окном дивная римская ночь, сказочную красоту которой мы только что ощутили, совершив незабываемую прогулку сквозь века, отряхнув прах великой империи. А мы гуляем по-русски, широко и от души, — Генрих произносит это тем же возвышенным тоном, что и фразы Цицерона. — Позвольте предложить тост за знакомство, за то, что произошло оно в Вечном городе и потому помниться будет долго. С Богом! — И медленно, с видимым удовольствием выпивает первую рюмку водки.

Костя закусывает икрой, Лера мажет ещё один бутерброд, он с наслаждением съедает и его. После операции вот уже несколько лет старается питаться тем, в чём содержится минимальный холестерин. Поэтому отказывается, глотая слюнки, от некогда любимых колбас, паштетов, швейцарских сыров с глазками, мясо ест не чаще одного раза в неделю, даже на любимую глазунью полузапрет… Но после ги-

бели Наташи посылает диеты к чёрту. И сразу пополз вес, брюшко наметилось, тяжелее по лестницам подниматься. Что я творю? — говорит с укором себе в минуту прозрения и отмахивается, как от мухи приставучей: врачи обещали лет восемь-десять нормальной жизни, а дальше посмотрим. Потому уминает сейчас икру с таким видом, будто никогда не пробовал. От всевидящей Леры не укрывается.

— В Америке, я знаю, икра безумно дорогая.

— Не дороже денег, Лерочка, — Костя после двух шатов чуть хмелеет, язык развязывается, ему легко в новой, соткавшейся неожиданно, будто из воздуха, компании.

— Давайте выпьем за Константина. Гора с горой не сходится, человек с человеком всегда. Вот и мы сошлись. Здоровья тебе и успехов. Чтобы елось и пилось, чтоб хотелось и моглось. Только позволь спросить, почему один путешествуешь? На женатого ты не похож, у меня глаз намётанный. Неужто в Штатах бабы перевелись? Ах, ну да, у вас не женщины, а гражданки, запамятовал. Приезжай в Москву, мы тебе такую красавицу подберём! Правда, Лерусь? Мужик ты видный, не старый ещё, говоришь, при деньгах, в Москве пруд пруди желающих будет с тобой познакомиться.

— Так сложилось, что один езжу, — не хочет вдаваться в подробности.

— Роковая любовь, не иначе, — определяет Лера. — В самом деле, приезжайте, я вас со своей двоюродной сестрой познакомлю. Она вам понравится, — и многообещающе смеётся.

— Спасибо. Может, и воспользуюсь предложением.

Арнольд, не проронивший за вечер ни слова, уходит спать, они остаются втроём. Альбинос расспрашивает об Америке, выказывает удивительную для живущего в России осведомлённость. Интересно, кто же он такой? Крутой бизнесмен? Не похоже. С другой стороны, охранника имеет, по заграницам его возит. Крупный чин на Лубянке? Возможно. Была не была, спрошу напрямую, тем более он уже поддатый, не станет ваньку валять, темнить.

Альбинос на Костин вопрос не отвечает, хитро щурится в намёке на улыбку, шевелит белыми бровями, делает вид, что любопытство гостя пусть и не неуместное, но не требует немедленной откровенности в ответ. Отвечает за него Лера, пьющая вино и ни на мгновение нить беседы не теряющая.

— Генрих в администрации работает.

И все, как воды в рот набрала. Что за администрация, поди догадайся. В любом случае непростая штучка альбинос, ухо с ним востро надо держать. С другой стороны, что он Гекубе, что ему Гекуба…

— Лерочка, приоткройте тайну: сколько в вас еврейской крови? — фокусируется на ней, вспомнив первое своё впечатление.

— Нисколько. Мама — чистокровная русская, отец — азербайджанец, жила в Баку, замуж вышла и переехала в Питер. А что, Костя, вас еврейская тема волнует?

— Да нет… Жена покойная еврейка была. В вас семитское начало ярко выражено.

— Обманчивое впечатление. Это восточный намес, от папочки достался. Не только иудеи, но те же арабы — семиты, верно?

— Костя, а вот ответь мне как на духу: хорошо тебе в Америке? — меняет тему разговора альбинос. Он уже немного навеселе, старые дрожжи, видать, дают себя знать. — Ты себя кем ощущаешь — американцем или всё-таки русским?

Теперь черёд Кости — ответить или тоже хитро сощуриться и в рот воды набрать, на манер альбиноса. Однако зачем темнить, вопрос-то понятный, разумеющийся.

— Из нас русское не выветрить, не выбить, оно во всём — в привычках, в действиях, в еде даже, в застольях… Такой уж заквас.

— И не надо избавляться от этого, верно? Мы и сильны духом своим, ни на какой другой не похожим. Мне рассказывали: некоторые иммигранты семидесятых, той, предыдущей волны, специально меняли имена, фамилии, переставали дома по-русски говорить, только чтоб поскорее с прошлым покончить. Вот чудаки!

— Я про таких не слыхал. Может быть… Наша волна другая.

— А как русские американцы на Ирак отреагировали? — неожиданно спрашивает альбинос и испытующе глядит, серьёзно. И улыбка хитрованская пропадает.

— По-разному. Одни приветствовали, другие последствий опасались. Как говорится: не буди лихо, коль спит тихо.

— Ну а сам ты — как? Нет, ты скажи, надо ли было влезать? Теория превентивного удара — штука крайне опасная. Что, если другие ею воспользуются? Представляешь, что начнётся?!

— Вы в России не пережили одиннадцатое сентября, вам этого не понять. Мы — одни в мире, ну, ещё англичане, а все остальные делают вид, что их ничего не касается.

— Ну, мы в России тоже много чего пережили, у нас Чечня, между прочим, есть, — Генрих чуть покачивает головой для вящей убедительности. — Я тебе байку расскажу, между прочим, Фрейд ею логику сновидений иллюстрировал. Так вот. Когда ваш друг обвиняет вас, что вы вернули ему треснутый чайник, первое, что вы делаете, — это говорите, что никакого чайника у него не брали; затем — что, когда вы его возвращали, он уже был расколот, и наконец — что чайник уже был расколот, когда вы его брали. Такая вот последовательность несовместимых друг с другом аргументов. Итог: именно вы не хотите признавать, что брали у друга чайник и раскололи его. Тебе, Константин, это ничего не напоминает? Не похожие ли объяснения по Ираку мы слышим? Саддам Америке напрямую не угрожал, ты с этим, надеюсь, спорить не будешь. И захватила она Багдад не для того, чтобы угнетённым иракцам свободу и демократию принести. Америке на них насрать, извини, Лерусь. И нефть тут ни при чём, как многие в Москве думают и с кем я спорю по этому поводу. После найн илэвен очень хотелось Штатам мускулами поиграть, силу и решимость показать, что могут в любом месте всё расколошматить и никакой ответственности не нести. Это я о превентивных ударах. Помогло это в борьбе с террором?

— Но это лучше, чем «мочить в сортирах», — выказывая осведомлённость в новой российской фразеологии.

— Так вот, — продолжает альбинос, не среагировав на «сортир». — Кость иракскую вы не проглотите, подавитесь. И не тешьтесь иллюзиями — самое главное впереди. Вы получили то же самое, что мы в Чечне. Только пострашнее. Ещё не знаете, какой клубок змей разворошили.

— Господа, хватит о политике, — Лера пытается повернуть разговор в ином направлении. — Давайте лучше о женщинах.

— Не возражаю, — охотно откликается альбинос. — Давай, Костя, за мою жену выпьем. Она у меня чудо. Умна, красива, всегда знает, чего хочет.

— Спасибо, мой дорогой, но я бы предпочла красоту на первом месте, а ум на втором. Как вы полагаете, Костя, что для женщины важнее, ум или красота?

— Если мужчина слышит всё, что говорит ему женщина, значит, она не красавица, — щеголяет он к месту вспомненным афоризмом.

— Здорово! — хохочет Генрих. — Сам придумал?

Костя неопределённо пожимает плечами: понимай как хочешь.

— Мне больше по душе другое выражение: красивая женщина не должна быть слишком умной — это отвлекает внимание, — Лера кидает выразительный взгляд на мужа.

Костя машинально смотрит в экран работающего телевизора с почти неслышным звуком, на экране знакомый по фото в газетах, коротко стриженный и оттого кажущийся большеголовым человек, с кем-то разговаривает, идёт по заводской территории мимо огромных нефтяных ёмкостей, принимает какую-то делегацию… Генрих машинально полуоборачивается.

— Ба, знакомые все лица… Господин олигарх собственной персоной. Лерусь, включи, пожалуйста, звук, хотя да, там же по-итальянски, не надо.

— Ходорковский? — проверяет себя Костя.

— Он самый. Сидит, бедолага, в кутузке и, что характерно, будет сидеть. — Интонация сказанного не оставляет сомнений: альбинос этим обстоятельством доволен.

— А мне Мишу жалко, — Лера пригубливает бокал. — Ничем он не хуже других. Все, в общем, дрянцо, а отдувается он один.

— А разве миллиарды в России можно другим способом заработать?

— Я, Костя, о том же.

— Лера у нас известная либералка, я с ней уже и не спорю, — альбинос улыбается. — А знаете, как шёл Ходор к своим миллиардам?.. Кто поумнее, тот принял новые правила игры — Рома, например; Миша же посчитал, что умнее всех. Вот и поплатился. Закогтил его Хозяин и не выпустит теперь, ни за что не выпустит. Сиделец Ходор, и надолго.

— Понимаете, Костя, сменилась власть, новые люди пришли, новые силы. Им тоже хочется всё иметь. Для них Мишина компания — лакомый кусок. Её съесть надобно. А как? Вот и науськали прокуратуру, — Лера прилегла на диван, подобрав ноги.

— Ты не права, Лерусь. Дело не в деньгах, хотя и в них тоже. Власть олигархов кончилась. Придётся подчиняться нам беспрекословно. А чтоб никаких вопросов и дерганий, напугать требовалось. Сильно напугать. Вот Ходор и подвернулся. В некотором роде образцово-показательный процесс.

— Образцово-показательное издевательство над законом, разве не так? — Костя в упор глядит на альбиноса, ожидая его реакции.

Тот ухмыляется:

— А кого это волнует? На Западе немного повоняли и замолчали. Кто в знак протеста ушёл из бизнеса с Россией? Никто. А главное, друг мой Костя, народ наш богатеньких буратинок ненавидит всеми фибрами своей загадочной славянской души, радуется своим пылким, неуёмным сердцем, когда их сажают. И не забывай, скоро выборы президента…

— Я хочу спать, а вы как хотите, — Лера зевает и начинает складывать тарелки в мойку на кухне. Костя берётся ей помочь, она вежливо отстраняет его — не гостя это забота.

— Мы пойдём указанным путём, дорогая. Костя, пошли, покажу твою опочивальню на втором этаже…

…После Рима по какой-то настойчивой потребности возникла Москва. Вторая поездка за минувшие годы.

Он выходит из гостиницы, идёт к Пушкинской площади и, привлечённый выкриками в микрофон, неожиданно оказывается в водовороте митингующей толпы неподалёку от «Макдоналдса». Для него уличные митинги уже в диковину, останавливается послушать — время есть, а на предупреждение посольства избегать скопления народа ему начхать.

Речи толкают с грузовика с российскими флагами и траурными лентами. По поводу чего траур? — недоумевает Костя и сам же отвечает спустя минуту-другую — символ того, что будет со страной при Путине. Догадаться помогают плакаты в толпе: «За Россию без Путина», «14 марта оставь свой голос при себе», «Второй срок Путину — второй срок войне» и в том же духе. В воздух шарики запускаются с изображением сердечек и с призывами немедленно освободить Ходорковского и ещё двоих, чьи имена Косте мало что говорят. Тут же бесплатно наливают водку в гранёные стаканчики и дают зажевать чёрным хлебом. Выстраивается очередь. Другая очередь, куда жиже, у стола, где что-то подписывают. Костя проталкивается. Ага, ставят подписи под призывом ввести временную администрацию ООН в Чечне. Интересно, кто это здесь разрешит…

То тут, то там мелькают крепкие ребята в белых майках поверх курток. У них свои плакаты. На одном текст в поддержку президента и наручники, надо полагать, для тех, кто выступает против. Быть драке, предполагает Костя. Но драки нет, хотя неподалёку стоят два жёлтых автобуса с зашторенными окнами, возле которых покурива-

ют несколько милицейских офицеров. Омоновцы в автобусах, наверное.

Одного из выступающих с грузовика, с короткой бородкой наподобие эспаньолки, Костя знает, изредка мелькает его худое выразительное лицо по русскому телевидению в Нью-Йорке. Когда-то, до эмиграции, даже встречался с ним, разговаривал по поводу «Мемориала», только-только зачиналось демократическое движение, делали об этом какой-то фильм. Кажется, доктор наук, физик. Он здесь, на митинге, главный. Один из немногих, кто, видно, не изменился и не изменил, живой раритет на фоне тех, кто приспособился, пристроился, рванул в большую политику, сулящую безбедное существование, либо сгинул, пропал, растворился в серых буднях. Как же давно это было!.. Очереди с рассвета у киосков за обличительными «Московскими новостями» и «Огоньком», бурлящие толпы на Манежной площади, той, прежней, не перестроенной, без дурацких куполов (мог ли представить Костя, что совсем скоро, воскресным вечером, когда закончатся выборы президента, вдруг запылает Манеж, взовьётся пламя у стен Кремля, рухнувшая кровля погребёт под собой пожарных, один из символов Москвы перестанет существовать, выгорев дотла, и зловещий отсвет предзнаменования-предостережения ляжет на всё, что связано у страны с этим днём), шествия-половодья по Тверской с флагами, транспарантами, митинги, сходки, собрания, куда люди ходят, как на работу, новые народные витии, клокочущие страсти словесных баталий, усиленные мегафонами и микрофонами, бьющие через край эмоции, будоражащие, наполняющие грудь томительным восторгом слова-заклинания, демократы, предающие анафеме коммунистов, коммунисты, платящие тем же, вышвыриваемый отовсюду будущий великий думский демагог, а покамест никем всерьёз не принимаемый (однажды его, одетого в темно-серое, не имеющее сноса пальто из английского моля — своего рода тогдашнюю униформу начальствующих и предмет вожделения прочих мелких сошек, — гнали мимо Кости пинками с коммунистического митинга у гостиницы «Москва»), надежды, устремления…

Казалось, мир совсем скоро станет другим, наполненным смыслом, светом, справедливостью, возможностью открыто говорить, писать, жить, казалось, вот-вот очнувшаяся, реанимированная страна заживёт по-иному, отрешившись от вековечного страха и сковывающих догм… А дальше — заговор межеумков, отрешение от власти, трясущиеся

руки, «Лебединое озеро», спасение Белого дома, герой нации с низким пропитым голосом на бронетранспортёре, всё замечательно, вперёд к окончательной победе… а кругом незаметно нарастает хаос разброда, развала, разрушения, маячит призрак бедствия, крови… И скорый Костин отъезд, и невероятная горечь и сожаление, как у многих свихнувшихся в ту пору, одуревших от угара свободы,— как бросить то, ради чего был на Пресне в те отчаянно-неповторимые августовские день и ночь… Как же страна будет без меня, а я — без неё?! И почему отдавать кому-то на разграбление плоды той самой победы?

И только в эмиграции, отгорев и остыв, озаботившись сугубо прозаическим: как заработать деньги, чтобы не подохнуть, он понял — да не было никакой победы в тот август, и никто ничего потом не грабил, ибо грабить было нечего. Не ради призрачной свободы строили баррикады, а вовсе ради другого, сами того не ведая. Ведал кто-то другой, стоящий над толпой. И пусть строившие баррикады считали в эйфории, наполняясь величием момента, что на их глазах, с их участием менялась Система, уходил в прошлое преступный строй. Да, так было, но было и другое, разрушившее надежды: быстротечная схватка за власть, следовательно, за право иметь, владеть, распоряжаться, лозунги помогали окрепнуть духом молодым голодным волкам, ощерившим клыки в борьбе со старыми матёрыми волчарами, не желавшими отдавать своё. Грызлись за право делёжки. И волчары не выдержали, ушли из леса. А через десяток лет новые голодные волки вытеснили из леса заматеревших за отпущенный им срок. Так всё просто — и недоступно пониманию было *тогда*. И в эту минуту, при виде жалкой горстки митингующих, мечтающих о России без Путина, о *беспутной* России, вновь возникли сожаление и горечь, но уже по поводу этих самых людей, ничего за душой не имеющих, кроме прекраснодушия, пытающихся забыть, как страшный сон, того, против которого митингуют, а он есть и будет, и страна совсем другая, похоронившая иллюзии (большинство с радостью — и с ненавистью к тем, кто дурманил несбыточными посулами,— в этом всё дело!), с вновь вселившимся в души страхом, словно и не было тех немногих лет, когда дышалось и жилось с наивной верой, что всё можно изменить, когда ходили на площади — символы силы тогда и признаки бессилия сегодня.

Русский человек от выдумавших слова *приволье* и *раздолье* происходит, не существующие ни на каком другом языке. Поди поспорь с князем Одоевским. Приволье и раздолье — *призраки* свободы, вековечная

неосуществлённая мечта. Мечтой и останется, мысленно произносит Костя, продирается сквозь толпу, направляется к продавцам цветов, где покупает букет умопомрачительно пахнущих чайных роз, затем в Елисеевский гастроном за французским шампанским и швейцарским чёрным шоколадом — и вниз, к Страстному бульвару и Трубной площади.

В прошлый свой августовский приезд он проходил места эти обочь, как бы по касательной, торопясь к милым сердцу и согревающим душу Чистокам, сейчас же, судя по адресу, попадает в самую сердцевину напрочь перестроенного района: Лера и Генрих близ Трубной улицы живут, идущей параллельно Цветному бульвару. Это он себя проверяет, не забыл ли город, в котором родился.

Ничто Костю не изменит с точки зрения пунктуальности — приходит на улицу за десять минут до означенного срока. Решает пройтись по Трубной до Самотеки и обратно. Господи, куда подевались невзрачные, неприбранные, с облезшей штукатуркой домишки, гнилые дворики с сохнущим бельём на верёвках и грубо сколоченными столами доминошников, где пили пиво из бочек и мочились под деревьями, где вольно росли одуванчики, репей и подорожник, скамейки в летнем тополином пухе, вся эта нетронутая десятилетиями нутряная Москва?.. Всё сметено могучим ураганом, на месте домишек, двориков и деревьев выросли красавцы таун-хаусы, выкрашенные в бежевое, розовое, салатовое. Магазины продовольственные и антикварные, банк, гостиница, школа, японское кафе, ресторан «Йорк», припаркованные машины-иномарки — замечательно выглядит Трубная. Лишь в одном доме, трехэтажном, окна заколочены фанерой: не дошли, видать, руки до него. Но вокруг сугробы снега чёрного, не стаявшего, мокрядь под ногами, лишь кусочки тротуара чистые, словно вырванные из общей картины мартовского непогодья. В одном из шикарных таун-хаусов неподалёку и живут пригласившие Костю. Восемь с минутами, можно войти. Охрана, два крутоплечих лба, интересуются, к кому он идёт. Смешно, но Костя не знает фамилию Генриха, визитками они не обменивались, на бумажке с телефонами стояли только имена, Костя так и записал в книжку под именами.

— Генрих и Лера, квартира номер восемь, позвоните, они ждут.

Записывают его фамилию в тетрадку, как в Нью-Йорке в домах с секьюрити, звонят, удостоверяются, что господин Ситников действи-

тельно приглашён в гости, и разрешают пройти внутрь. Холл с зеркальными стенами и мозаичным полом, лифт изнутри отделан бархатом бордового колера. Мгновенный бесшумный подъём на четвёртый этаж. Выходит, в доме на этаже по две квартиры. В дверях встречает Лера, загорелая, будто только что с курорта, весёлая, по-свойски целует Костю и вводит в прихожую, если таковой можно назвать, наверное, двенадцатиметровую комнату в темно-вишневых панелях. Благодарит за цветы и приглашает в гостиную, показавшуюся немыслимых размеров, освещённую огромной хрустальной люстрой, какую привычнее видеть в театрах.

Лера берёт Костю за руку, будто сам он может заблудиться в этих хоромах, и подводит к инкрустированному бронзой журнальному столику, за которым сидит такая же загорелая женщина чуть постарше Леры, на вид лет сорока пяти.

— Знакомьтесь, это моя сестричка, мы очень дружим. Помните, Костя, я рассказывала о ней в Риме? Теперь можете видеть воочию во всех её прелестях, — и заливчато хохочет.

Сидящая за столиком протягивает Косте руку:

— Аля.

Жгучая брюнетка, гладкие, завивающиеся книзу волосы, фиалковые, чуть навыкате, со смешинкой глаза, высокая грудь рельефно подчёркивается бирюзового цвета кашемировой кофтой. Опасная красота, о неё ожечься можно. Чем-то неуловимо Аля напоминает Наташу — один тип женщин *зноя,* по его определению.

— Что пить будем? — интересуется хозяйка. — Лично я коньячок.

Аля выбирает шампанское, Костя — виски со льдом. Лера колдует у столика с напитками, предлагает пересесть на диван, Аля встаёт, и Костя не может отвести взгляд от её фигуры. Она повыше сестры, покрупнее, всё в ней соразмерно, гармонично; когда садится на диван, в меру короткая юбка открывает красивые лодыжки и круглые аппетитные колени. От Леры не ускользает Костин взгляд, она незаметно поднимает брови: ну, что я говорила…

— Итак, господа, выпьем за встречу и за знакомство. Надеюсь, Генрих не слишком опоздает к ужину, не то мы надерёмся. Алечка, ты извинишь нас, но мы тебя оставим одну — хочу гостю показать квартиру. Ему наверняка будет интересно.

По сравнению с тем, что видит Костя, путешествуя по анфиладе комнат, поднимаясь по лестнице на второй этаж, его нью-йорк-

ское жилище выглядит лачугой. Конечно, он в состоянии (ловит себя на игре слов: в состоянии, имея состояние…) купить куда более дорогую квартиру, и не на Даунинг-стрит, а на Парк-авеню, отгрохать домину на Стейтен-Айленде или в Нью-Джерси с лифтом, идущим с первого на третий этаж, только зачем? Не находит в этом ни малейшего смысла. Интересно, сколько стоит жильё, которое он сейчас осматривает? Словно уловив его вопрос, Лера сама выкладывает:

— Такая элитная квартира стоит более двух миллионов, понятно, не рублей. Кое-какие деньги у нас были, остальное одолжили. И никаких ваших мортгиджей.

— Моя квартира много скромнее вашей. Но я один живу и не делаю из этого культа.

— Мы тоже не делаем. Поймите, Костя, все мы так долго жили в нищете или пользовались казённым, нам не принадлежавшим, что при первой возможности заиметь своё ринулись строить, твёрдо зная — это уже не отнимут. Поскольку отнимать придётся у очень многих. К тому же у нас девицы-погодки растут, студентки, часто моя мама гостит, друзья живут, нам площади много надобно, — точно оправдываясь.

— Я про культ просто так сказал, не принимайте всерьёз, — хочет сгладить неловкость.

— Я и не принимаю.

Они возвращаются в гостиную, где Аля курит и смотрит телевизор. Ещё выпивают, Лера начинает рассказывать, как славно отдохнули они с Алей в Бразилии, купались, загорали, одни, без мужиков, благодать. Аля изредка вставляет реплики, но видно — заглавную роль в их отношениях играет Лера. Попутно Косте сообщается, что их матери — родные сестры. У Али свой бизнес, туристическая фирма, известная в Москве, вот они и пользуются возможностью путешествовать. Генрих редко ездит, безумно занят, опять же выборы в это воскресенье, на него многое легло. Леру отпускает одну охотно, не ворчит и не перечит, золотой муж, Аля же у нас девушка свободная, ей кататься никто и ничто не мешает, тем паче возит группы.

— А как же бойфренд, неужели спокойно реагирует на частые отлучки, не ревнует? — Костя в упор глядит на Алю. Виски делает своё дело.

— А нету никакого бойфренда, — выдерживает взгляд Аля. — Выгнала. Он решил, что у меня контора Кука, можно мной пользоваться.

Терпеть не могу мужиков-прихлебаев… А вы-то чем в вашей Америке занимаетесь? — по-простому, без всяких антимоний.

— А ничем не занимаюсь. Жизнь прожигаю,— Косте охота ваньку повалять. А и впрямь, чем он занимается…

— Ладно, не выдумывайте. С виду вы солидный, положительный, Лера говорит, богатый. Наверное, бизнес свой имеете.

— Внешность обманчива, Алечка. На самом деле я прощелыга, пьяница и бабник. Деньги, впрочем, имеются. Вот и резвлюсь.

— Не хотите рассказывать, не надо. Лерка, ну где твой муж? Я есть хочу.

— Сейчас позвоню… — набирает номер по мобильнику.— Мой дорогой, компания в сборе, а… Сам вызывает? Извини, всё, садимся без тебя. Ох, эта служба… Всё, господа, Генриха не ждём.

Они переходят в помещение, примыкающее к кухне, устраиваются у овального, напоминающего барную стойку, стола на высоких кожаных стульях с вертящимися сиденьями, Лера начинает метать из холодильника на стол закуски, объявив, что на горячее будет запечённая в сметане форель. Выпивают ещё, Аля обильно мажет маслом хлеб, кладёт густой слой паюсной икры, передаёт Косте (давненько не пробовал он паюсную икру, последний раз в знаменитом ресторане Петросяна в Манхэттене, стоила чудовищно дорого, ужинал там с Наташей), делает такой же бутерброд себе.

— Ну, Костя, расскажите нам о вашей замечательной Америке,— в фиалковых глазах искорки-смешинки.

Звучит нарочито, с уничижительным оттенком. Он, верный себе, мигом щетинится, хотя и растягивает губы в улыбке.

— Ну, что сказать вам… Потихоньку загнивает Америка, но больно запах гниения приятный.

— Я бы у вас не смогла жить,— смешинки куда-то деваются, взгляд Али демонстрирует степень отчуждения. Другого ответа она, похоже, и не ожидала.

— Это почему же?

— Кто-то там из умных сказал, не помню: «Счастье определяется, в первую очередь, наличием свободного времени».

— Маркс сказал,— уточняет Лера, внимательно разговор слушающая.

— Ох и умная ты у нас, Лерка, всё знаешь. Так вот, в вашей, Костя, Америке свободного времени ни у кого нет. Вкалывают все до умо-

помрачения, расслабиться, как мы в России, не могут. Не потому, что не хотят, а просто возможности не имеют. Отсюда депрессии, полстраны на таблетках сидит.

— Откуда сведения, позвольте полюбопытствовать?

— Общалась с нашими иммигрантами, кое-что сама наблюдала. Я дважды была в Штатах, правда, на Западном побережье, до Нью-Йорка не доехала. Разницы, думаю, нет.

Вовсе Костя не собирается защищать то, что в его защите вовсе не нуждается, к тому же и сам в другой ситуации нашёл бы десяток аргументов не в пользу страны, в которой живёт, однако основывалось бы это на пережитом, перечувствованном, осмысленном, а не на отрицании ради отрицания, априори, без знания, повода и веской причины, просто потому, что чужое, а следовательно, непонятное, враждебное, чему не хочется завидовать, но зависть сильнее доводов рассудка, хотя никто никогда в этом не признается. Не раз уже сталкивался Костя с таким подходом, и в прошлый свой приезд в Москву, и особенно в разговорах с приезжими из России. Можно, конечно, не придавать значения, тем более это звучит в устах красивой женщины, которая явно на него глаз положила (а он на неё), но знает Костя за собой грех: непременно ввязываться в спор, даже во вред себе. Знает и ничего с собой поделать не может. Натура такая. Вот и сейчас…

— Вы правы, Аля, мы в нашей стране (ударение специально делает на «нашей») — действительно много работаем, наверное, чересчур много. Зарабатываем деньги потом и кровью, в отличие, извините, от России, где всё на воровстве и взятках построено. Разве не так? А счастье, Алечка… Оно всё-таки не от свободного времени зависит, тут старик Маркс загнул, от многого другого зависит, да и что такое счастье — эфемерная материя, нечто быстролётное, кажущееся, поди измерь.

— У нас тоже не все взятки берут, — неуклюже начинает оправдываться. — И мы работать умеем не хуже американцев. Но мы — шире, раскрепощеннее, у нас меньше условностей. Гнёта у нас меньше, давиловки, а в итоге — страха.

— Это здесь-то гнёта меньше и страха?! Если в Америке я законы не нарушаю и налоги плачу сполна, могу ни о чём не беспокоиться. У вас же зависит от того, как сверху посмотрят, мило или косо. В России, мне кажется, никто сам себе не принадлежит. Откуда у вас раскрепощённый человек мог появиться? С Луны, что ли, свалился?

С каждым из вас что угодно сотворить могут, человека как личности попросту нет, её в грош не ставят, и вот здесь-то и проявляется страх настоящий… Почему так уверенно говорю? Вы, Аля, у иммигрантов черпаете сведения об Америке, я — из встреч здесь, в Москве, из разговоров с приезжающими или попросту бегущими от вас. Читаю много о России. Источники надёжные, о многом говорят. Да и как взяться иному? Те, кто мозги пудрили в перестройку, вовсе не демократы. Просто хотели жить не как раньше, не как все. Хотели что-то иметь. Желательно побольше. Как Макиавелли говорил? За любой политической идеей стоит заурядный интерес к вещам. Наиболее расторопным, циничным даровали сверху кое-какие привилегии: делайте, ребята, что хотите, но не зарывайтесь, а главное, не мешайте нам, верхам, делать то же самое, только на другом уровне…

Выпаливает Костя и сам себя за кончик языка мысленно хватает: однако разошёлся, выпивка даёт о себе знать. С чего это тянет его обсуждать то, что никак с ситуацией не вяжется? С глузду съехал. Две привлекательные женщины перед ним, на кой ляд эта политика, сравнения, кому живётся лучше. Да тому, у кого денег больше, вот и весь сказ. Задела его Аля, вот и полез в бутылку. Надобно обратный ход давать, а то дамы нахохлились, губки поджали. Не ожидали от него такого напора.

— Хватит об этом. Мы же не на митинге. Извините мою горячность. Есть тост. Я хочу выпить за национальное достояние России — за её женщин. То есть за вас и в вашем лице за всех русских красавиц. Вы не поверите, как мало таких женщин в Нью-Йорке. Не на ком глаз остановить. Казалось бы, со всего света съехались, а глядеть не на что. И одеты чёрт знает как. Но русские и в Нью-Йорке заметны, выделяются. За вас, милые мои, и ещё раз простите, если наговорил тут всякой ерунды.

Оттепливается взгляд Али, и Лера снова улыбается. Кажется, он частично прощён. Надо кончать пить, иначе опять прорвёт, он себя знает.

— А вы, оказывается, агрессивный, нетерпимый. Где же хвалёная американская толерантность? — в устах Леры звучит не слишком осудительно.

— Это, дорогая моя, не агрессия, а темперамент, — вставляет Аля. — Я сама виновата: завела гостя. Мне такие мужики по нутру. Чувствуется сила.

Похоже, не просто дань вежливости, а заявка на нечто большее, начинает казаться Косте.

В половине одиннадцатого Аля неожиданно откланивается. Костя берётся её проводить. Лера не только не возражает, но, кажется, рада, обходится без приличествующих моменту фраз: «Посидели бы ещё немного, дождались бы Генриха…» А тот и в самом деле завяз на службе. Интересно, кого Лера имела в виду под «сам вызывает» в телефонном разговоре с мужем? Неужто…

— Вас подвезти? — спрашивает Аля, открывая дверцу «Ауди», запаркованной у дома на стоянке.

— Я рядом живу, на Тверской. Но если вы столь любезны, не откажусь. А вы где обитаете?

— В Давыдкове. Ехать по Кутузовскому. Москву ещё помните? Правительственная трасса. Утром пробки жуткие, когда «сам» едет с дачи.

— Я бы хотел побывать у вас в гостях. Наверное, такие же хоромы, как у сестры?

— Господь с вами, я не настолько богата, и у меня нет такого мужа. Скромная трехкомнатная квартира, живу сейчас одна, у сына своё жильё, а дружка своего выгнала, — зачем-то вновь напоминает. — Если хотите, поехали сейчас, — произносит буднично, как о простом, не требующем долгих раздумий и обсуждений деле, а у Кости аж сердце замирает. Ещё бы он не хотел!..

Через полчаса входят в Алино парадное. Костя запоминает: Славянский бульвар, 11, корпус 1. Дом этот и стоящие по соседству знакомы Косте по прежней жизни — проезжал их с Полиной по пути к универмагу «Минск», где изредка покупал что-то. Когда-то смотрелись неплохо: многоэтажные, кругом зелень, простор, да и до центра относительно недалеко. Сейчас более чем скромно выглядят в тени безумно дорогих жилищ для избранных, особняков и модерных высоток, типа той, что возле Чапаевского парка на Соколе, второго такого небоскрёба, Костя читал, в Европе нет; и всё отгрохано в последние годы, те, которые Костя вдали от Москвы проводит.

Квартира у Али ухоженная, мебель белая кожаная, по виду новая, но всё сплюснутое, малометражное, особенно кухня. Раз здесь живёт и не переезжает в престижные дома, значит, и впрямь среднего достатка, до сестры не дотянуться.

Аля уходит в спальню переодеться, возвращается в коротком розовом шёлковом халате, включает на кухне электрический чайник, ставит на узкий, соразмерный кухне, стол коньячные рюмки, чайные сервизные чашки, нежными цветами разрисованные, сладости, орешки, садится нога на ногу, кимоно задирается, являя во всём бесстыдном великолепии загорелое тело матёрой женщины.

— Вот так я живу. Нравится?

До конца мая Костя у Али. Часто задумывается: что привязывает к ней? Не крыша же над головой — гостиницы в его распоряжении. Постель? Да, спать с ней замечательно, всё плотское, что Костя любит и ценит, в Але с избытком. Но не только же это. В ней то необъяснимое, что присутствует в русской женщине, как ни в какой другой: сердечность и лукавство, открытость и замкнутость, капризность и игривость, лень и блудливость, покорная наивность и порочная привлекательность, которая дороже любых достоинств. Думает об Але, а в памяти то и дело литературные реминисценции. Русская женщина — как французский сыр, который тогда только хорош, когда испорчен. Она — как сосуд с кристальной водой, но с осадком на дне: стоит возмутить воду, и она потемнеет, кристаллы исчезнут, останется одна мутная жижа, и в этом вся прелесть.

«И нашёл я, что горше смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце её — силки, руки её — оковы».

С Алей он не испытывает тягости общения, напротив, ему интересно слушать, разговаривать, это не надоедает, он не устаёт и не пресыщается, ему хочется видеть её постоянно.

Костя знакомится с сыном Али. Ожидает увидеть ловеласа и бездельника, стреляющего у мамы до получки, а встречает умного, вполне современного, знающего, чего хочет в жизни. Заканчивает экономический факультет университета и уже подрабатывает в крупном банке. После распределения получит место на семьдесят тысяч рублей. Английский у Павла такой, что Косте лишь завидовать остаётся. А ещё французский. На Костю смотрит равнодушно, привык к мамашиным причудам, а этот русский американец и есть причуда: неизвестно, откуда взялся и сколько ещё поживёт на Славянском бульваре. Взгляд становится другим, когда узнаёт от Али: этот американец, оказывается, миллионер. Молодец, мамашка, прибирает к рукам заморского гостя.

И впрямь прибирает — в одно прекрасное утро заводит разговор напрямую: турфирма её открывает новые маршруты и нуждается в инвестменте (от сына, что ли, термин усвоила), не может ли Костя перевести на счёт сто тысяч баксов и стать партнёром? Костя огорошен, не суммой, хотя и немаленькой, но подходом Али, жестко-деловым: отказать ей невозможно, ибо… Впрочем, нет причин для отказа, кроме одной: деньги эти Костя назад никогда не получит, сколь бы успешно ни шёл бизнес у Али. Коммерция? Это очень просто — это деньги других людей. К тому же за удовольствия надо платить, и Аля точно подгадывает момент платежа — ни раньше, ни позже.

В мае он с ней едет в Анталию загорать и купаться. По возвращении получает приглашение на шашлыки к Лере и Генриху. Происходит пикник на их даче в Нахабине. Участок — в футбол гонять можно, растут густо сосны, ели, берёзы, дом не из кирпича, как у соседей, а из дерева, эстонцы строили, брёвна и доски из Финляндии доставлялись. Три этажа, сауна с большим бассейном, бильярдная, тренажёрный зал, гараж крытый. Человек десять присутствует, погода сказочная, женщины в сарафанах и купальниках, мужчины до пояса голые, в шортах. Один Костя в майке с воротом под горло — не хочет публике демонстрировать нагрубший продольный шов на груди, начнутся расспросы про операцию, что да как.

Генриха он давно не видел, альбинос с видимым удовольствием пожимает ему руку, расспрашивает о делах, о том, как роман пишется: видно, Лера доложила. Странное ощущение: кажется, умный, образованный, приятный человек, располагает к себе, привечает Костю, а чужой. Сызмальства сидит в Косте неистребимая черта: не переваривает он карьерой озабоченных, всё равно какой. (И Америка его не изменила, потому и не голосует на выборах ни за тех, ни за других.) Тем более служит альбинос там, где порядочные люди не задерживаются, считает Костя, не изживший ребяческий, непозволительный максимализм.

Думает так о Генрихе, а руку пожимает, улыбку строит, на даче его отдыхает. Лицемерие и двуличие, друг мой, говорит себе. А с другой стороны, он что, приехал сюда нравы лечить? Тоже лекарь нашёлся. Его суверенное право: быть или не быть рядом с такими людьми, принимать их со всеми их потрохами или не принимать. Он, внутри себя осуждая, ***желает*** с ними дружить, и пусть кто-нибудь бросит в него камень.

Стол накрыт в укромном уголке в тени под деревьями, там же и мангал. Начинает Генрих колдовать с заранее замаринованным мясом, насаживает на шампуры, Костя вызывается помочь, его отводит в сторонку Лера — без вас обойдётся, вы гость, отдыхайте, наслаждайтесь природой подмосковной, ведёт под руку по тропинке и тихо, интимно: хочу попросить об одолжении. Здесь приятели Генриха из разных контор, называть которые не хочу, двое сослуживцев; если о политике зайдёт разговор, не спорьте, не высказывайтесь о власти, так лучше будет. Понимаете, вы хоть и бойфренд моей сестры, но всё-таки американец… Костя кивает, не будет он ставить хозяев в неловкое положение, обещает.

О всякой всячине говорят: о каких-то назначениях, перемещениях по службе незнакомых Косте людей, о громких женитьбах на молоденьких, в том числе некоего Серёжи, которого странно называют *ястребом женским,* помалкивает Костя, слушает вполуха, выпивает вместе со всеми, поглощает салаты, закуски всякие, пока мясо поспевает. Какое ему дело до этого… Кто сидит за столом, кто прогуливается рядом, Аля в сексапильном открытом купальнике вовсю кокетничает с низеньким волосатым жуком, приехал он один, фото его Костя часто видит в газетах, важная шишка, она показывает на Костю, жук, поймав ответный взгляд, приветственно машет ему рукой. Костю толком не представили, приехал он на дачу с Алей одним из первых, знакомясь с прибывавшими гостями, называл, естественно, своё имя, и всё. Лера шепнула одной-двум парам, те на Костю поначалу с интересом, потом пьянка началась, он слился со всеми и стал неразличим.

Аля подводит жука к столу, тот усаживается рядом с Костей, заглатывает кусок баранины из первой порции готового шашлыка, окунает в ткемали, смачно жуёт и, не прожевав до конца, спрашивает с полным ртом:

— Как вам живётся у нас? Надолго ли в Москву?

Ощупывает Костю быстрым проницательным взглядом, точно прикидывает, что за птица заморская залетела в пенаты и с какой надобностью.

— Живётся хорошо, — чуть сдвигает Костя губы в подобие располагающей улыбки.

— Костя — мой партнёр по бизнесу, — вворачивает Аля, будто это так важно в данный момент.

Жук понимающе трясёт головой и тянется за новым куском мяса.

Вот так и идёт всё своим чередом, едят, пьют под тосты, беседуют ни о чём, анекдоты рассказывают, смеются. Все сидящие моложе Кости, некоторым по виду сорок с небольшим, он себя среди них не вполне в своей тарелке чувствует, однако никто на него внимания не обращает, покуда Генрих-тамада тост не предлагает. Вспоминает альбинос ночной Рим, дорогу к Колизею, случайное знакомство с земляком, живущим за океаном, которое переросло… во что переросло, не говорит, но нетрудно догадаться — во что-то тёплое, иначе бы не сидел этот высокий, седеющий, с залысинами у висков, похожий на Клинта Иствуда человек за столом избранных. Косте желают здоровья и успехов, одна сравнительно молодая дама, сидящая по левую руку от Али, тянется, чтобы чокнуться, в разрезе сарафана видна не стеснённая лифчиком грудь, она дотягивается и поддатым голосом:

— Вы — русский или американец? Я имею в виду: кем вы себя сами иден…тифицируете? — споткнувшись на последнем мудрёном слове.

С вопроса этого, вернее, с ответа на него — дёрнул же чёрт на серьёзный тон перейти! — и начинается то, о чём предупреждала Лера. Мог бы подыграть компании, подольстить даже: ну, конечно, русский, кто же ещё, в Америке нам прижиться до конца трудно, невозможно, и ведь правда это, а выскочило неожиданно совсем иное:

— Видите ли… Если несправедливо ругают Россию, я — русский, если Америку — я американец.

— А если справедливо? — Жук заинтересованно разворачивается к нему всем корпусом.

— Тогда мне вдвойне больно за страну.

— За какую?

— За ту и за другую.

— Интересный ответ, — оценивает Генрих, и непонятно, в положительном смысле или недоумевающе. — Помнишь, я тебя уже спрашивал об этом, ночью, в Риме? Ты тогда вроде не так рассуждал. Или я запамятовал.

Костино невольное откровение слышат сидящие за столом: ещё сравнительно немного выпито, нет галдёжа, нить разговора покамест не разорвана на кусочки, когда внимание лишь ближайшим соседям, к ним обращаются, с ними преимущественно говорят и застолье на островки разрозненные разбивается. Сейчас не то — уши вострят гости альбиноса: что за тип выискался, вроде солидный, раз

в нашу компанию затесался, другого бы хозяева не пригласили, тост за него предлагают, а он выпендривается. Видите ли, больно ему за Америку.

— Для вас что, разницы никакой нет: Америка, Россия, всё едино, да? Каково отношение ваше к родине бывшей? Ваше… отношение… каково? — нарочито разделяя слова, будто чеканя их, обращается к Косте чернявый узколицый человек с аккуратным пробором и лёгкой, по теперешней моде, щетинкой.

— Бывшей родины не бывает, осмелюсь заметить. Родина одна у человека, где бы ни жил.

— Коли так, позвольте спросить, что вы о ней думаете? Откровенно только, не юлите.

Аля под столом ногой брыкает: уймись, не подставляйся. Костя не обращает внимания, ищет короткий, точный, исчерпывающий, достойный вопроса ответ и задумывается. Чернявый по-своему истолковывает:

— Видите, и сказать нечего. — Рот щерится подобием улыбки. И удовлетворённый, чернявый совсем на другое поворачивает: — Я вам историю одну поведаю. Когда кубинский кризис разразился, Кеннеди своего госсекретаря в Париж послал, к де Голлю. Мол, советские ракеты нацелены на Соединённые Штаты, в случае необходимости США применят силу, то есть означать это будет ядерную войну между Западом и Востоком. Закончив доклад, госсекретарь сказал де Голлю: «А теперь позвольте представить вам доказательства». Де Голль ответил: «Мне не нужны ваши доказательства. Я верю президенту Соединённых Штатов. Передайте ему, что мы его поддерживаем». Кто из иностранных лидеров скажет сегодня то же самое? После Ирака кто скажет? Вам нынче никто не доверяет.

«Вам» звучит нарочито, почти вызовом — Костя для чернявого однозначно американец, и более никто, к России никакого отношения не имеющий. Выведен за скобки. Соответственно за всё случившееся отвечает вкупе с остальными, за океаном живущими. Его, Костю Ситникова, от страны, где он родился и лучшие годы прожил, чернявый отставляет, от ворот даёт поворот, отказывает в моральном праве говорить о ней и от её имени. Ладно, переживём покамест.

— Ну, коль вы меня в стопроцентные янки записали, то пристало ли мне с пеной у рта президента своего выгораживать? Не стану. Политикам вообще верить рискованно. Все они одним миром ма-

заны. Беда в другом. Американцы — дураки. В хорошем смысле. Как в русских сказках Иванушка-дурачок. Наивные альтруисты, хлебом их не корми — только дай помогать другим. И когда получают за это по физиономии, искренне удивляются, а затем негодуют: за что? Помните «Тихого американца»? «Я никогда прежде не видел человека, который руководствовался самыми благими намерениями и умудрялся создавать столько проблем…» Кажется, так или близко по смыслу. Винить Америку можно лишь за то, что продолжает она упрямо наступать на те же грабли. Не надобны миру её благодеяния. Хочет мир жить по своим законам. И пускай себе живёт.

— Вы что, всерьёз верите в то, что говорите? Ну, знаете… — чернявый разводит руками, как бы ища поддержки у сидящих за столом. — Наивные альтруисты… — повторяет и опять ощеривается, не то улыбнуться хочет, не то гримаса у него такая. — Да все эти иллюзии давно похерить надобно! Американцы — самые справедливые, самые честные, добрые, да? И это после всех скандалов, после жульничества корпораций, после нападения на чужое государство под сомнительным предлогом, наконец, после издевательств над заключёнными! Чья бы корова мычала… Вы не лучше других, вы такие же, как все, пора зарубить на носу. Только лицемерно врёте себе и остальным. И хватит заклинаний по поводу стран-изгоев и прочего — после Ирака номер этот у вас не пройдёт!

Костя решает не отвечать — пускай чернявый душу отведёт. Выпивает полную рюмку водки, потом ещё одну, закусывает мясом и чувствует, что начинает всерьёз хмелеть. А за столом, словно наэлектризованные чернявым, не слушают друг дружку, пытаются перекричать, и все, как один, костерят Америку, пока наконец альбинос не прекращает анархию и не приглашает гостей попариться и покупаться в бассейне.

В сауну разгорячённому, взбудораженному Косте хватает ума не лезть, плюхается он в прохладный бассейн, плавает минут десять, остывает, приходит в себя.

В одну из суббот они Аля вновь поехали в Нахабино по приглашению хозяйки. Костя поцеловался с Лерой, и та неожиданно предложила Косте пожить на даче с тем, чтобы побыстрее закончить роман, о котором уже рассказала знакомому, весьма известному и преуспевающему издателю. Книгу ждут — теперь дело за Костей.

Я начинаю опасаться Америки. Что-то меняется в ней на глазах, и начинаешь понимать: все системы, в сущности, похожи — едва нависает серьёзная опасность, перестают вспоминать о том, что питает общество, даже такое, которое наиболее приемлемо для человеческой жизни, включаются механизмы самозащиты, чудовищные жернова, перемалывающие всякого, кто попадётся, правого и виноватого.

На других континентах нас судят куда более суровым судом, нежели остальных, но мы сами подняли такую планку и должны ей соответствовать. Мы всё более одиноки в мире. Мы в глазах мира уже не те, какими были ещё два десятилетия назад. Сегодня мы жёстко говорим миру: кто не с нами, тот против нас. Политика крайностей. Мы заставляем одних безоговорочно подчиниться и вызываем злобу по отношению к нам у других. Европа охладевает к нам. Восток отторгает нас как инородное тело.

Мы становимся более равнодушными и жестокими, нам разрешено нарушать традиции и принципы, которые мы исповедовали, которым с воодушевлением следовали и поклонялись. Мы лжём и не краснеем, мы приносим в жертву слишком многое, чтобы оставаться прежней альтруистической Америкой.

Да, нас вынуждают к этому. Но будет ли это обстоятельство принято во внимание спустя какое-то время и хватит ли сил и желания оставаться прежними, наивно верящими в добро и справедливость, в то, что именно мы показываем в этом пример?

Бенджамин Франклин исчерпывающе точен: «Тот, кто готов поступиться вечной свободой во имя сиюминутной безопасности, недостоин ни свободы, ни безопасности».

Но какой выход? Я понимаю: лидерство Америки необходимо — не столько даже нам, сколько остальным, иначе полный хаос. Куда страшнее будет для человечества, если Америка добровольно или вынужденно отдаст судьбу мира в чужие руки. Руки бесчувственные, безжалостные, обагрённые кровью.

Я же меж двух берегов, от одного отплыл, к другому не приплыл, и повернуть назад нет сил…

Счастье наше не зависит от политики, от того, какой строй правит нами, сколько отпускает свободы, независимости. Спору нет, в условиях несвободы о счастье трудно говорить. Если тебя завтра посадить могут, какое уж тут счастье… И в то же время можно, да, можно быть свободным в несвободной стране и быть рабом в стране сво-

боды. Человек не весь, не целиком принадлежит Системе, даже в самые страшные периоды не в состоянии Система вытравить в нём человеческое. И в тридцать седьмом влюблялись, ревновали, рожали детей, ходили в театры и на футбол, устраивали вечеринки, пели, танцевали… Изредка попадаются фотографии тех годов: радостные, весёлые лица, в глазах — оптимизм. Неужто ничего не знали, не ведали? Но, может, страх подавлялся жаждой жизни?

…А ещё вдруг вспомнил Оруэлла. Мне всегда казалось — промыть мозги обществу можно только в условиях диктатуры. Но что-то не до конца понятное, оформившееся, подобно куску сырой глины, до которой не добрались руки скульптора, заставляет усомниться в выводе. Неотступно дятлом тукает в висок знобкий вопрос: а может ли такая «промывка» иметь место в свободном (как его считают) обществе? И наплывом, как в кино,— видения одно чудней другого: человек боится высказать своё мнение, дабы не подвергнуться остракизму или, чего более, не быть уволенным со службы; приучают его держать язык за зубами, иначе те, кто диктует новые правила поведения в обществе, рассердятся; привычная толерантность превращается в покорность, в терпимость к понуждению молчать или врать в угоду тем самым, диктующим новые правила, воля и внутренний протест парализуются утробным страхом… Да, человек не принадлежит до конца Системе, но слишком многое зависит от неё.

Не дай бог дожить до такого в Америке!..

Четверг восьмого июля складывается привычно, буднично и — странно. Накануне Костя договаривается о встрече в издательстве, днём должен к Але заехать, вместе пообедать, и с утра какие-то непонятности. Во время звонка Але вырубается связь, он вынужден перезванивать по мобильному. Такого ни разу не было. Связь так и не восстанавливается до его отъезда с дачи. Берёт с собой в Москву лекарства — вынужден принимать по гроб жизни несколько таблеток в день, часто забывает о них, сейчас вспоминает и вместо того, чтобы взять по паре пилюль (завтра ведь вернётся на дачу, проводив Алю, запас не надобен), укладывает в наплечную сумку флаконы. Наконец, оставляет в письменном столе синий паспорт, для него сие крайняя редкость; всхомянулся, поджидая водителя Володю, уже за воротами, вынужден вернуться, забрать паспорт и замечает сам себе — плохая примета.

Володя приезжает с опозданием в полчаса — говорит, что как бы застрял в пробке. Ох уж это лукаво-бессмысленное «как бы», постоянное на здешнем языке, пришедшее на смену «так сказать» и другим оборотам былого, советского времени. Звонит Костя однажды по делу в одну московскую контору, просит к телефону начальника, секретарша в ответ: «Он как бы за границей». Костя уточняет: «Так за границей или нет?» «Я же говорю: как бы за границей», — не понимает его вопроса секретарша. Или непременное «да» в конце предложений, не вопросительное, не восклицательное, никакое. «Встречаю утром своего приятеля по работе, да, приглашает он на день рождения жены, да…» Впрочем, зря, наверное, Костя удивляется — мусор в любом языке присутствует. Те же американцы то и дело в речь вставляют ничего не выражающее *«you know»* («вы знаете»). Разница в том, что в Америке это свойственно простолюдинам, а в России говорят так все, от президента и телеведущих до уличных торговок.

Из-за опоздания шофёра перезванивает Костя в издательство и просит сдвинуть встречу. «Nissan» выходит на трассу, не столь оживлённую около полудня, Костя на заднем сиденье, пролистывает главу рукописи, которую должен показать в издательстве.

Весь в своих мыслях, отрывает глаза от рукописи лишь тогда, когда Володя чертыхается и тормозить начинает:

— Вот гады, сейчас к чему-нибудь пригребутся.

У обочины милицейская тачка, мент жезлом приказывает остановиться.

— Капитан Сидоров, — отдаёт честь гаишник с мятым, хмурым, словно невыспавшимся лицом. — Ваши документы, — обращается к водителю.

Сидоров… беззвучно повторяет Костя. Почему не Иванов, не Петров…

Володя протягивает права в открытое окошко.

— Что случилось, капитан? Я же ничего не нарушал. Скорость, как у всех, не выше шестидесяти.

Сидоров держит права и не отвечает. Потом опускает голову на уровень окошка, вперив тяжёлый, нехороший взгляд в Костю.

— Ваши документы.

— С какой стати? — недоумевает Костя. Чуть не забытый перед дорогой американский паспорт в сумке, его верительная и охранная грамота. Но какие основания для того, чтобы его показывать? Нет никаких оснований.

— Обоим выйти из машины, — командует капитан.

— Форменный произвол! — возмущается Костя, берёт сумку и открывает дверцу. И в этот момент непонятно откуда взявшиеся трое в камуфляжной форме и масках — только прорези для глаз торчат — вытаскивают его из машины, один бьёт ребром ладони по шее, у Кости перехватывает дыхание, и он теряет сознание.

Очухивается он в полулежачем положении, руки заведены за спину, скованы наручниками. Его везут в машине, не в «Nissan», а в какой-то другой, с пахнущей замытой блевотиной обивкой, в которую Костя уткнут носом. Лежать скрюченным больно, он пытается привстать, но получает тычок в спину.

— Лежи, падла, и не гоношись.

— Вы кто такие? Что вам надо? — силится прояснить ситуацию.

Сидящий на переднем сиденье (Костя не видит его, слышит только голос, вроде тот, каким разговаривал капитан Сидоров) цедит сквозь зубы:

— Заяц, уйми его.

Кто-то сидящий рядом рывком поднимает Костю, достаёт широкий лейкопластырь, ножом отрезает кусок и заклеивает Косте рот. Потом круглолицый, стриженный под ноль малый с заячьей губой накидывает ему на голову мешок, пахнущий погребом и мышами.

Сидеть легче, чем лежать. Его похитили, это ясно. Зачем, кому он мешает? Бизнеса здесь не ведёт — не считать же таковым формальное участие в делах Алиного турагентства, никому дорогу не переходит, врагов у него в Москве нет. Тогда что? Дышать тяжело, он покрывается потом. Пульс, наверное, за девяносто. Долго так не выдержит, не с его мотором. Сколько же он был без сознания… Куда его везут? Читал в здешних газетах, как это обычно происходит: менты, настоящие или бандюки, в их форму переодетые, останавливают тачку якобы для проверки, вытаскивают пассажира, пересаживают в свою машину, делают укол снотворного или мешок на голову, а перед этим скотчем рот заклеивают. Привозят на место, где похищенный содержаться будет, и начинается разговор, как здесь говорят по-блатному — базар. Сколько же его везти будут… Сил нет мешок вонючий терпеть.

В машине людей трое, не считая его: «Сидоров», Заяц и водитель, едут молча, изредка короткими фразами перебрасываются, в которых ноль информации — кто такие, куда Костю везут и с какой целью. Аля сегодня его не дождётся, начнёт звонить на дачу, а там тишина;

может, Володя что-то расскажет, если жив, конечно. Пропажа Костина обнаружится быстро, а вот начнут ли искать сразу же, без промедления… И где искать…

Пробует определить, сколько уже едет. Обострённое чувство времени должно помочь — недаром будильником не пользовался никогда. Без сознания он находился, по всей вероятности, не более получаса — так ему сдаётся, в машине Костя примерно столько же, значит, за пределы Московской области не выезжал. Вот и занятие находит — время считать. Прекрасный, однако, финал романа, а он мучился, чем же повествование закончить. Вот и закончит, и не только книгу, но, может, и жизнь, оставив последнюю главу недописанной.

Едут они, по Костиным подсчётам, ещё часа два. Московскую область, таким образом, миновали. За всю дорогу только и узнает Костя, мешковиной вонючей дышащий, что шофёра зовут Фома (а может, кличка), «Сидорова» подельники называют Энимал, он у них старший, и что по приезде похитители должны сразу же связаться по мобильнику с каким-то Крупным.

Машина съезжает с асфальта, начинает подпрыгивать на ухабах, Энимал матерится сквозь зубы и даёт втык Фоме за плохую езду. Тот оправдывается: разве он ответчик за х…вые дороги. Едут так минут пятнадцать. Значит, от магистрали не так далеко, делает вывод Костя, и шумов города не слышно. Деревня или дачный посёлок. Наконец Фома тормозит, и Костя слышит голос Энимала, обращённый к нему:

— Слушай, Американец, мы приехали, вылезай из тачки и иди тихо, не дёргайся, иначе перо под ребро получишь. Понял? Заяц, помоги ему.

Сосед сдёргивает мешок с Кости, обхватывает его и вытаскивает из машины, «Жигулями» красного цвета оказавшейся. В глаза солнечный свет ударяет, Костя зажмуривается и делает носом несколько глубоких вдохов. Господи, как же это замечательно — просто дышать. Заяц тащит его к выкрашенному в зелёное одноэтажному строению, по виду даче. Вблизи, насколько Костя смог углядеть, домов нет, трава чуть ли не по колено, растут на участке несколько берёзок и виден колодец. Со стороны кажется, будто пьяного, на ногах не стоящего, ведут. Энимал и Фома идут сзади. На крыльце остеклённой террасы с кое-где выбитыми стёклами Заяц прижимает Костю к перилам и даёт пройти Энималу. Тот открывает дверь и рукой отмашку даёт

Зайцу: тащи. Костя попадает из террасы в большую комнату с линялыми обоями, оттуда — в комнату поменьше, Заяц усаживает его на стул с дерматиновой обивкой и вопросительно смотрит на Энимала.

— Сними пластырь, чего ждёшь.

Заяц отдирает наклейку, и Костя переводит дух. Губы спеклись, во рту пересохло, даже слюны нет.

— Можно попить? — спрашивает у Энимала.

— Заяц, дай ему.

Тот уходит, приносит кружку холодной колодезной воды и вливает Косте в рот. Костя захлёбывается, вода бежит по рубашке на брюки.

— Ну вот, обмочился Американец х…в, — осклабивается Заяц и остатки в кружке допивает сам.

— Сними наручники, — приказывает Энимал.

Руки словно не свои, в изнеможении опускает их Костя, сжимает и разжимает одеревенелые пальцы, растирает запястья.

— Пойду Крупному звонить, — говорит Энимал и выходит из комнаты, притворив дверь. Возвращается минуты через три, садится напротив Кости, стул ставит спинкой к нему, задом наперёд, облокачивает руки на спинку, выражение жёваного лица полно значительности. — Так, Американец, слушай внимательно. Мы всё про тебя знаем. Кто ты, что ты, какие бабки имеешь. Сейчас же свяжешься по телефону со своей дочерью и попросишь миллион баксов доставить, куда мы укажем. У вас там утро, она на работу ещё не уехала.

Вот оно что… Мог бы и раньше догадаться. Откуда же известно о его деньгах? Впрочем, кое для кого это секретом не являлось.

— Какой миллион, ты, е… твою мать, спятил, — ещё в машине решает Костя говорить с этими бандюками на их языке, не тушеваться. Всё равно хана, так хоть виду не покажешь, что боишься.

— Не валяй ваньку. Денег у тебя, нам известно, куры не клюют. Вот и поделись, — вполне миролюбиво, скушав Костино ругательство. — А не отдашь по-хорошему, мы тебе такую жизнь устроим… — почти ласково, нежно. И чтобы не возникло никаких недоумений и недомолвок: — Сначала пиз…ть будем до полусмерти, потом, если упрямиться будешь, электродики тебе на мочки ушей и на х… приладим — и в сеть. Тут ты, Американец, либо кончишься, либо сам умолять будешь с дочкой соединить.

Молчит Костя, и Энимал молчит. Что же делать, какой план выбрать? До побоев ни в коем случае нельзя доводить, эти зверюги

в инвалида его мигом превратят. Но и резину тянуть не удастся. Думай, думай, Костя, вариантов у тебя немного, но они есть. Наверное, есть.

— Понимаешь, Энимал, — тот брови поднимает от неожиданности — откуда имя его известно — и успокаивается, вспомнив: в машине ребята называли. — Понимаешь… — цедит Костя, — дочь моя скоро рожает, нельзя её тревожить. Ты же человек, сам, небось, отец, должен меня понять. — (Произносит, и смешно становится: это — человек? Кликуха у него не случайная — животное и есть.) — И потом… Не получится миллион снять со счёта, моё личное присутствие в банке требуется. Право подписи только у меня одного, усёк?

— Хитрый Митрий. Только нае…ть нас не удастся. Ты бабки переводил на турфирму? Сто тысяч? Переводил. И из Москвы не выезжал. Значит, смог. А сейчас миллион снимешь. Налом. Дочь или кто там возьмёт и в Москву доставит. Дальше — не твоя забота. Отдашь — и гуляй на все четыре стороны. А не отдашь, капец тебе.

Всё о нём известно, абсолютно всё. Кто может знать о турфирме и о ста тысячах? Неужто (прости, господи, страшно подумать) Аля замешана? Нет, не Аля, невозможно поверить. Зачем ей? Хотя наверняка из её окружения утечка.

— Риск большой, — делает вид, что не раскрыт, не пойман в силок. — После найн илэвен за большими деньгами у нас контроль жёсткий, когда снимаешь со счёта или переводишь куда. Боятся, террористам подпитка идёт.

— Что ещё за найн илэвен? — подозрительно переспрашивает Энимал.

— Ну, после одиннадцатого сентября, терактов в Нью-Йорке.

— А… Это не твоя забота, Американец. Пусть дочь снимает бабки, и всё. — И закурив, продолжает: — А что она на сносях, нам по х…

— Ты и твой Крупный не понимаете ничего, — идёт Костя напропалую. — Наличный миллион ей вряд ли выдадут без меня. И в самолёт с такой суммой опасно, на контроле при проверке засветится дочь наверняка. Денег не увидите как своих ушей. Энимал, дай мне подумать. Я не против деньги отдать, только надо по-умному, чисто сделать, иначе вас накроют и вы мне напоследок харакири сделаете.

— Правильно рассуждаешь, Американец. Подумай. Только не долго. Два часа тебе. Заяц…

Тот, как ванька-встанька, вскакивает, отрепетированным движением на правую руку Костину наручник надевает, рывком поднимает, ведёт к железной, суконным солдатским одеялом крытой кровати и приковывает к никелированной стойке в изголовье. Костя ложится на кровать, Заяц заклеивает ему рот скотчем и удаляется вместе с Энималом, оставив дверь открытой.

Что же делать? Ведёт лихорадочно Костя мозговой штурм и ни к какому решению прийти не может. Право подписи в банке, кроме него, только Дина имеет. Она и отправляла злосчастные сто тысяч. Дине сообщать, что с ним приключилось, не станет, своими руками её и дитя в утробе губить — пусть хоть режут, хоть паяльник в зад, хоть электроды. Однако может не выдержать. Позвонить другу-редактору, сообщить о похищении, а дальше… А что дальше? Перейти на английский, попросить Даню с Лерой связаться, он о ней ему рассказывал, та Генриха попросит помочь поиск организовать. Тоже не пляшет: пока искать будут, бандюки башку отвернут. Деньги им нужны, деньги, и как можно скорее. Выходит, заколдованный круг. Но звонить сначала будет Даниилу, твёрдо решает.

Два часа мигом одним оборачиваются. В соседней комнате выпивают, закусывают, о чём говорят, не слышно. Заходит Энимал, не такой насупленный, размягчённый водкой, предлагает выпить для смелости. Костя отказывается и воды просит. Заяц приносит в кружке. Приподнимается Костя, берёт кружку левой рукой и жадно пьёт.

— Жрать получишь, когда позвонишь, — уведомляет Энимал. — Надумал, кому?

— Другу. Давай телефон.

— Со своей мобилы звонить будешь. Наш номер светить нельзя, — и протягивает. Прошмонали сумку, естественно.

— Мой Америку не берёт.

— Опять врёшь, гад. Мы проверили, позвонили кое-куда, связь есть.

— Я могу сообщить о похищении?

— Нет, гнида, ты скажи, что на Канарах загораешь и тебе пары копеек не хватает на мелкие расходы, — ржёт. — Сообщи и добавь: если тянуть будут с деньгами, кожу с тебя живьём сдерём.

Снимают с правой руки Костиной наручник, набирает он Данин номер с тремя нулями на конце и просит секретаршу срочно соединить с главным редактором по личному вопросу. В трубке голос Даниила.

— Здорово, дружище, звоню из столицы российского государства, славного града Москва, которым все так нынче восхищаются, — начинает намеренно выспренно.

— О, привет, чего так торжественно?

— Есть на то веские причины. Слушай архивнимательно. — И уже другим тоном, соответствующим ситуации: — Я попал в переделку. Меня похитили. Требуют выкуп, миллион баксов. Говорю от них. Какие, к чёрту, шутки, слушай и не перебивай. Дине, упаси бог, пока ничего не говори, скажи, мол, отец бизнес покупает, нужны наличные деньги. Придумай что-нибудь, почему не звоню сам. Только попроси срочно снять деньги со счёта. Дине покамест ни слова, умоляю!

— Костя, я могу говорить открыто? Нас не слушают? — голос друга дрожит, вибрирует.

— Полагаю, нет.

— Я немедленно свяжусь с Фэ-Бэ-Эр и сообщу о твоём похищении. У них контора в Москве, пускай вместе с русскими ищут. Это тебе не навредит?

— Мне в моём положении ничего уже навредить не может.

— Понял. Начинаю действовать.

Энимал выдёргивает мобильник:

— Хватит. Завтра позвонишь опять.

К вечеру просится Костя в туалет. Энимал Зайцу команду даёт — проводи. Всё у них продумано: ведёт Заяц Костю в чулан.

— Ссы в ведро, Американец. А срать захочешь, выйдем во двор. Тёплого гальюна в доме нет, извини.

Туалет гальюном обычно моряки называют. Провожатый его, видать, на флоте служил — недаром якорь вытатуирован на правой руке ниже локтя. Ну и что даст тебе эта информация, дорогой Костя, спрашивает себя и головой качает: ничего не даст.

Отношения его с бандюками пока вполне нормально складываются: не угрожают, не бьют, даже кормят — два бутерброда с варёной колбасой и спитой чай. И таблетки приносят по его просьбе. Лыбятся: валяй, Американец, глотай пилюли, ты нам здоровенький нужен. Пока нужен, Энимал многозначительно добавляет.

Вновь вспоминает Костя утро злосчастного дня, цепочку случайностей: и про связь, почему-то оборвавшуюся, и про таблетки, и про паспорт; каждый божий день с любым человеком подобное происходит и забывается бесследно, придаёшь значение этому лишь то-

гда, когда случается что-то, тогда видишь во всех этих мелочах предзнаменование, знак некий, посланный свыше, однако не понятый, не прочувствованный.

На ночь приковывают Костю к кровати и оставляют одного, кинув дерюжку, чтобы укрылся. Ночь июльская, тёплая, сквозь приоткрытое окно с линялыми занавесками в цветочек запахи проникают, шорохи доносятся, потрескивания, мышь где-то шебуршит, но ни гула машин, ни голосов отдалённых, ни собачьей брехни, ни кошачьего любовного стенания. На отшибе дом стоит, в стороне от дорог и жилья, поди обнаружь. И выглядит дом, как Костя замечает, необжитым, запущенным. Может, пустовал поллета, пока гостя заморского не доставили в наручниках.

Сна нет, полудрёма, лежать может на спине и правом боку, на левый повернуться браслет мешает; буравчиком мысли посверливают: сможет ли друг-редактор Дину убедить, ничего толком ей не рассказав, сколько придётся маяться в заточении, а главное, оставят ли в живых после получения денег… Каких денег? Никто Дине снять такую сумму наличными не позволит, рассчитывать на это — обманывать себя и бандюков, не больно в этих делах смыслящих. Но долго водить их за нос не удастся.

Тихо в доме, спят бандюки. Эх, проволочку бы тонюсенькую, засунет её Костя в отверстие наручника, повернёт раз-другой, снимет металл ненавистный — и в окно. Только бы его и видели. Сползает осторожненько с кровати, скрипнувшей панцирной сеткой, ложится на пол, насколько наручник позволяет, шарить начинает левой рукой под кроватью — а вдруг бабеха какая обронила шпильку, булавку или заколку. Нет, на давно не метённом полу пусто, только слой пыли. Опять забирается на кровать, лежит в оцепенении. Неужто ничего придумать нельзя…

И тут аритмия начинается. Как тогда в госпитале, а может, хуже: пульс то заходится в дикой пляске, то бьёт невпопад, то трепещет. Весёленькое дело. Если больше полсуток продлится, может инсульт случиться.

Под утро приходит пульс в норму, и измученный Костя засыпает. Будит его пение соловья, такие рулады выводит с пощёлкиванием — заслушаешься. Но лучше бы тишина и никаких птиц, о воле напоминающих. Входит в комнату Заяц — в тельнике, джинсах и босиком.

— Ну, Американец, как спалось?

— В гальюн веди, срать хочу, — грубо-приказным тоном Костя.

— Приспичило, значит, пойдём. Не в кровать же…

Отщёлкивает наручник от кровати, рывком Костю поднимает, рот скотчем, заранее приготовленным, залепляет, на голову мешок. Руки Костины за спину заводит и браслетами фиксирует. Вперёд заходит, берёт Костю за брючный ремень и тянет за собой. Странно, зачем сейчас-то мешок? Вчера днём по приезде без мешка вели.

— Здесь порожек, ноги поднимай, — предупреждает.

Они уже во дворе, трава в росе под ногами, Костя чувствует. Заяц-поводырь по-прежнему за ремень тянет. Со стороны, наверное, та ещё картина, но кто увидит? Никто. Скрип ржавых петель, дверца сортира, должно быть. Вталкивает

Заяц его в дурно пахнущее пространство, снимает мешок и наручники.

— Сри, Американец. А это тебе на подтирку, — и сует газетные листки смятые.

Сидит Костя на толчке на корточках, не торопится, с прессой знакомится. Смешно сказать, действительно, «Газета» называется, за 29 января. Как сюда попала, кого бандюки зимой здесь прятали… Интересно читать про Россию, в то время Костя ещё в Нью-Йорке находился: церковь православная брала, похоже, взятки от Саддама, девушку-нацменку забили битой бейсбольной, капитан «Спартака» Титов на допинге пойман, дешёвых квартир в Москве не будет, один квадратный метр более полутора тысяч баксов — нью-йоркские цены, отдых в Турции летом подорожать может на двадцать процентов — он с подругой так называемой отдыхал там, наверное, ещё по старым ценам, умер в Лондоне архивариус КГБ, переписанные от руки документы вывезший за границу… И тут натыкается на заметку об убийстве некоего Андрея Лобяна двадцати трёх лет, похищенного бандитами, от отца его требовавшими два миллиона долларов. Зацикливается Костя на нескольких десятках строк. Лобян-старший в милицию обратился, по совету ментов тянуть стал с выкупом за сына, переговоры вёл, при передаче части денег одного из преступников взяли, потом на остальных вышли, да только парня они к тому времени уже убили, тело расчленили и в реке утопили. Такая вот история весёленькая, словно нарочно для заложника, в вонючем сортире сидящего, приготовлена. И приписка редакционная: случаи, когда вымогатели убива-

ют заложников, крайне редки — без учёта данных по Чечне. Ну, спасибо, утешили.

Заяц нетерпеливо в дверцу стучит:

— Заснул, что ли, Американец? Давай быстрей.

Выскочить рывком, ударить Зайца под дых или ногой по яйцам, и в лесок, а там ищи ветра в поле. Нет, не получится: этот гад тренированный, весь из мускулов и мышц, в два раза моложе Кости, не справиться с ним. А не удастся побег, бить будут, мучить, истязать.

На завтрак снова бутерброды и чай. После еды Энимал садится напротив, закуривает, достаёт из сумки Костиной страницы компьютерного набора — две главы книги, которые в издательство вёз Костя показать и не довёз.

— Ты, я вижу, писатель, сочиняешь романы, — с ударением на первый слог. — Я полночи читал. Интересно закручиваешь.

Бросает писанину обратно в сумку, дымом Косте в лицо:

— Звони корешу своему. Некогда турусы на колёсах разводить.

— Рано ещё.

— Как рано? День прошёл.

— Банк мой в Нью-Йорке, дочь в четырёх часах езды живёт. В лучшем случае завтра звонить надо.

— Кончай базарить. Звони, е… твою мать.

— Бессмысленно, Энимал.

В ответ удар в лицо. Из носа течёт кровь, и губа, кажется, рассечена.

— На, утри сопли, — Энимал бросает тряпку, на прикроватной тумбе лежавшую. — Ещё раз вякнешь, в порошок сотру. Звони, падла…

— Не могу, — мычит Костя, нос и рот ладонью зажимает.

— Заяц, принеси воды, дай этому уроду умыться.

Заяц наливает из кувшина воду в алюминиевую миску, Костя левой рукой макает тряпку и у носа держит. Через пару минут Энимал требует номер в Нью-Йорке. Костя Данин домашний телефон диктует, тот записывает.

— Говори, — Энимал набирает и передаёт мобильник. Даня трубку не снимает, срабатывает автоответчик. Костя *message* оставляет: если услышишь меня, возьми трубку. Молчание.

— Он трубку не берёт. Спит. Там сейчас час с лишним ночи.

— Повторим.

И снова Данин голос на автоответчике, на английском и на русском: я не дома, оставьте своё сообщение после гудка. Энимал труб-

ку выхватывает, слушает, отдаёт Косте. Тот свою просьбу повторяет, и снова тишина.

— Вот козёл драный. Х… с ним, позвоним попозже.

Тряпка розовой влагой набухает, кровь идти прекращает.

Вот и начало. Живым они его не выпустят.

И в это мгновение мелодия из «Севильского цирюльника» звучать начинает. Неожиданно так, все трое оторопело на мобильник смотрят, откуда музыка доносится.

— Тебе звонят, — Энимал протягивает мобильник.

В трубке голос дочери, отчётливый, даже дыхание учащённое различимо.

— Отец, что происходит? Ты живой? Я с ума схожу. Твой друг наплёл мне с три короба, я не поверила — какой бизнес, какой миллион? Насела на него, он рассказал правду. Какой ужас! Надо было тебе в эту Москву проклятую ехать?!

— Доченька, не волнуйся, ради бога. Со мной всё о'кей, — а у самого внутри всё обмирает.

— Господи, только бы ты в живых остался! Я через три часа выезжаю, ровно в девять в твоём банке буду. В Фэ-Бэ-Эр уже знают, Даниил сообщил. Обещают связаться с Москвой, ты меня понимаешь. Только бы эти звери не тронули тебя! — И Костя слышит сдавленное рыдание.

— Дина, прошу тебя, успокойся, возьми себя в руки. Я в порядке. Главное, побыстрее деньги выслать.

— Как только всё оформлю, тут же тебе перезвоню. Хотя не уверена, что удастся снять. Даже если сообщу, для какой цели, — ты же знаешь наших бюрократов.

Разговор заканчивается, Костя выключает мобильник и отдаёт Энималу. Не смог Даня скрыть от дочери, раскололся. Ведь просил его — ни в коем случае…

— Что твоя дочь сказала? — подступает к нему Энимал.

— Едет в банк. Деньги сняты будут через восемь-десять часов, с учётом разницы во времени.

— Ладно. Отдыхай пока.

Время быстро летит, на Костиных часах полдень. Через открытую дверь слышно, как телевизор работает. Скоро сутки, как случилось. Ищут ли его? Органы наверняка знают о похищении. Только кто его найдёт, да и будут ли пытаться… И словно в подтверждение Костиных мыслей, в комнате снова Энимал появляется.

— По ящику объявили о тебе, — говорит с непривычной, чуть ли не уважительной интонацией. — Так, мол, и так: гражданин США Константин Ситников, находящийся в Москве по делам бизнеса, похищен неизвестными. Никаких требований похитители, мы то есть, пока не выдвинули, — и усмехается. — Сказали, что шофёр твой очухался после нашего укола и показания дал. Даже вроде портрет словесный мента, тачку остановившего, срисовал. Надо было его замочить, зря пожалели. Хотя что он может сообщить… Ни х… не может. Не надейся, никто тебя не выручит, кроме тебя самого и дочери твоей.

Сообщение Энимала двояко Костя воспринимает: хорошо, что искать его начнут, и плохо, что времени в обрез, — получат деньги сполна бандюки и постараются от него избавиться, зачем им живой свидетель. Хотя вон в газете, в нужнике читанной, сказано: заложников редко убивают.

Вскоре шум мотора автомобильного доносится — кто-то едет. Через окно плохо видно, вроде тачка к даче подъезжает, красный «жигуль», похоже, тот самый, в котором Костю везли сюда. Точно, Фома из тачки выходит, о чем-то недолго с Энималом беседует и уезжает. Может, указания какие привёз от тех, кто над бандюками стоит.

— Значится, так: деньги в течение трёх дней должны в Москву прибыть, — подтверждает Энимал догадку Костину. — Не позднее. Времени нет с тобой чикаться. Понял?

— Это если банк сразу выдаст.

— Брось мозги парить. Три дня. Дочке своей сообщи. Ждём до половины шестого вечера, потом звонить ей начнём.

В комнате то Энимал, то Заяц, одного его не оставляют. Похоже, нервничать начинают. Пробует Костя обстановку прояснить, на его вопросы исчерпывающе лаконично отвечают: заткнись. Чувствует: что-то на воле происходит.

Ровно в пять пятнадцать мобильник Костин Россини играть начинает.

— Бери мобилу, чего ждёшь? — зло кидает Энимал и телефон в ухо.

Дина взбудоражена, чуть ли не давится словами:

— Отец, банк денег вначале не давал! Требовали, чтобы ты лично присутствовал и распоряжение отдал. Я им про похищение, а они — нам нужны доказательства! Сумма большая, боятся. Позвонила Даниилу, он опять с Фэ-Бэ-Эр связался, с их помощью выдали всю сумму.

— Умница, дочка. Ит симс ту ми, — переходит на английский, — эф би ай кен сэнд зе мани тру зе бордер ту Москоу фэст инаф. Айл трай ту вин сам тайм. Ай синк, дэт американс вил пуш рашенс ту старт зе серч. Эс э ласт рисорт ай… (Мне кажется, и ФБР может переслать за границу и в Москву достаточно быстро. Попробуй выиграть немного времени. Я думаю, что американцы подтолкнут русских начать поиски. В крайнем случае я…)

Он не слышит Дининого ответа — Энимал вырывает мобильник.

— Ах ты, падла, не по-русски заговорил?! Обмануть хочешь?! — хватает Костю за шею, приподнимает на кровати и бьёт в лицо. — Что ты сказал дочери? Отвечай!

Вместе с Зайцем отцепляют наручник от стойки, валят Костю на пол, заламывают руки за спиной, защёлкивают браслеты и начинают лупить ногами. Удары следуют по рёбрам, почкам, переворачивают его и бьют уже по груди, животу, Костя теряет сознание, но и в забытьи продолжает чувствовать отзывающиеся страшной болью удары…

Приходит он в себя после того, как выливают на него ледяную воду. Лежит он на полу, скрючившись, без наручников, боль адская, кажется, всё тело — одна сквозная рана, но особенно болят грудь и низ живота. На него льют и льют воду из ведра, пока не начинает шевелиться.

— Очухался вроде, — откуда-то издалека доносится, словно не к нему обращён голос.

Над ним нависает распаханное морщинами, жёваное лицо Энимала, взгляд жуткий, как у василиска.

— Жив, Американец? Запомни раз и навсегда: если опять заговоришь по-английски, убью…

Уши у Кости словно ватой заложены, один глаз закрыт распухшей бровью, изо рта кровавая слюна ползёт.

— Заяц, принеси штаны ему и рубашку, пускай переоденется.

Вдвоём поднимают Костю с мокрого пола, усаживают на кровать, дают полотенце. Руки не слушаются, Заяц раздевает его до трусов, обтирает, помогает втиснуть руки во фланелевую ковбойку, чужим потом пахнущую, и ноги в джинсы.

— Лежи, Американец, тихо, отдыхай, — заботливо, почти по-свойски. — На, попей.

И тут снова мобильник поёт. Энимал прикладывает его к левому Костиному уху и кулак держит наготове.

— Это я, Даня. Фэбээровцы сообщили — деньги в Москву уйдут сегодня. Сами доставят. Просят дать телефоны в Москве, кому передать деньги, и кто в переговоры вступит от твоего имени. Потерпи, я думаю, найдут этих гадов. Почему ты молчишь?

— Я не молчу, я слушаю, — и не узнаёт собственного голоса — мычание какое-то.

— Что с тобой? Костя, это ты? Я не узнаю тебя.

— Это я. Просто говорить трудно.

— Тебя бьют? — догадывается.

— Телефоны я дам позже…

— Не волнуйся, дружище, я всё понимаю и всё передам.

— Ничего не рассказывай Дине, умоляю.

— Хорошо, хорошо…

— Что он сказал? — Жёваное лицо расплывается в единственно видящем Костином глазу.

— Деньги уйдут сегодня, — и Костя снова отключается.

Потянуть время, однако, не удаётся. Энимал трясёт его и требует, чтобы звонил Костя друзьям или знакомым, кто бабки получит и с кем договариваться надо об их передаче. Второй глаз не открывается, движения по-прежнему отдаются острой болью в рёбрах — вздохнуть глубоко Костя не может, глухо ноет низ спины — наверняка отбиты почки. А главное, голова плохо соображает. Кому звонить, кого просить? Друзей у него здесь почти нет: Алю в расчёт не берёт, с ней связанное теперь подозрительно. Лера. Попробовать можно. Он просит Энимала набрать номер. Энимал держит мобильник у уха несколько секунд и передаёт Косте. Сквозь вату слышит Лерино «але».

— Лерочка, здравствуйте, это Костя. Не пугайтесь моей дикции — мною занимаются стоматологи, — находит силы пошутить.

— Господи, Костя, откуда вы?! Мы про весь этот ужас узнали из телевидения! Генрих связался с милицией и фээсбэ, вас ищут! Что хотят эти мерзавцы?

— Выкуп. Миллион долларов. Сегодня-завтра деньги будут в Москве. Лера, я прошу вас помочь. Больше мне не к кому обратиться. Я дам ваши координаты, деньги привезут к вам домой, мои стражи свяжутся с вами и обговорят условия передачи. Вы сообразите, как действовать дальше. По обстановке. Это возможно?

— Конечно, конечно, Костя! Пусть привозят деньги. Только… — лёгкая пауза, слышно Лерино учащённое дыхание, — только как Генрих

отнесётся, он же слишком заметная фигура, согласится ли впутывать меня и себя в это…

«Впутывать» сразу всё ставит на свои места. Действительно, кому охота какого-то иммигранта выручать. Тем более с бандитами общаться, хотя бы по телефону.

— Я свяжусь с Алей, попрошу, думаю, она не откажет. У вас же всё-таки особые отношения установились,— пытается найти выход, а голос уже другой, натянуто-напряжённый, неловкость момента пытающийся снять.

— Алю — не надо.

— Почему, Костя? Вы же близкие люди.

— Потом объясню. Если жив останусь.

— О господи, Костя, загадками изъясняетесь…

Закругляет Костя разговор, Энимал нависает над ним.

— Отказалась эта сука? — догадывается.— Ищи другую. Или кореша какого-нибудь.

Легко сказать… Чужой он в этом городе, никого не осталось, родственники поумирали, близкие друзья разъехались, а те, кто остался, беспомощны. Аля… А ведь и впрямь к ней обратиться придётся, больше не к кому. Если заодно она с бандюками, то деньги в точный адрес попадут, если же, допустим, не она и не язык её бабий поспособствовали его похищению, то что помешает помочь ему? Не робкого она десятка, к тому же под контролем органов действовать будет — Костя не теряет надежду, что его пробуют выручить. Через минут пятнадцать подзывает Энимала.

— Набери номер…— диктует.

Аля вначале сопли распускает, охи и ахи, натурально так, как актриса, а может, и впрямь переживает, кто её знает, вдруг посещают Костю сомнения. Она уже в курсе — Лера успела сообщить о Костиной просьбе.

— Разумеется, мой дорогой, мой любимый,— причитает со всхлипом.— Разумеется, дай мой телефон, пусть привозят деньги. И тем, кто тебя удерживает, сообщи: я готова вступить с ними в переговоры.

Теперь — сообщить Даниилу. Цепочка замыкается. А дальше будь что будет.

Сторожа Костины, заполучив Алин телефон, тут же звонить начинают куда-то. Не ей. Очевидно, Крупному. Разговаривают из соседней комнаты, дверь плотно прикрыта, но связь, видно, плохая, Эни-

мал почти кричит, слышит Костя обрывки фраз, одна его касается: «А с Американцем что делать?.. Ага, после вашего сигнала… Понятно, план, значится, меняется…»

На следующий день Дина звонит, еле сдерживает слёзы и без конца спрашивает: «С тобой всё в порядке? Тебя не мучают?» Как может, успокаивает её, более-менее внятная речь возвращается к нему. И боли чуть меньше.

Отношение к нему не то, чтобы меняется, однако кормить начинают трижды в день, на обед суп из рыбных консервов. В комнату к нему почти не заходят, чаще Костя их теребит, когда нужду справить требуется. На двор выводит его Заяц уже без мешка на голове, но в наручниках, и не спереди идёт, а сзади, подталкивая в спину.

Так ещё два дня минуют. Фома изредка приезжает, надо полагать — со жратвой и спиртным, потому что, когда Костю в туалет ведут, на столе в соседней комнате замечает он колбасу, ветчину и сыр в упаковках магазинных и бутылки с водкой и пивом. Пируют, гады, что бы им забыть наручники застегнуть. Не забывают… И в разговоры без повода не вступают, лишь Заяц однажды, ведя на двор, выговаривает:

— А ты, Американец, оказывается, важная птица, переполох из-за тебя…

— Что ж во мне такого важного?

— В газетах пишут о тебе, фотку дали. Органы сообщают, что ищут, в переговоры с нами вступили. Врут, собаки.

Утром в субботу (Костя высчитывает — точно выходной) поднимают его спозаранку. «Мойся и переодевайся», — командует Энимал. Споласкивает Костя лицо — Заяц тазик ставит на стул и из кувшина льёт ему на руки, расчёсывает торчащие в разные стороны патлы, смотрит на себя в зеркало и не узнаёт: замызганный мужик с седой щетиной и подбитым глазом, люди увидят — шарахаться начнут. Снимает он провонявшую потом, теперь уже его собственным, ковбойку и джинсы, облачается в свою одежду, мятую и жёваную, как физиономия Энимала, — видно, скомкали и бросили в углу, когда обливали, приводя в чувство. Зачем маскарад этот, убить могут и в чужой одежде. А может, не убьют? — пуганым птенчиком надежда закрадывается.

Заяц рот ему скотчем заклеивает и браслеты сзади защёлкивает. Во дворе вталкивают его в машину, в ту самую, в которой достави-

ли сюда, с запахом застарелой блевотины на задних сиденьях. Фома за руль садится. Всё, Костя, кажется, финиш, завезут в лес и кокнут. Деньги получены, зачем он бандюкам, лишние хлопоты только. Но почему утром, а не вечером или ночью, когда сподручнее убивать? Пока размышляет, мешок ему на голову накидывают и пригибают к сиденьям. Он стонет от сверкнувшей в рёбрах боли.

Везут его долго, машина несколько раз крутые повороты делает, и дорога то гладкая, шоссейная, то ухабистая, просёлочная. Спутники его преимущественно молчат или всякую хреновину обсуждают, включая футбольные результаты, о Косте и куда едут — ни гугу. Единственно, слышит указание Энимала Фоме, когда уже часа полтора в дороге:

— Проедешь Жилино, свернёшь налево, мимо фермы и на трассу, там остановишься, где я скажу.

Деревня какая-то, делает вывод Костя, а коль на трассу выходят, то, стало быть… стало быть, убивать сейчас не будут. Для этого поукромнее уголки выбирают.

Вот и поворот, о котором Энимал говорит: Костя чувствует и дорога стиральную доску напоминает. Через минут пятнадцать снова ровная, гладкая. Трасса, наверное.

— Ещё полкилометра — и въезд в лес, — предупреждает Энимал. — Не пропусти. Вставай в крайний правый.

Скорость сбавляется, плавный поворот, машина едет медленно, что-то методично пощёлкивает, ощущение, будто ветки боковые стёкла стегают.

— Стой. Приехали.

Заяц мешок с Кости сбрасывает, скотч отдирает, резко поворачивает к себе и наручники снимает.

— Выводи, — приказывает Энимал.

Заяц выталкивает Костю, снаружи его Энимал и Фома страхуют.

— Так, господин Ситников, пришла пора нам прощаться, — осклабивается Энимал. — Не поминайте, так сказать, лихом. И скажите спасибо, что легко отделались. Босс такое решение принял. Во избежание международного скандала, — и уже открыто, издевательски смеётся. — Иначе бы кормить тебе, Американец, рыбок в каком-нибудь озерце или речушке. Слушай внимательно. Сейчас пойдёшь в глубь леса. Иди прямо, не оглядывайся, спокойно и без фокусов. И шаги считай: как двести отсчитаешь, так обернуться можешь. Свернёшь влево

и на трассу выйдешь, а там уж твоя забота, как до Москвы добраться. Общий привет… Да, сумку не забудь с барахлом,— и передаёт её Косте.— Писатель долбаный…

Не веря услышанному, берёт Костя сумку на плечо и нетвёрдым, отвычным шагом вступает в лес. Идти приходится по устланной сосновыми иголками земле, переступая сухой валежник, мимо струящих сладкий дурман деревьев, он машинально считает: десять… двадцать… тридцать… за спиной звук работающего двигателя — и тишина. Он оборачивается и не видит красных «Жигулей» — там, где они только что стояли, прогал, кусок пустого пространства. Уехали… Он свободен. Жив и свободен. Неужели это не сон, а явь, самая что ни на есть реальная?! Жив и свободен!!!

Почти бегом, кусая губы и матерясь от боли, устремляется влево, ориентируясь на приближающийся гул, плотный и ровный гул машин. Вскоре выскакивает на шоссе. Открыв сумку, роется в содержимом. Всё на месте, и рукопись, и даже портмоне с кредитками, бандюки почему-то их не взяли, хотя деньги вытащили, а главное, синий паспорт цел.

Нет только мобильника. Он начинает голосовать, автомобили проскакивают мимо, не имея ни малейшего желания подобрать заросшего щетиной, похожего на бомжа пассажира. Денег нет, мобильника нет, правда, есть документ, но может отпугнуть. Хорошо бы знать, где он находится и в какой стороне Москва. Если сегодня суббота, то большинство за город едет, на дачи, следовательно, поток машин в одном направлении куда больше, нежели в другом. Смотрит Костя на трассу, считать начинает, но и без счёта видно: где он с рукой призывно поднятой стоит, поток более густой, плотный, значит, перебраться следует на противоположную сторону. Легко сказать — перебраться, а как сделать? Машины сплошняком идут, бежать он не может, тело не слушается. Да и надо ли сразу в Москву? Лучше сначала позвонить, предупредить. Кому звонить? Алю в данный момент исключает. Не у Али, нет. Она покамест за скобки выведена, пока во всём не разберётся. Только разберётся ли…

Машинально достаёт из сумки паспорт. Если и есть у Кости защита, то в тонюсенькой синей книжице этой. Кого отпугнёт, а кто и с пониманием отнесётся. На пару шагов к проезжей части ближе подступает, отчаянно рукой машет — спешу, мол, выручайте, ребята.

Пикапчик тормозит, в котором обычно продукты перевозят.

— Тебе куда, мужик? — шофёр, лысый толстяк, живот до руля достаёт, с сомнением спрашивает — стоит ли связываться с небритым, нечёсаным типом с фингалом под глазом.

— Здравствуйте! Я — гражданин Соединённых Штатов, — и показывает паспорт. — Меня бандиты украли. Обо мне по телевизору сообщали и в газетах, вы наверняка видели или слышали. Сегодня отпустили. Доставьте меня, пожалуйста, в любой населённый пункт, где телефон есть, чтобы в Москву позвонить. Я вас хорошо отблагодарю, не сомневайтесь.

— Американец, говорите? — уже на «вы», в глазах живой интерес. — А по-русски чешете лучше нашего брата.

— Да я русский, просто живу в Америке.

— Я вроде слышал про историю эту. Зять, что ли, рассказывал… Садитесь, отвезу, так и быть.

Плюхается Костя на сиденье возле шофёра и стонет сквозь зубы — рёбра проклятые… Сумку на колени, тесно, не для его роста.

— Чего стонете? Били, небось? — участливо спрашивает шофёр. — Вон физиономия какая. Скажите спасибо, что выпустили. Отморозки, у них святого ничего нет.

— Где мы находимся, в каких краях?

— Тверская губерния это.

— До ближайшего города сколько вёрст?

— До Твери километров тридцать. Мне как раз туда.

— Хорошо. Едем. В какое-нибудь место, где телефон есть. Вы меня сейчас не пытайте, что да как было. Мне говорить тяжело, понимаете.

— Как не понять.

Через минут сорок пикапчик ход замедляет у отделения милиции. Костя медлит, спрашивает толстяка: может, другое место поискать? Тот смотрит с недоумением: ты чего, мужик, яйца крутишь? Ментов боишься? Их бояться надо, но не в твоём же положении… И то верно. Костя просит толстяка свой адрес написать, по которому деньги высылать. Тот отказывается: какие деньги, просто услугу оказал, выручил человека, тем более иностранца. Костя настаивает: дайте адрес. Спрятав бумажку в сумку, пожимает вялыми, не своими пальцами тяжёлую, как кувалду, лапищу шофёра, который тёзкой оказывается, Константином Ивановичем, и выходит на пятачок перед отделением милиции. Входит в помещение, к столу дежурного, мимо сотрудники в форме проходят, и вдруг обморочная тошнота к горлу подкатывает.

Только бы не упасть. Держится за стенку, дышит, точно рыба на песке прибрежном, широко раскрыв рот, а воздуха не хватает. Сердце. А может, и не сердце — приступ при виде формы ментовской. Все они для него отныне «капитаны Сидоровы».

Против ожидания, дежурный мигом смекнул — не врёт небритый, измождённый человек, еле на ногах стоящий, со следами побоев на лице. Особенно когда паспорт раскрывает. По внутренней связи начальство извещает, ведёт Костю на второй этаж, предупредительно за локоть поддерживает.

Подполковник-коротышка, чем-то на артиста Калягина смахивающий, встречает Костю чуть ли не как лучшего друга, едва в объятия не заключает.

— Мы знаем о вашем похищении, мистер Ситников, — радостно поёт, обнажая золотые коронки. — Искали вас по всей округе, знали, что где-то рядом вас прячут. Рады видеть в добром здравии. Понимали преступники — обложены отовсюду, вот и не выдержали, отпустили вас.

Вдохновенное враньё ему самому жутко нравится. Теперь он герой дня, можно отрапортовать начальству: жертва похищения у него в служебном кабинете.

— Чайку с дороги? — сама любезность. — Чаю и поесть гостю, — дежурному.

Приступ тошнотный проходит. Садится Костя в кресло у стола начальника, дежурный на подносе чай приносит в подстаканнике, бутерброды с колбасой и сыром. Машинально жуёт Костя, односложно на вопросы подполковника отвечает, первый допрос снимающего. Чувствует Костя навалившуюся усталость, не радость, не подъём эмоциональный — жив ведь! — усталость мёртвую, заполнившую все клетки и поры его в гематомах и синяках тела. Мозг, сбросив безумное напряжение последних десяти дней, отказывается реагировать на подполковничий голос, а коротышка без устали спрашивает, выясняет, уточняет…

Везут его в Москву в милицейской «Волге». Подполковник на переднем сиденье, Костя сзади, рядом с майором, замом коротышки. По рации и мобильнику подполковник изредка докладывает кому-то о ходе движения. Костя вид делает, что спит, сидит, закрыв глаза, с единственной целью не вступать в беседы. Ещё час-другой, менты его отпустят.

Дальнейшее помнит Костя урывками, лоскутами, будто в фильме с дефектной плёнкой: какие-то кабинеты, где его спрашивают одно и то же и дают уклончивый ответ, передан ли выкуп бандюкам. Не потому допытывается, что денег жалко (хотя, признаться, и это тоже — обретший свободу человек совсем о другом думает, а ещё вчера молил Бога, чтобы взяли миллион и отпустили), а знать хочется, что на самом деле произошло и кому своим чудесным освобождением обязан. Короткий телефонный разговор с посольством; потом его соединяют с Эктоном, никто не отвечает, несмотря на предрассветное время, возможно, не слышат звонка, он оставляет сообщение на автоответчике, и тут ему видится госпитальная палата и корчащаяся от боли дочь, производящая на свет Паулину. Боль, везде боль — отчаяния, надежды, радости. И Даня не берёт трубку, и ему идёт сообщение на автоответчик. Следующий звонок — Але. Возможно, одной из спасительниц, возможно, совсем в иной роли выступившей. Невезение продолжается: нигде её нет, мобильный отключён. Лере же сообщать сейчас почему-то не хочется.

Он снова поселяется а отеле на Тверской. Напряжение прошедших дней сменяется полнейшим безразличием и апатией, не хочется говорить, думать, глядеть на свет божий, всё вокруг кажется ненужным, обременительным; случившееся с ним воспринимается как некая абсолютная несправедливость, разрушившая наметившееся было внутри хрупкое равновесие. Он бы с куда большим пониманием отнёсся к автоаварии — от этого никто нигде не застрахован. Чудом избежав гибели, он, однако, не испытывает радости, напротив, пребывает в своего рода прострации. Самые разочарованные люди на свете — получившие то, чего добивались. Неужели он добивался всего этого? И если есть у него хоть какое-то, самое робкое, точно пробивающийся по весне зелёный росток, желание, так это поскорее убраться из этого города — туда, откуда он поспешно бежал, подгоняемый несбыточными надеждами.

Его навещают Лера и Генрих. *Невпутавшаяся* Лера веселится, хохочет больше меры, стремясь создать иллюзию благополучного финала, которого могло не быть и за который следует благодарить судьбу (и в значительной мере её мужа, открытым текстом: если бы не его положение и связи…); старание его расшевелить выглядит нарочитым, чрезмерным; когда он пристальнее обычного глядит на Леру, та перестаёт хохотать и уводит глаза.

Генрих посвящает в перипетии операции по его спасению: оказывается, таковая имела место — не только же благодаря миллионному выкупу Ситникова освободили. Могли бандиты и деньги взять, и Костю замочить, поясняет Генрих и поводит мощными плечами. Деньги, скорее всего, вернутся, поимка бандитов — дело ближайших нескольких суток. Так вот, речь идёт о группе, промышлявшей похищением бизнесменов, орудовала она в Московской и близлежащих областях, органы сели ей на хвост и потому после допроса очухавшегося водителя, которому бандиты вкололи снотворное и бросили в лесу, определили примерное нахождение Кости, в радиусе тридцати-сорока километров. Ну, и Костино гражданство сыграло роль: сверху команда поступила сделать всё возможное для спасения. Специально в газетах и по телевидению шумиху подняли: дескать, задействованы в поиске большие силы, банде не уйти, даже имя главаря упомянули. Крупный его зовут? — интересуется Костя. Нет, не Крупный, над ним покрупнее есть — Лера хохочет по поводу удачного каламбура мужа. Словом, психологическое давление оказали. Те и не выдержали. А деньги? Как деньги передали им? С последней электрички, в Тверь идущей, Аля на определённом участке сбросила сумку с миллионом. Видишь, как всё просто. Рисковая женщина, ради тебя шла на встречу с бандитами, лицом к лицу. За ней же следили. Если что, наши могли и не успеть… Конечно, схватить курьера, за выкупом посланного, нехитрая штука, но тогда тебя подставили бы. Потому и дали курьеру уйти с деньгами…

Генрих предлагает лечь в больницу, бывшую Кремлевку, ныне ЦКБ, подлечиться, отдохнуть, он организует, Костя наотрез отказывается. Лучше помоги с билетом, хочу вылететь в Нью-Йорк завтра или послезавтра. Дочь вот-вот рожает, находит причину спешности отъезда, важную, но не единственную. Узнаю насчёт брони, обещает Генрих.

Вечером приезжает Аля. С порога идёт в гостиную, садится на диван, целует Костю. Выглядит скверно, осунулась, мешки под глазами.

— Ну, как ты? Они тебя… — фраза с вопросительной интонацией повисает, Аля гладит его руки, вид у неё потерянный, несчастный. Такой он её не видел ещё.

— Скажи, Аля, как они узнали про деньги? Про те, что я перевёл на фирму, про сто тысяч? С этого ведь началось.

Звучит непривычно жёстко, с вызовом даже, Аля вздрагивает — не ожидала, похоже, что так сразу, в лоб, без церемоний; а чего цир-

лих-манирлих разводить — возможно, по её вине, оплошности, недосмотру ли, длинному языку, хотя не такой уж он и длинный (про умысел, сознательный план не хочет и думать), и попал Костя в переплёт. Так что, милая, изволь ответ держать по полной программе.

— Я не знаю, Костенька, честное слово. Органы разбираются, меня допрашивали, бухгалтера, секретаршу. Знал про деньги не один человек, не утаишь ведь.

— А я думал, только ты и знала, — как отрубает.

— Ты что, меня подозреваешь?! И тебе не стыдно?! — вскакивает, пятнами идёт, в голосе слёзы. — Ты не представляешь, что я пережила, когда деньги этим ублюдкам передавала. Последняя электричка, ночь, вагон пустой, надо выбросить пакет в окно в трёх минутах езды от станции — ровно в трёх минутах, секунда в секунду, фээсбэшников не видно, я одна, страху натерпелась… Я с ума сходила, не спала эти дни, видишь, на кого похожа, а ты с подозрениями…

Молчит Костя, потупился, чувствует — не врёт Аля, но внутри по-прежнему чужое, отторгающее, сжимается, как пружина, и не отпускает.

— Что ты делать собираешься? — вытирает глаза платком, тушь слегка размазывает, опять рядом садится.

— Уезжаю. Завтра или послезавтра. Генрих помочь обещал с билетом.

— Как же я? Ты меня бросаешь? — нелепо звучит, по-детски, с капризом. Девочку маленькую обидели, игрушку отняли. Хороши игрушки.

— А что бы ты хотела? Полететь со мной в Нью-Йорк? Я ведь не вернусь сюда больше. Тебе кататься придётся туда-обратно.

— И буду кататься, если надобность возникнет. Главное, с тобой, вместе. Не бросай меня, слышишь!

Это уже слишком. Не хватало ещё сцен…

— Лечу один. А там посмотрим. Поняла?

— Я хочу с тобой! Не оставляй меня!

Уходит Аля через полчаса в разобранных чувствах, и Костя не в себе: кроме всего прочего, не ожидал увидеть её такой беспомощной, жалкой, просящей. Но что-то сдвинулось, накренилось в его отношении к ней, доверие или как там назвать скрепляющий раствор, замешенный, как цемент с водой, на любви. Не думал он прежде, не хотел докучать себе праздными мыслями, любит ли она его, чтобы потом не разочаровываться в очередной раз, и сам старался грань со-

блюдать, не кидаться головой в омут: приятно с ней, уютно — и достаточно, а услышал Алино «Не оставляй меня!» — и кольнуло в сердце: может, и впрямь искренне это, чувством продиктовано, а он со своими подозрениями… Нет сил разбираться, потом, потом, сейчас же поскорее уехать, вон отсюда.

И как звезда с звездою расстаётся,
Простимся мы, и ночь нас разлучит.
Безмерной далью близость обернётся,
И эта даль нас вновь соединит.

В аэропорту Кеннеди его встречают Даня и вызванная им «скорая», мельтешат с десяток журналистов — газетчиков и телевизионщиков с камерами. Тоже работа перестаравшегося друга-редактора. Кому нужен этот тарарам? Дины среди встречающих нет — вот-вот должна родить, ей запрещено покидать Эктон. Бригада «скорой» входит в самолёт, пытается уложить Костю на каталку, он ни за что не соглашается — нарочитое усиление драматизма возвращения после случившегося кажется ему вовсе неуместным. На вопросы репортёров отвечает скупо, всём своим утомлённым видом демонстрируя: ребята, оставьте меня в покое.

Две недели проводит он в госпитале в Манхэттене, куда под нажимом Даниила отправляется, не заехав домой, на той же «скорой». Здесь же встречает свой день рождения. Мобильником в госпитале пользоваться запрещено, немногие знающие о его состоянии и вспомнившие Костину некруглую дату звонят ему в палату, на домашнем автоответчике поздравления от друзей и, что более всего трогает, Али. Сообщает, что главарей банды и их подручных, в том числе Энимала, взяли и что Косте, наверное, придётся приехать в Москву для дачи свидетельских показаний и опознания бандитов. Её уже трижды вызывали в прокуратуру. Да, и деньги нашлись — почти вся сумма, за исключением ста пятидесяти тысяч. «Подлечишься — и приезжай: мой дом всегда для тебя открыт».

Самая большая радость — Динины роды. Всё проходит удачно, никаких видимых следов пережитого дочерью. Есть всё-таки Бог на свете.

Кроме сломанных рёбер и внутренних кровоизлияний, врачи находят изменения в Костиных сердечных сосудах, настаивают на немед-

ленной установке стентов, иначе… Он отказывается, ссылаясь на общую усталость и последствия стресса. Вот подлечится, придёт в себя, тогда…

Выписавшись из госпиталя, едет в Эктон. Жизнь — вопрос времени, и ничего более. Всё чаще задумывается он над тем, что не одолевало его даже тогда, когда мысли об этом были бы вполне уместны и оправданны, а он перед операцией шутил, балагурил, в общем, вёл себя совершенно несерьёзно, неподобающе моменту. Сейчас не до шуток, случившееся в Москве приблизило к *черте,* к тому, чем не хочется, но приходится обременять свой настроенный совсем на иное мозг. Он пытается отогнать, как вороньё, чёрные мысли и предчувствия, вот и сейчас, на сравнительно пустынном шоссе повторяет раз за разом: «Что бы ты ни делал, делай всё со всей своей силой, ибо нет ни действия, ни мысли, ни знания, ни мудрости в могиле, к которой ты идёшь…»

Дина видит его через окно, когда он ставит свой «BMW» у дома, выскакивает, бросается в объятия и начинает плакать навзрыд. Так непривычно видеть дочь рыдающей, он и не упомнит, плакала ли она в детстве, а если и плакала, то, наверное, совсем иначе и по пустяшному поводу, порезав палец, облив чернилами фартук или не получив любимое мороженое, сейчас же в плаче боль и радость, осознание того, что всё плохое уже позади.

— Господи, наконец-то я тебя вижу… Проклятая страна, зачем ты туда поехал…

Дина после родов ещё более похорошела, разве чуть поправилась, но это ей идёт. Говорит ей об этом, она рукой машет: какое это имеет значение, главное, ты живой.

В детской спальне в кроватке лежит, сладко посасывая пальчик, существо, дороже которого нет и быть не может. Дина берёт Паулину на руки, та, как кажется Косте, с интересом оглядывает его, незнакомого дядю, пахнущего совсем не так, как пахнет мир вокруг неё, наморщивает носик и чихает.

— Ой ты, моё счастье! — смеётся, не утерев слёзы.

Три дня проводит он в Эктоне. Нежится в бассейне, немного плавает, стараясь не тревожить срастающиеся рёбра, загорает, беседует с Марио о политике, о шансах Керри стать президентом — зять его отъявленный демократ, наблюдает, как Глеб гоняет мяч на лужай-

ке у дома. А главное, старается почаще заглядывать в детскую, где нежится Паулина. Чувствует себя вполне сносно, если бы не одышка и странные мигрирующие, то приходящие, то исчезающие, боли за грудиной, отдающие в лопатку.

Накануне отъезда в Нью-Йорк, ночью, приходит боль и покидает только к утру, словно нравится ей, гадюке, сидеть в Костиной однажды уже расщеплённой грудной клетке. Надо ставить стенты, говорит себе. Закончу писать, тогда и…

Он лихорадочно дописывает роман, безвылазно сидя в Нью-Йорке. В Поконо почему-то не тянет: дача, как ни крути, предполагает расслабление, а ему расслабляться нельзя, ещё каких-нибудь две-три недели, закончит описание своего похищения, поставит в романе последнюю точку, а уж после можно отдохнуть. Ближайшее своё будущее представляет он смутно: бильярдным шаром под ударами безжалостного кия вот уже несколько лет мечется он между бортами, изредка залетая в лузы, изымается оттуда, ставится на зелёное сукно, словно кто-то решает это за него, и вновь мечется в вихре бесконечной игры; надоело, он хочет лежать в лузе и чтоб больше его не трогали, не выставляли напоказ, чтоб кий не прикасался к нему и не пускал в него, как в мишень, другие, чужие шары.

…Он плывёт по лунной дорожке, и вода обволакивает его нежным шёлком. Движения его неторопливы и плавны, гребки неслышны, и только плеск сонной рыбы нарушает ночной покой и тишину. Он переворачивается на спину и лежит, раскинув руки, ему подмигивают звёзды, и кажется, что плывёт он один-одинёшенек в безбрежном океане, силясь дотянуться до мерцающих равнодушных светил. Он попеременно заводит руки за голову и делает кругообразные движения, как медленно работающий маховик, перемещаясь в пространстве, Большая Медведица подмигивает ему, словно старому знакомцу, а кругом чёрная вода, светится лишь чешуйчатое серебро лунной дорожки, которую он сейчас не видит. Он вновь переворачивается и плывёт в жидком серебре неизвестно куда и зачем, погрузив лицо в тёплый шёлк. Ему почему-то начинает не хватать воздуха, он приподнимает голову и дышит всеми лёгкими, но воздуха не хватает, и тогда он пробует выпрыгнуть над водой подобно резвящемуся дельфину, не помогает, он задыхается, стремительно плывёт к спаси-

тельному берегу, в него вступает отчаянный страх не доплыть, он старается изо всех сил, раздираемый внезапно появившейся болью…

Просыпается Костя от застрявшего в горле кома и позывов рвоты. Жмёт где-то посередине, он безобманчиво понимает, что *это* такое, ожидал этого, однако надеялся — не так скоро. *Кажется, всё,* произносит беззвучно кто-то другой за Костю, нет уже ни страха, ни отчаяния, ни желания потянуться к телефону, набрать, быть может, спасительные 911, нет ничего, кроме пульсирующего рефрена: *кажется, всё.* Несколько секунд он лежит с закрытыми глазами, сдерживая причиняющее боль дыхание. Мелькают лица, доносятся голоса, шумы, плещется море, крапает дождик, всё начинает вращаться, извиваться, кувыркаться с нарастающей скоростью, как в сильном хмелю. Похоже, он теряет сознание, освобождается от обременительной плоти, обретая крайнюю, прежде неведомую ему степень свободы. Усилием воли он выпрастывает ноги из простыни, которой укрывается, пошатываясь, встаёт, боль усиливается, неверным шагом бредёт в коридор, поворачивает на пол-оборота защёлку и открывает входную дверь. Навязчивая идея, преследовавшая его последние недели, связана именно с дверью: не хочется неизвестно сколько догнивать в пустой, запертой изнутри квартире, пока отсутствие его не обнаружат. Теперь он знает, что найдут его немедленно. Он делает шаг в направлении спальни, где телефон, с которого ещё можно набрать 911, и падает в проход. Последняя мысль его связана именно с дверью, и он инстинктивно просовывает в проход руку. Теперь дверь не захлопнется.

При падении он не чувствует удара, боль разрывает грудь на части, и, уже отключаясь, он вышептывает невнятное, понятное лишь ему и не слышимое никем в этом внезапно осиротевшем мире: «Как глупо…»

* * *

Константина Ильича Ситникова похоронят на бруклинском, стиснутом домами кладбище, рядом с женой. На похоронах будут присутствовать его семья, включая полуторамесячную Паулину, Даниил и ещё человек десять-пятнадцать, знавших его. Те, кому редактор, взяв записную книжку друга, позвонит в другие города, включая Лондон и Москву, выразят свои соболезнования, но приехать не смогут.

Через несколько дней после похорон Даниил связывается с издательством в Москве и просит ускорить выход книги в связи с печаль-

ным событием — внезапной смертью автора. Его просят написать несколько слов вместо эпилога, что он и делает.

Остаток денег от подаренной Костей суммы, израсходованной на издание собственных сочинений, Даниил платит в виде гонорара славистке-американке, взявшейся сделать перевод романа на английский.

В России Костина книга не проходит незамеченной. Лера включает свои связи для раскрутки, устраивает несколько встреч с журналистами, русскими и американцами, аккредитованными в Москве, на которых рассказывает, какая необычная судьба выпала автору романа, педалируя факт его похищения, по всей видимости и приведшего к преждевременной кончине. Роман хорошо раскупается, издательство допечатывает тираж. Через некоторое время «Джекпот» выходит в Америке на английском. О нём пишут, своим вниманием книгу русского писателя-иммигранта удостаивают «Тайм», «Нью-Йоркер», «Бук ревью» и другие солидные издания. Местное русское телевидение делает передачу о Ситникове. Рассказывает о друге с экрана Даниил. Романом заинтересовывается Голливуд и покупает у дочери права на его экранизацию.

Всего этого Константин Ильич никогда не узнает. Как глупо…

ОБ АВТОРЕ

Давид Гай *— журналист, писатель. Около тридцати лет проработал в газете «Вечерняя Москва». В 1993 году эмигрировал в США. Живёт и работает в Нью-Йорке. Он был главным редактором русско-американских еженедельников «Еврейский Мир», «Русская реклама», «В Новом Свете». Ныне он — главный редактор международного литературного журнала «Времена». Регулярно выступает на русско- американском телеканале RTN в программе «Пресс-клуб».*

Перу Давида Гая принадлежат более трёх десятков художественных и документальных книг. Среди наиболее известных — роман «До свидания, друг вечный», посвящённый истории любви Достоевского и Аполлинарии Сусловой; повести «День рождения» и «Телохранитель» (по одной из них в России выпущена аудиокнига); доку-

ментальное исследование «Вторжение» — о войне, развязанной Советским Союзом в Афганистане (автор неоднократно бывал там в качестве журналиста); «Десятый круг» — повествование, посвящённое жизни, борьбе и гибели в годы Второй мировой войны Минского гетто (книга затем вышла в США на английском языке под названием «Innocence in Hell»).

В последние годы в Москве издано несколько новых книг Давида Гая, в том числе роман «Сослагательное наклонение» и 750-страничная сага «Средь круговращенья земного...» Роман-сага описывает перипетии жизни двух ветвей, российской и американской, одной семьи на протяжении более века.

Изданный в США в 2013 году на русском и английском языках роман «Террариум» посвящён России сегодняшней и завтрашней. Он завоевал читательскую аудиторию. В 2015-м в Америке и в Украине увидел свет роман-антиутопия «Исчезновение», в 2018-м в США опубликован роман «Катарсис». В прошлом году российское издательство «Алетейя» выпустило его новый роман «Линия тени», а недавно переиздало роман «Джекпот».

Вера ЗУБАРЕВА

СВЕЧА И РЕКВИЕМ НА СНЕГУ

Свеча

Памяти жертв 2 мая в Одессе

1

Это здание свечки-огарка,
Это пепла густого набат,
И подруга моя санитарка,
И домашний её медсанбат.
Лик впечатан в пол размозжённый,
В крест окна и в железобетон.
Это город мой обожжённый,
Где на всех не хватило бинтов.
Будет страшно, замедленно сниться
Крик в церковные купола,
Но надежды нет дозвониться —
Отказали колокола.
То молчанье мрачней утраты.
Не звонили они по ком,
Знает двор, безымянные парты
И всё небо над вечным огнём…

2 мая 2014 года в Одессе произошло трагическое событие. Тогда в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, ещё 250 пострадали.

2

Город спит под конвоем снов.
Город видит туннели дул.
Город гонят вдоль мостовой,
Чтобы он никуда не свернул,
Чтоб он двигался в массе тел
К точке ада, адом ведом,
Был насаженным на вертел,
В чреве мёртвом кипел живьём,
Слушал плоти сжигаемый зов,
Ликованья победной орды,
И не вышел уже из снов —
Из последней своей беды.
А меня там давно уже нет.
И в окошке моём луна.
И в будильнике ждёт рассвет.
А во сне у меня — война.

3

чёрное море
чёрное небо
шепчут молитвы
священник и ребе
держит мужчина
в разбитом окне
связку тюльпанов
(Дочке? Жене?)
чёрное море
чёрное небо
чёрная лестница
чёрного склепа
блик на стене
проступил и остыл
пусто гестапо
пепел и пыль

чёрное море
чёрное небо
город-маяк
капитана тебе бы

4

…животом запрокинувшись к Господу, упираясь ногами в пол,
она, выгнулась на столе, ощущая биенье в утробе,
пока горлом шёл из неё вопль,
где душа отрывалась от плоти, а во гробе
её шевелилось замурованное дитя.
И подумалось ей из предсмертного забытья,
что, наверное, снятся ему кошмары,
что страдает на этом кресте ни за что,
и молила Господа, чтобы Тот снизошёл,
и сочилась вода из плохо отжатой швабры.
Кто-то снизу не выдержал:
— Да кончай же её скорей!
Горечь уксуса с жёлчью.
Подумала: «как же теперь?
пять комнат остались неубранными…
пять комнат неубраны на этаже».
Кто-то тронул дитя копьём, и в душе
Отозвалось эхом:
— Уже.

5. Заклятье

Их жгли, а они превращались в море,
Катились по городу огненным штормом,
Оставляя на каждом камне историю,
Чтоб она пришла в обугленно-чёрном
На порог их дома, на край их парты,
На страницу учебника, где не всё замяли,
С дымящимся лацканом для награды,

На котором плавятся ордена и медали.
И чтоб каждый, кто был в тот час там с факелом
В руках ли, в сердце, кто держал на прицеле
Агонию тел, что ад выталкивал
В амбразуру окна, — чтоб под ним горели
Волны Чёрного моря, чтоб не смел он
В них погружаться, а его дети и внуки,
Войдя в те воды, становились пеплом
По щиколотки, по пояс, по плечи, по руки.
И пусть это будет мерилом истины,
И пусть не будет ясней аллегории,
Чтобы, отхлынув туда, где немыслимое,
Всегда возвращалось к Городу море.

6. Памятник

Лица тех, что ветра не остудят,
Лишь Ему опознать удалось.
Обелиском свеча там будет,
А по ней — оползающий воск.
А под нею — полутелами
Возвышаться будет амвон.
А над нею — крылатое пламя.
А поодаль — реквием волн.
И придёт к ней каждый, кто помнит,
И к подножью её приползут
Те, на ком клеймом преисподней
Несмываемой крови мазут.
И когда на ожогах террора
Пепел слёз взойдёт в тишине,
С мостовых, как шаги Командора,
Донесутся шаги Ришелье.
Он сойдёт с постамента, увитый
Тогой ран и побед, чтобы в срок
Неизвестному Одесситу
С головы возложить венок.
Будет пламень над городом виться,
Как биенье живое. И в нём

Распознают черты и лица,
Что пытались стереть огнём.
И посланьем будет к потомкам
В небесах золотая волна,
И зажжёт её новый Потёмкин,
И на тех — самовластья — обломках
Впишет Город жертв имена.

Реквием по снегу

Есть город, который я вижу во сне…

Песня «У Чёрного моря».
Стихи Семёна Кирсанова

1

Луна маячит на последнем этаже,
Словно готовится к прыжку с вышки.
Машины шуршат по мостовым, как мыши,
И юркают в норки гаражей.
И снится снег, и плывёшь, и плывёшь
Вдоль берега ночи по его млеку,
И Город сам на себя не похож,
И память о нём из снежных молекул.

2

Время заканчивается там, где вода.
Мы спим и движемся вереницей туда,
Где сверху сияющее, а внизу беспросветное,
И будущее пятится в никуда,
И на дудочке древа играет ветром.

3

Когда просыпаешься, всегда ночь.
Толщу её не пробьёт и слово.
Засыпаешь — день. И всё точь-в-точь
Повторяется от одного пробужденья до другого.

4

Дно кровати — травы и мох,
Пружины корней уходят в подземелья
Снов, застающих всегда врасплох
Сознанье, потерявшее бдительность в теле.
Город тикает. Полночь. Свет.
Мина ходиков поджидает бессонницы.
Там, где ты есть, — тебя уже нет,
Хоть одно с другим никак не сходится.

5

… И снится будущее. И все идут
С закрытыми глазами, и море в блёстках,
И плавно вздымается его батут
Под ангелами парусников и детьми в матросках.
И ты летишь, и весь мир — вода,
И ничто не шелохнётся над сияющей гладью,
И горны ангелов отлиты изо льда,
И музыка сфер неподвластна восприятию,
И матери в белом… А потом, а потом
В казарме вселенной трубят подъём.

6

И ты подскакиваешь. А жизнь твоя
Продолжает парить над ареной моря,
И дрессированная семья
Чаек разлетается в каком-то узоре,
И степь заплетает косу, и склон

Смотрит, как солнце зреет в зените,
И колокол облака хранит в себе звон,
И шмель раскачивается на солнечной нити.
А ты выполняешь «бегом арш!»
По жизни своей, в воронку отброшенной
Взрывом будильника. И в почтовом ящике —
Похоронка будущего, ставшего прошлым.

7

И всё раскалывается — память, жизнь,
И думы о прошлом, будто бомжи,
Блуждают в обломках эпохи.
И прежние радости нехороши,
И новые радости не для души,
И Город застыл на вдохе
Гигантского оползня. Ночью слышней,
Как движутся мысли песков, камышей
Под театром бульваров и скверов,
И кто не уснул, тот не сможет уже,
А тот, кто уснул, содрогнётся в душе
От вида подземных карьеров.

8

Над морем раскинулся Город-гулаг.
Беззвёздная ночь — его траурный флаг.

Его стережёт часовой без лица,
Без рода, без Матери, Сына, Отца.
И надзиратель с оползнем глаз
Шарит по улицам в сумрачный час.

Город отрезан, город в беде.
Спит бескозырка на чёрной воде.

Что там под ней? Чернота? Пустота?
Город молчит. Неспроста, неспроста.

Ветра набат. Осыпается дом.
Город залёг на дно катакомб.

9

И ёжится море посреди снегов,
И метель из шуб, самоваров и писем
Его укутывает, но не спится
Морю под тяжестью метельных снов.
А ночь надвигается со всех сторон,
И ветры захлёбываются в агонии,
И море вьюжится множеством волн,
И Город мерещится с колокольнями,
И слух улавливает перезвон пурги,
А купола застилает снегом,
И на расстоянии вытянутой руки —
Пристань, чайки, обрыв над берегом,
Ты на краю… И смотрят ввысь
В ожидании будущего дети в матросках.
Но будущего нет. И мелькает мысль:
«Нет — и не надо». А потом — воздух.

ОБ АВТОРЕ

Вера Зубарева *— поэт, прозаик, литературовед. Родилась в Одессе. Защитила докторскую по литературе в Пенсильванском университете (США), в котором и преподаёт.*

Автор многочисленных книг, включая поэзию, прозу и литературную критику. Пишет на русском и английском. Её произведения выходят также в переводах.

Первый поэтический сборник «Аура» (Филадельфия, 1990) вышел с предисловием Беллы Ахмадулиной.

Первый лауреат премии имени Беллы Ахмадулиной *(Одесса, 2012)* Лауреат премии им. Паустовского *(Одесса, 2010). Её книга «Трактат об ангелах» с рисунками Эрнста Неизвестного выдержала несколько изданий и была переведена на английский и немецкий.*

*Главный редактор журнала «*Гостиная*», президент литобъединения «Орлита».*

Владимир СОЛОВЬЁВ

НЕПОЛНОЦЕННЫЕ АМЕРИКАНЦЫ

Глава из новой книги

Памяти Сергея Довлатова

ОТ АВТОРА

Собственно, эту книгу «Бог в радуге» я пишу с самого своего переезда из России в Америку. Или это она сама себя пишет, а я, едва поспешая, записываю под диктовку? Не писатель, а писец: летописец. *Свистнуть, что ли, у Неистового Виссариона, доба*вив заокеанское место действия — энциклопедия русской жизни в Америке, пусть и без энциклопедичности. Как и у Пушкина в «Евгении Онегине» — энциклопедия без энциклопедичности.

Вот в чём фишка предлагаемого читателям группового портрета русской диаспоры. Он создан на стыке художки и документа, фикшн и нон-фикшн — не рассказы, а сказы с угадываемыми персонажами, пусть и не под копирку, но всё равно прототипы обижались, узнавая себя — *докупроза. Как у нас здесь говорят, faction: fact&fiction. Лот художества берёт глубже* — с той только поправкой, что у меня не вымысел, а домысел. Не без умысла.

...Уж коли зашла речь о путешествиях, то вот ещё одно, самое паскудное из всех. Потому о нём и следует наконец рассказать, хоть я и долго крепился, делая вид, что рассказ у меня не получается. Получится, если решусь! Просто мне неохота выставлять себя с такой невыгодной стороны, да и кому охота быть отрицательным героем собственного рассказа? При всех художественных выгодах такого, мягко говоря, беспристрастного, а по сути, беспощадного, испепеляющего на себя взгляда, всё это литература, а как дальше

жить с ощущением, что ты говно? Литературная удача зависит от наличия мужества, которое всегда было мне заменой таланта, но того и другого мне катастрофически не хватало в жизни. В том-то и дело, что, как ни уестествляй своё честолюбие, а в главной, жизненной, сфере всё остаётся на прежних местах: в тот раз ты растерялся, смалодушничал, струсил, предал, и будь хоть семи пядей во лбу — или где там помещается литературный дар? — напиши ты на эту тему шедевр, всё равно тот стыд, тот позор, твоё падение, твоё ничтожество — всё это останется, где было, потому что даже Богу не по силам вмешаться в прошлое и изменить его ход. Вот где кончаются Его полномочия, а потому прошлое есть доказательство Его всё-таки, как ни крути, ограниченных возможностей.

С другой стороны, что я мог тогда сделать? Не хочу оправдываться, но ситуация была хреновой или, как сейчас принято говорить,— стрессовой, экстремальной. Другой бы, конечно, на моём месте…

Зачем другой, когда у нас в группе нашёлся человек и дал в конце концов отпор этому типу, который вместе со своим напарником превратил туристский автобус в концлагерь на колёсах и делал с нами что хотел, пока мы мчались галопом по европам от Утрехта до Вены — по Голландии, Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Австрии и вовсе уж сомнительному Лихтенштейну, взбираясь в Альпы, спускаясь к Рейну, въезжая на паромы, ныряя в туннели,— за окном мелькали сказочные города, средневековые замки, классические реки и озера, пейзаж был родным благодаря с детства читанным книгам: путешествие в глубь цивилизации, к которой ты принадлежал от рождения, но тайно и заочно, как к масонской ложе. И вот наконец — свиделись. Увы, в присутствии надзирателя, а тот долгожданное свидание превратил в бесконечную пытку, и пытка длится до сих пор, хотя с того путешествия столько уже утекло.

«По порядку! По порядку!» — взывает, как всегда, рассудок к хаотичному сознанию, как будто порядок есть изначально присущее действительности качество, а не навязанное ей извне тем же самым самодовольным рассудком.

И о каком порядке речь, когда их уйма, этих порядков,— поди разбери, какой из них главный! Рассказать об этом путешествии в том порядке, как оно проходило — начиная с покупки баснословно дешёвой, да ещё со скидкой (в России бы сказали «горящей») путёвки «International Weekend», который с тех пор обанкротился, но мы успе-

ли воспользоваться и побывали по его маршрутам в тринадцати странах, считая эти злосчастные семь? Кому сейчас интересна эта предыстория, да я и сам в таком порядке ничего никогда не вспоминаю. Но и наплывы, как в кино, были бы некстати, есть в них художественная фальшь, невыносимая при тех реальных муках, которые я испытываю, вспоминая своё унижение. С чем сравнить? Это, как если бы над тобой устроили публичную казнь, которая заключалась бы в кастрации в присутствии знакомых и незнакомых: жены, сына, родственников, друзей, врагов, любовниц — всех, кто тебя когда-либо знал, либо о тебе слышал, да и просто любопытных. Народу бы собралось — тьма: одни бы сочувствовали, но большинство, я это знаю точно, радовались.

Конечно, не одному мне он срезал в ту поездку яйца, но от этого не легче, как и от понимания механики того, что произошло: он самоутверждался за наш счёт, наше мужское унижение добавляло ему силы, хоть он и так был не из слабых: крепыш, коренаст, мускулист, пружинист, в переводе на животноводческий термин — бык-производитель, хотя точнее было бы сказать — бык-уестествитель. Как я ненавидел всю дорогу эту плотную и тупую спину и даже обрадовался, когда в Австрии он совсем разошёлся и стал рассаживать нас каждый день наново, — я, естественно, был сослан на Камчатку, на самую последнюю скамью, откуда, слава богу, не было видно ни его самодовольной спины, ни его самого, хотя спина — это и был он: такой же тупой, могучий, неодолимый. Если бы не садистические его склонности, я бы отнёс его и вовсе к неодушевлённым явлениям природы — как степь или как пески, или как камень-валун.

Уж коли помянул всуе, то заодно и ещё раз сошлюсь: писать надо как Бог на душу положит, а потому предпочитаю сумбур и сумятицу литературным стереотипам. В таком как раз состоянии, как я сейчас, когда подзавелся, вспоминая ненавистную эту спину, хотя причём здесь спина? Эвфемизм, конечно. На самом деле я ненавижу совсем другую часть его тела, которую никогда не видел.

Написал это и весь дрожу, не унять, хоть всё позади и ничего уже не переделать и не вернуть.

Походил по комнате, почесал кота, успокоился и снова задумался — писать или не писать?

Само то путешествие — имею в виду достопримечательности в их калейдоскопном мелькании — почти полностью изгладилось из памя-

ти, как если бы я и не был тогда в Европе, а безвылазно провёл эти две недели в туристском автобусе. Там и развернулись основные события, заслонив от нас то, ради чего все мы отправились в путь. Европа, помню, неслась как угорелая за окном автобуса, в котором мы отсиживали свои задницы до онемения, — если бы у меня к тому времени уже не было геморроя, я бы его за эти две недели уж точно приобрёл. Надо признаться, что и задумали эту поездку мы с женой по инерции, на исходе, на спаде путевой нашей страсти, без прежнего вдохновения, без особой нужды, по суете и ненасытности — слишком велик был соблазн прошвырнуться по всей Центральной Европе, пусть даже мы бывали раньше в этих странах, зато всего за 500 долларов, включая дорогу, когда один только самолётный билет туда и обратно стоил дороже! Вот бес нас и попутал, и мы отправились в это лишнее и ненужное путешествие, за что наказаны — по крайней мере я.

А за что наказаны наши спутники?

Их легко было узнать уже в амстердамском аэропорту по фирменным ярлыкам, которые «International Weekend» заставил нас прицепить к чемоданам, чтобы мы не потерялись. Ощущение цыплячьего выводка возникло, как только мы сбились кучкой в зале ожидания. Наш гид запаздывал, и стоящий рядом человек лет сорока обратил моё внимание на надпись над билетной кассой:

«We take your bags and send them in all directions»[1]

Я рассмеялся, а он переписал этот нонсенс себе в блокнот:

— Это ещё что! У меня целая коллекция такой абракадабры. Знаете, какое объявление висит в химчистке в Бангкоке? *«Drop your trousers here for best results»*.[2] А в магазине женской одежды в Гонконге? *«Ladies have fits upstairs»*.[3] А в прачечной в Риме? «*Ladies, leave your clothes here and spend the afternoon having a good time»*.[4]

— Ну, в Риме они вообще большие мастера в английском, — поддержал лингвистическую тему молодой высокий негр. — Около Пьяцца Навона, где американцев больше, чем итальянцев, собственными гла-

---

[1] Здесь и далее двусмысленности, которые получаются из-за неправильного употребления английского: «Мы берём ваши вещи и рассылаем во всех направлениях».

[2] «Скинь свои штаны для лучших результатов».

[3] *«Припадки у женщин на втором этаже»*. (Вместо примерки.)

[4] «Женщины, оставьте здесь свои одежды и гуляйте в своё удовольствие».

зами видел, как местный док себя рекламирует: *«Specialist in women and other diseases»*.[5]

— С этим трудно не согласиться, — сказал коллекционер, и только спустя несколько дней я понял, какой дополнительный смысл был в его словах.

Свою лепту в эту интернациональную коллекцию английских ляпсусов внёс низкорослый прихрамывающий старик с мягкой, немного как бы виноватой улыбкой и довольно сильным акцентом:

— А мы с женой в прошлом году, после стольких лет, побывали в Варшаве. Я сразу же в зоопарк побежал, там всё моё детство прошло — среди зверей! Так там сейчас на клетках дощечки висят для туристов. Так и написано по-английски: *«Please do not feed the animals. If you have any suitable food, give it to the guard on duty»*.[6]

— Учитывая их экономическую ситуацию, звучит правдоподобно, — сказал я.

— И бесполезно что-либо объяснять, — пожаловался коллекционер, записывая о зоопарке. — У них на всё один ответ: «Well, you know what I mean»

Появился, наконец, наш гид, жеманный немного, тонный такой юноша, мы его прозвали «девушка», а я принял за гомика — может быть, и ошибочно. Гомиком оказался коллекционер англо-интернационального воляпюка — он путешествовал со своим любовным напарником, которого все мы поначалу считали его сыном. Когда наконец мы догадались об их истинных отношениях, я по достоинству оценил его реплику в амстердамском аэропорту, а в автобусе стали гадать, кто из них женщина, а кто мужчина. Балованный и вмешивающийся во все взрослые разговоры семилетний мальчик Александр, который путешествовал в составе большой и шумной армянской семьи из шести человек, подслушав наш спор, заявил, что это будет ясно из того, в какую кто из них пойдёт уборную, а потом долго пялился на нас, не понимая, чему мы смеёмся. Высокий негр путешествовал с крошечной женой, у которой был огромный, на слона, живот, и я немного опасался, как бы нам всем не пришлось стать акушерами.

---

[5] «Специалист по женщинам и другим болезням»

[6] «Пожалуйста, не кормите зверей. Если у вас есть подходящая еда, отдайте её сторожу».

В подобных поездках неизбежно попадается несколько евреев, но в этой их был даже перебор (себя не считаю — мы с женой проходили по русской категории, хотя этнически так может называться только один из нас). Во-первых, две пары пожилых и малорослых, симпатично-уродливых восточноевропейских евреев из Бронкса — у того, что рассказывал про зоопарк в Варшаве, на руке был концлагерный номер, на который я стеснялся смотреть, но и оторваться было трудно. Во-вторых, пять разнополых евреев из штата Джорджия, не снисходящих до общения с восточноевропейскими соплеменниками, хотя отправились в Европу исключительно по следам пребывания там далёких своих предков и ничем больше не интересовались. Один из них хвастал отдалённым родством со Стивеном Спилбергом, фильмы которого, тогда как раз триумфально шествовали по экранам всего мира, о чём кричала реклама во всех городах, которые мы проезжали. Евреи из Джорджии — мы с Таней называли их по случайному созвучию «грузинскими» — при своих специфических интересах, заскучали было в Лихтенштейне, пока кто-то не утешил их, сообщив, что с виду независимое княжество на корню закуплено Максвеллом, который в тот период ещё яростно открещивался от своего низкого происхождения, но для евреев, как я заметил, отступник всё равно остаётся своим.

Мне, естественно, ближе были тихие восточноевропейские евреи с интернациональными запросами, чем их высокомерные, самодовольные сородичи из Джорджии с однонаправленной фиксацией, которые к тому же покинули нас преждевременно, не дождавшись крещендо, и в развязке сюжета участия не приняли, я их упоминаю так просто, для порядка, несмотря на мимолётную роль в этом рассказе. А отбыли они раньше, так как наш обратный перелёт пришёлся на 4 июля, самолёты в Штаты в тот праздничный день были переполнены, и наш чартерный рейс перенесли на следующий день, который оказался субботой,— потому-то евреи из Джорджии, будучи кошерными, и отправились на родину 3 июля, а за потерянный день им выплатили компенсацию. Восточноевропейские евреи, напротив, были сплошь агностики и атеисты, и дождались окончания спектакля, в котором мы все поневоле участвовали, а одному из них была уготована главная роль. Нам словно бы специально подарили лишний день в Вене, чтобы довести фарс, в который мы оказались втянуты, до трагического катарсиса. Вообще, если бы не финал, я бы не стал перечислять здесь участников

поездки, а тем более задерживаться на евреях, которые какой угодно сюжет уведут в сторону, стоит их только помянуть!

Ещё была одна довольно вульгарная латиноамериканская парочка, нью-джерсийский врач-индус с женой и тремя кроткими дочками от семнадцати до семи лет, которых мы противопоставляли неуправляемому армянскому мальчику Александру, одинокий и молчаливый индеец из неведомого мне племени чокто, с суставом задней лапки кролика на шее в виде амулета, погонщик мулов из Аризоны с перебитым носом да три разбитные девицы из Техаса, отправившиеся в Европу с одной только целью и её достигшие, хотя и несколько иначе, чем надеялись.

Всего в автобусе, с шофёром и гидом, набралось 33 человека. Автобус комфортабельный, радиофицированный, с откидными креслами, занавесками на окнах, воздушным кондиционером и даже — на крайний случай — уборной. Эка невидаль, скажете? Не забудьте, что мы всё-таки не в Америке, а в Европе — есть разница.

Это потом я стал присматриваться к нашей группе, но поначалу мне понравились все без исключения — и бойкие техасские подружки, и интеллигентные гомосеки, и евреи обеих пород, и шумные армяне, и сдержанные индусы, и молчаливый индеец, и погонщик с боксёрским носом, и даже испанцы с неграми. О гиде голландце я уж не говорю — застенчивый юноша, больше, правда, похожий на девочку, даже в зеркальце время от времени скалился, на месте педиков я бы пригласил его в свою компанию. У него было крутящееся кресло рядом с шофёром, он сидел, закинув нога на ногу, вдобавок он ещё каким-то образом заплетал одну ступню за другую — ни дать ни взять, гуттаперчевый мальчик. Вокруг одной щиколотки у него была разноцветная повязка, которая всё время развязывалась, и он завязывал её снова. Двадцать один год, студент из Упсалы, безукоризненный английский, зато шофёр — его возраста, но попроще, мускулистый и грубоватый, походка раскорякой, словно мешают яйца — по-английски не говорил вовсе. А может, и просто из молчальников, решил я.

Вообще, я был в таком поначалу приподнятом, почти экзальтированном состоянии, что всё вокруг приводило меня в восторг, а это, как всегда, раздражало мою жену. В отличие от меня, наша группа ей не очень понравилась:

— А где американцы? — спросила она, имея в виду WASP.

Широким жестом я указал ей на нашу группу.

— А, эти… — отмахнулась она.

— А что, они, по-твоему, не люди? — начал было я, но решил не портить путешествие обычным нашим спором.

Сама будучи иммигранткой, она тем не менее не считала настоящими американцами ни негров, ни евреев с недавними заокеанскими предками, ни латинос, которых без разбора называла пуэрториканцами. Может, и гомосеков она полагала с червоточинкой?

Я сказал WASP, то есть **W**hite-**A**nglo-**S**axon-**P**rotestant, хотя Таня, сужая состав подлинных американов и одновременно расширительно толкуя понятие WASP, включала туда всех белых, независимо от религии, но, чтобы проживали в стране как минимум два поколения. В принципе, евреи из Джорджии могли бы ей подойти, если бы не их ортодоксально-религиозные взгляды и идеологическая обособленность. Ещё она делала исключение для американских ирландцев и итальянцев, которые так ей нравились, что она как-то закрывала глаза на то, что их родаки или деды были иммигрантами.

Впрочем, именно с теми, кто оказался в числе недостаточных американов, Таня была особенно мила и предупредительна, а потому я и воспринимал её великодержавные выпады как направленные против меня лично и не отражающие её истинных чувств.

Надо сказать, что Голландию мы знали ещё по кратковременной поездке сюда из СССР, я даже сочинил когда-то небольшой роман-эпизод на тему советских туристов за кордоном и его сюжет поместил в эту велосипедную страну. По указанной причине, из экономии, а также из-за нелюбви к коллективным мероприятиям, никаких дополнительных туров мы не брали, предпочитая то самое одиночество вдвоём, о котором писал неоднократно по разным случаям, и с нашей группой встретились снова только через три дня, когда из Утрехта покатили в Германию.

Я из породы жаворонков — вот почему почти всегда успевал занять первые места, впритык за спиной Муму, как мы с Таней прозвали нашего неартикуляционного шофёра, пока не переименовали его в Облако в штанах ввиду нового поворота событий, с ним напрямую связанных. Впрочем, и наш гид довольно редко баловал нас своим совершенным английским, а потому и многие города, замки, кафедралы, озёра и прочие достопримечательности, которые возникали за окном автобуса, так и остались безымянными, а все наши попытки вытянуть из него хоть какие сведения кончались обычно тем, что он вытаскивал

из сумки гроссбух-справочник и надолго в него углублялся, а когда отрывался, чтобы сверить найденное описание с реальностью, той давно и след простыл. С чистой совестью он опять увлекался разноцветной ленточкой на лодыжке, развязывая и завязывая её. Я не сразу заметил, что ленточка каждый день была новая. Гид он, конечно, никакой и, казалось, сам из-за этого нервничает, а потому развязывает и завязывает свою чёртову ленточку либо достаёт из сумки зеркальце и скалит зубы, либо грызёт ногти — три любимых его занятия. Когда к нему обращались с вопросом — с каждым днём всё реже и реже, — он прежде всего густо краснел, и видно было, как краска сначала заливает лицо, а потом сползает на шею, и я представлял, как он весь, с головы до ног, становится краснокожим индейцем — почище нашего из племени чокто.

Английскую речь у нас в автобусе почти не услышишь. Мы с Таней привычно переругивались по-русски, испаники бурно изъяснялись по-испански, большинство не очень-то разговорчивы, не говоря уж об индусах, которые казались глухонемыми. Перекрывая все остальные говоры, звучала гортанная армянская речь, так как большая эта семья раскидана была по всему автобусу и непрестанно между собой переговаривалась, передавала вещи и еду, а вдобавок Александр, как мячик, переходил от одних родственников к другим и действовал на нервы не армян своей избыточной резвостью. То ли дело его безъязычная индийская однолетка, к которой мы относились с умилением и благодарностью, потому что двух Александров нам бы ну никак не выдержать! Потом, когда началась автобусная война и мы с армянами оказались в одном лагере, я узнал от полнотелой мамаши, что Александр болен какой-то особой болезнью и страдает от хронического недосыпа, а потому такой нервозный и плаксивый. Сам не спал и нам не давал спать, носясь по проходу и выкрикивая то, что успевал заметить за окном или в самом автобусе и о чем считал нужным довести до сведения остальных. В какой-то мере он исполнял обязанности нашего гида, которыми тот манкировал, но пробеги между остановками были долгими и утомительными, автобусная война затяжной и рваный сон не восстанавливал силы, а те были уже на исходе. Ещё долго после того, как мы вернулись в Нью-Йорк, я вскакивал по ночам от голоса Александра, который являлся мне в ночных кошмарах вместе с несколькими другими сильными впечатлениями от поездки. Один раз мне даже приснилось, как бронк-

ский еврей с концлагерным номером вопит голосом Александра, хотя на самом деле у Эли был тихий, вкрадчивый голосок — приходилось напрягаться, чтобы понять, что он говорит.

Эли явно положил глаз на Таню и старомодно за ней ухаживал — угощал конфетами, подавал руку, когда она выходила из автобуса, пропускал вперёд в ресторане — короче, окружил целой сетью мелких услуг. Жена Эли шепнула мне, что он падок именно на таких вот светловолосых славяночек. Мне это льстило, так как было признанием, с одной стороны, Таниной красоты, а с другой — верности моего выбора. Как ни странно, Таня к нему тоже благоволила, между ними завязалось что-то вроде дружбы. У неё вообще слабость к евреям, несмотря на отдельные вспышки антисемитизма, но тот был скорее её запасным оружием в нашей нестихающей супружеской войне. Вообще, если женитьба есть непрерывный для мужчины экзамен, то в эту поездку я его провалил. А так почти все её знакомые, оба мужа (включая меня) и предполагаемый (мною же) любовник — евреи. А может быть, ослабленная форма её антисемитизма была просто защитной и здоровой реакцией на такое повальное окружение? В таком случае она могла бы позвать меня в соратники. Либо всё-таки этот антисемитизм и антисемитизмом назвать нельзя, так как он был однонаправлен и заклинился лично на мне.

Не очень понятно, потому что из всех евреев в мире я интересовался только одним: самим собой. И не могу сказать, что именно как евреем. С тех пор как я эмигрировал, у меня размытое чувство моего еврейства — если его, конечно, не поддевать, как это делала время от времени Таня.

Первый конфликт в автобусе возник из-за уборной.

Хоть нас и предупредили, что пользоваться ею можно только в крайнем случае, но поди разбери, когда случай крайний, а когда можно ещё потерпеть. Александр, тот вообще шастал туда непрерывно и проводил там уйму времени, уж не знаю, чем там занимаясь. Но и взрослые — особенно пожилые мужчины и наиболее плотоядные из нас — не пренебрегали, полагая это удобство само собой разумеющимся, как это и было на междугородних автобусных рейсах в Америке. К тому же, чтобы пересечь чуть ли не всю Европу за несколько дней, мы поднимались ни свет, ни заря и, наскоро позавтракав, бились за места в автобусе — натурально и через некоторое время наши

желудки и мочевые пузыри заявляли о своих правах. В первые часполтора в уборную выстраивалась очередь.

И вот однажды, едва мы тронулись в путь, раздался визг Александра, который ринулся было в заветное место, но оно оказалось запертым. Тогда его грузная мамаша, толкая других пассажиров, проследовала по узкому проходу за объяснениями, но была отослана обратно. Наш гид взял в руки микрофон, что он делал всё реже и реже:

— Вас предупреждали — уборной можно пользоваться только в экстренных случаях. А вы!.. Вот и засорили. Вечером, когда остановимся, починим, а пока что, кому невтерпёж, говорите — сделаем остановку.

Всё это было сказано назидательно и даже немного брезгливо, а насчёт остановок — как одолжение. Было это, если не ошибаюсь, на перегоне из Дюссельдорфа в Майнц.

Наша поездка, и без того нелёгкая — каждый день семь-восемь часов в пути, стала ещё напряжённей. Уборную держали теперь на замке, а ключ выдавался неохотно. Больше всего страдали обжорливые латинос и восточноевропейские старички с их простатными проблемами и слабым мочевым пузырём. Александр стал ещё капризнее и крикливее, воздух в автобусе, несмотря на кондиционер, теперь был спёртым и тяжёлым. Кондиционер с трудом дотягивал до середины автобуса. Я подозревал, что шофёр включает его не на полную мощь. Инициатива с уборной, мне казалось, тоже исходила от него. А гид был для него как красноречивый Аарон для косноязычного Моисея.

Странно, что никто тогда не протестовал, не возмущался, один только негр свирепо вращал белками, но, может быть, это у него была такая привычка.

Кажется, именно в Страсбурге — или это было ещё в Майнце? — мы впервые, возвращаясь вечером в «Новотель», встретили шофёра, гуляющего в обнимку с техасскими девицами. Он был явно навеселе и, минуя меня, подмигнул Тане. Та возмущённо отвернулась. Я помнил, что поначалу он ей даже понравился — может быть, своей молчаливостью, но сейчас, похоже, ничего, кроме отвращения, не внушал. Такие откровенные самцы были явно не в её вкусе.

— Вот фраер! — сказал я.

— Ягодицы в штанах так и ходят, — сказала Таня.

Это был редкий случай, когда мы сошлись во мнениях.

Вот мы и переименовали его из Муму в Облако в штанах.

Почему именно Облако? Не знаю, хотя тогда это как бы само собой разумелось.

— Ну, какой сюрприз нам готовит на завтра Облако в штанах? — говорил я Тане поздно вечером в постели, лаская её одной рукой, а другой гася свет: она предпочитала заниматься этим в темноте.

То, что было минусом с туристской точки зрения — каждая ночь в новом городе, а значит, и в новой гостинице, хоть и под одинаковыми в основном названиями: «Холидэй Инн», «Хилтон» или «Новотель», — было своего рода допингом в нашей с Таней любовной жизни: непривычная обстановка действовала возбуждающе, и бывало, как ни ухайдакаемся за день, а ночью непременно своё возьмём. Работали мы с Таней по-юношески споро, с огоньком, как будто это был наш медовый месяц. И это — несмотря на дневные перепалки! Вот уж действительно, ночная кукушка перекричит дневную.

Наш маршрут — «Scenic Europe» — был так составлен, что проходил по околице главных туристских путей. В Германии мы миновали Бонн, Франкфурт и Берлин, зато побывали в Майнце и Гейдельберге. Не заехали в Париж, но задержались на ночь в Страсбурге, что на краю Франции, недаром немцы считают его своим и во время войн он переходит из рук в руки. Промчались по автостраде сначала над Цюрихом, а потом над Женевой — зато остановились в Лозанне. Я всё это к тому, что ночные наши вдохновения всякий раз в новом гостиничном номере и бесконечные, на измор, дневные прогулки по очаровательным этим городкам отодвигали на задний план мелкие всё-таки неприятности, которые доставлял нам деспотический стиль хозяев автобуса.

Единственным исключением была конечная страна нашего маршрута, где и развернулись главные события, из-за которых я затеял этот сказ.

Но ещё раньше нам стали строго выговаривать за опоздания, неизбежные в таком путешествии, да ещё с ограниченным пользованием сортиром, ключ от которого находился у шофёра, а к нему надо было обращаться через верного адъютанта — нашего гида. Ключ этот беспрепятственно выдавался техасским девицам, да ещё негритянке с грушевидным животом — не с учётом её положения, а из простого, по-моему, страха перед мужем, который лет пять назад выступал в Чикаго на профессиональном ринге, хоть и не очень успешно, зато мускулы и кулаки у него были, тем не менее, что надо. Эли и его соседу по Бронксу, который всю дорогу был занят фотографированием

собственной жены на фоне достопримечательностей, шофёр однажды грубо отказал, хотя и сделал — не сразу, а полчаса промучив — непредусмотренную остановку у придорожного кафе, где оказались всего две туалетные кабинки и выстроилась очередь, при этом шофёр сидел злой как чёрт, за рулём и непрерывно сигналил, подгоняя нас, словно в нашей воле было убыстрить процесс — и так всё второпях, и мужики вываливались из уборной, на ходу застёгивая ширинку.

Опаздывали мы, конечно, не только по этой причине. У Тани вообще, сколько её помню, такая черта — вечно опаздывать: на свидания, на вечеринки, в театр, на поезд, на самолёт. Это особая тема, но с временем она явно не в ладах. К тому же во всём ненасытна, всего ей мало — путевых впечатлений прежде всего. Как она презирала эти десятиминутные, по пути, остановки — так называемые *picture stops* — и всегда выгадывала несколько лишних минут, чтобы пройтись по набережной, поглазеть на старую мельницу, постоять у церковного алтаря, пока остальные щёлкали затворами. Помню, я всё время её торопил, а она насмешливо меня успокаивала:

— Без нас не уедут!

Один раз мы дико переругались на этой почве.

Случилось это в старинном немецком замке то ли Рейнштейн, то ли Рехтенштейн — так много этих «бургов» на берегу Рейна и так быстро мы их проскочили, что они у меня уже и тогда путались, а тем более сейчас, после стольких лет. Замок и в самом деле был превосходный, точнее то, что от него осталось с XII века, когда его соорудили на скале над рекой. Я давно уже заметил, что время — замечательный архитектор, а потому предпочитаю развалины любым подновлениям и реставрациям. В этом замке было ещё то замечательно, что со смотровой башни открывался захватывающий вид на Рейн и на бесконечные луговые дали на другом берегу. Таню понять можно — не оторваться, но надо же думать и об остальной группе, которая, отщелкав положенное число кадров, поджидала нас в автобусе, о чём я ей и сказал.

— Ты не о них думаешь, а об Облаке в штанах! — вспылила Таня. — Иди, коли так его боишься, а другим не мешай. Одно не понимаю: зачем ты сунулся в путешествие, коли тебя ничего не интересует!

— Дура, — сказал я и пошёл к автобусу.

Естественно, дисциплинированные наши спутники уже все на местах, и как только я поднялся, шофёр, закрыв дверь, начал разворачивать автобус.

— Подождите! — крикнул я. — Моей жены ещё нет.

В ответ он ухмыльнулся и продолжал свои автоманевры.

Наш гид был где-то сзади, продавал optional-туры, а шофёр не понимал по-английски. Или делал вид, что не понимал, — ведь как-то он общается с техасскими девицами. Или для такого дела язык не нужен и даже излишен?

Сейчас я, конечно, понимаю, что с его стороны это была такая нахрапистая, наглая шутка, но в тот момент я всерьёз перепугался — что стоит этому фраеру взять да уехать, оставив Таню одну в чужой стране, без меня, без денег, без документов? Помню, я ощутил такое острое чувство беспомощности и одновременно — и это, к сожалению, тоже не стёрлось у меня из памяти — во мне поднялась жгучая злоба на Таню за то, что она своей несобранностью ставит нас в идиотское положение. Ну да, нам не повезло на этот раз с гидом и шофёром, но что делать? Бунтовать? Требовать? Писать на них телегу? Тогда всё путешествие пойдёт насмарку. Приходится подчиняться автобусному тирану, который, унижая нас, тешит своё мужское самолюбие. В наших же интересах свести к минимуму поводы для конфликтов с этой странной голландской парочкой. Что нам с ними — детей крестить? Половина путешествия, слава богу, позади, осталось меньше недели, уже в самолёте мы навсегда забудем и об Облаке в штанах, и о Нарциссе с зеркальцем и разноцветной тесёмочкой!

Как я был неправ! До сих пор помню и никогда не забуду! Но тогда я надеялся, что таким вот мелким паскудством дело и ограничится. Откуда было мне знать, что это только цветочки? Наверное, и сам шофёр с его садистскими наклонностями не догадывался о кульминации сюжета, которому был автор.

Пока мы разворачивались на площадке перед замком, появилась, наконец, Таня, и шофёр, сделав удивлённые глаза, притормозил автобус и открыл дверь. Он улыбнулся Тане, когда та вошла, — с некоторой даже, я бы сказал, куртуазностью.

И она — в ответ.

Вот что меня озлило и вывело из себя — ведь Таня даже не представляет, что я пережил в те несколько минут, пока её не было и автобус разворачивался. Крепился, крепился, уговаривая себя промолчать, но в конце концов не выдержал и выложил ей всё — как мы чуть без неё не уехали. С соответствующими комментариями о необходимости, находясь в коллективе, выполнять некоторые правила общежития.

— Всё выдумываешь! — сказала она и отвернулась к окну. Я всегда уступал ей место у окна, учитывая алчную ненасытность её зрения.

Вот оно что! Она, видно, думает, что я нарочно всё это придумал, продолжая наш спор на смотровой башне. И что за хамская манера отворачиваться, когда с ней говорят! Я понимал, что завожусь, но было уже не остановиться. Короче, сказал ей всё, что о ней думал.

— Как ты похож на своего отца! — сказала Таня, и обидней оскорбления для меня не придумаешь. Она это знала и всегда приберегала эту фразу в качестве ultimaratio.

Я задыхался от несправедливости. Тем более несправедливо, что я всячески открещивался от сходства, когда замечал его в себе, — я не любил, стыдился отца: за подозрительность, за назидательность, за скупость, за жалкость, за старость. Естественно, я не замечал тогда своей юношеской спеси, и когда отец умирал — а потом ещё долго после его смерти, — мучительно переживал своё предательство, свою неблагодарность — что на его любовь ответил высокомерной нелюбовью. И то, что Таня вспомнила сейчас про отца, язвило и бесило меня поэтому вдвойне.

Наверное, мы выясняли отношения на повышенных тонах, потому что шофёр вдруг обернулся и так на меня усмешливо, с вызовом глянул, будто понял каждое слово, хоть говорили мы по-русски, а уж русского он точно не знал. Или успел научиться, с утра до вечера слыша, как у него за спиной изъясняются и пререкаются на нём?

Могу представить, как его раздражало наше варварское наречие, да ещё со скандальными нотками, хоть по его невозмутимой спине ничего и не скажешь. Как я ненавидел эту невозмутимую спину! Угораздило же меня занять первые места — только чтобы ублажить Танину ненасытность к зрелищам!

Ему, конечно, досталась группа с неполноценными американцами: негры, испаники, индийцы, индеец, армяне, русские, евреи, педики — вот уж, семь пар нечистых! Исключение — погонщик мулов с перебитым носом, но он как-то быстро спелся с индейцем, и они теперь всюду толклись вместе, в постоянном подпитии. Да ещё три его пассии из Техаса, но там у них что-то разладилось, и одна девица спустилась как-то к завтраку с зарыданным лицом. С некоторым злорадством я предположил, что они не поделили Облако в штанах между собой.

К тому времени шофёр мне уже виделся исчадием ада, я винил его во всём дурном, что случалось с нами в этом путешествии. Это из-за

него мы и с Таней схватились, и теперь это убогое существо с полутора извилинами в мозгу упивается нашей ссорой как своей личной удачей.

Так это и есть его личная удача! Не только мы с Таней, но многие наши спутники приуныли к тому времени. Явно что-то произошло в большой и шумной армянской семье, они дулись друг на друга, и один только заводной таракан Александр продолжал резвиться, всех раздражая, а мы срывали на нём злобу. Особенно евреи из Джорджии, которые делали замечания то ему самому, то его матери и всячески демонстрировали, что они на стороне закона и порядка и их полномочных представителей в автобусе. Интеллигентные педики и те, похоже, не поладили между собой и расселись в разных местах. Понять нас можно — мы все были в растерянности, не зная, как унять зарвавшегося шофёра, и каждое утро гадая, что он ещё придумает, чтобы опять нас унизить и самоутвердиться за наш счёт. Лично я действительно жалел, что ради Тани — чтобы ей лучше и больше было видно — занял передние сидения. Как человек малодушный, я опять винил её в наших путевых неурядицах. Но, может быть, брак для того и существует, чтобы всегда был под боком козёл отпущения?

Мы с ней почти не общались, и даже новый гостиничный номер с королевской двуспальной кроватью не смог нас примирить. Мы заснули, отвернувшись друг от друга, а наутро отправились в разные стороны: она — в Женеву, я — в Монтрё, а уже оттуда в деревушку Кларанс, где на местном кладбище под большим голубым камнем, без креста, без портрета, лежит мой любимый Vladimir Nabokov, écrivain. В воздухе резвятся бабочки, на кладбищенских холмах курчавится виноград, а по другую сторону Лемана — альпийская, в вечных снегах, Франция. Никому из современников не завидую — одному только Набокову. Здесь мучаешься, изобретаешь всякие разности, художества ради на самого себя наговариваешь, а у него — одним словом: дар. Вот и после смерти под голубым камнем устроился, в мареве ароматов и бабочек, а виды какие! Как в жизни был сноб, таким и после смерти остался, щастливчик!

Я пожалел, что нет со мной Тани, тем более, как потом узнал, интернационально-безликая Женева её разочаровала.

А наутро нас ждал новый сюрприз.

Все уже расположились в автобусе, а наши шефы что-то запаздывали, чего с ними никогда раньше не случалось. Наконец, появился гид

и в микрофон объявил, чтобы мы вместе с вещами выметались на улицу. Ничего не понимая, мы покорно выполнили его приказ. А что нам оставалось? Один только негр со своей брюхатой не двинулся с места. Но негры вообще держались особняком от группы, а потому и в коллективном нашем страхе перед паханом участия не принимали.

Эвакуация из автобуса заняла порядочно времени, так как мы успели уже устроиться на местах, опорожнив сумки и раскидав вещи. Пришлось заново одеваться и собираться.

Погода прескверная, моросило, все сбились кучкой на узком тротуаре между автобусом и гостиницей. Многие ворчали, армянка бурно негодовала, прижимая к себе своё бессонное дитя.

— С сегодняшнего дня,— объявил гид,— места будете занимать не как попало, а по уставу, всякий день новые, по ротационной системе.

Он достал список и стал выкликать присутствующих поимённо, назначая им места.

В принципе это было, наверное, справедливо, но выполнено грубо, по-хамски. И потом, почему не предупредить с самого начала, в гостинице, зачем заставлять нас мокнуть под дождём?

Я воспринял эту процедуру как направленную лично против меня — за то, что занял первые места. Сейчас они достались техасским девицам, а нас с Таней так долго не выкликали, что я уже стал нервничать, как бы нас вообще не оставили под дождём на лозаннском тротуаре. Вот уж действительно, у страха глаза велики!

Наконец, и нас вызвали, отправив на общую заднюю скамью вместе с бронкскими евреями и педиками. Но там мест оказалось семь, а нас было восемь, и вместе с коллекционером псевдоанглийских надписей я отправился к вожакам качать права. Гид обещал разобраться и пошептался с шофёром, которого, как я успел заметить, неукоснительно во всём слушался, а потом вызвал нас с Таней. Я было обрадовался, да зря — гид извинился, но сказал, что вынужден нас временно рассадить: меня отправил обратно на камчатку, а Таню усадил на прежнее место за спиной шофёра, рядом с техасской девицей — той самой, которая вчера ходила заплаканной, да и сегодня, похоже, ей было не до веселья.

Я не стал спорить, тем более мы с Таней всё ещё были в ссоре и даже рады были ехать врозь.

Я оказался аккурат между бронкскими евреями и педиками.

— Объявление у портье видели? — поинтересовался коллекционер и, получив отрицательный ответ, зачитал новый перл в своём собрании: — I*n case of fire, do utmost to alarm the hotel porter.*[7]

Похоже, именно, он есть девушка в их паре, подумал я, возвращаясь к своим прежним сомнениям относительно педиков.

Эли успокаивающе положил мне на колено руку с лиловатым концлагерным номером и сказал, что это ещё не самое страшное, что случается с евреями.

— При чём здесь евреи? — сказал я, а сам подумал, что у меня нет его шкалы сравнений, а потому и остался такой неприятный осадок от сегодняшнего утра.

— А при том, что все мы теперь в автобусе евреи, — сказал педик-коллекционер, ирландец по происхождению и протестант по религии. — Знаете, что наш гид втихаря читает? Я заглянул как-то, когда он отвернулся: доктора Розенберга! Уж тот, будучи главным нацистским теоретиком, знал что к чему. А шофёру и читать ничего не надо — у него бицепсы и инстинкты. Мы для них ненастоящие американцы: один еврей, у другого цвет кожи не тот, третий говорит с акцентом, четвёртый не с тем, с кем положено, спит, и так далее. Вы думаете, из-за чего мы с приятелем повздорили? Я предлагал, пока не поздно, дать дёру, а он считает, что я паникую. Скорее бы всё это кончилось…

— За людей нас не считают… — обернулся к нам сидевший впереди невозмутимый индеец.

— Не преувеличивайте, — сказал Эли, которого в самом деле трудно было чем-то удивить. Я не отказываю таким, как он, в суждении, но для них всё лучше того, что было.

— Надрать бы им уши! — мечтательно молвил коллекционер.

На эту реплику отреагировал негр, место которого было как раз напротив задней двери. Он ничего не сказал, но посмотрел в нашу сторону и повращал большущими глазами, что произвело устрашающее впечатление. Я почему-то вспомнил, как Отелло душит Дездемону, — слава богу, жена у нашего негра черна как ночь!

Именно здесь, на задней скамье, до меня стало доходить, что наш автобус постепенно превращается в подобие концлагеря на колёсах с двумя надсмотрщиками и несколькими коллабос. Я держал это

[7] В случае пожара сделай всё возможное, чтобы потревожить портье.

сравнение про себя, боясь обидеть Эли. Мне перед ним было как-то неловко — всё-таки никто из нас такого не перенёс, как он.

К тому же он напоминал мне отца, хоть линии судеб у них были разными. Отец — кадровый офицер, коммунист и всё такое прочее, но с возрастом он как-то слинял и мне запомнился старым, малорослым, немощным евреем с чертами физического вырождения — ну, точь-в-точь, как Эли. Почему я его так стыдился, а Эли, наоборот, симпатизирую? Потому что отец был коммунистом, а Эли чудом уцелел в концлагере? Чушь! Симпатии и антипатии возникают вовсе не по идеологическим причинам, хоть концлагерный номер Эли и вызывает у меня чувство стыда и вины. А может быть, симпатия к Эли — это сублимированное чувство вины перед отцом, которого я предал в его одинокой и немощной старости, встав на сторону Тани в их конфликте? А почему тогда Таня, так непримиримо относившаяся к моему отцу, подружилась с Эли?

Я заметил, как шофёр несколько раз оборачивался к Тане и что-то у неё выспрашивал — на каком, интересно, языке? — в результате чего, как я понял, сменился музыкальный репертуар и из динамиков понеслись классические мелодии взамен джазов и роков. Скоро, впрочем, репертуар ещё раз поменялся: как только мы въехали в Австрию — и так до самого конца, — нас потчевали Штраусом вперемежку со «Звуками музыки». Конечно, это музыкальный китч для иностранцев, к тому же явно в избыточном количестве, но достаточно мелодичный, чтобы роптать. Бывает хуже: помню, как мы проехали всю Испанию под оглушительный аккомпанемент «Кармен» и «Болеро».

В Лихтенштейне у нас была краткая остановка, и я увидел из окна, как шофёр и Таня, которые вышли раньше, стоят около автобуса и как ни в чём не бывало о чем-то болтают. Меня аж покоробило.

— Смотри, как бы он не включил тебя в свой гарем! — пошутил я, подойдя к ней.

— Не твоё дело, — огрызнулась Таня.

Во мне всё так и поднялось. Ненавижу, когда ссоримся с ней на людях, — чувствую себя связанным по рукам и ногам, и она это знает: не устраивать же публичный скандал. Ну, погоди! успокаивал я себя, решив дождаться вечера, когда мы останемся с ней вдвоём в номере. А пока копил злобу.

Вечером в Инсбруке Таня исчезла.

Сначала я подумал, что мы с ней разминулись, потом решил, что она намеренно меня избегает и ушла гулять одна. В любом случае день был испорчен: вместо того, чтобы развлекаться в новом городе, я бегал по нему, как ищейка, в поисках Тани. Город не такой уж большой, но я её так и не нашёл, хоть прочесал его несколько раз, заглядывая по пути в магазины и кафе. Я не на шутку беспокоился, но потом решил, что, беря реванш за потерянный день в Женеве, Таня отправилась за город, тем более — рукой подать: наша гостиница упиралась в горы.

И вообще, почему я должен за неё беспокоиться? Она за меня беспокоится? Да никогда! Плюнул и отправился в кино. Шёл «Ночной портье» — я много о нём слышал, а посмотреть не довелось. Это итальянский фильм с двумя англичанами в главных ролях, действие происходит как раз в Вене, последней остановке в нашей программе. Фильм странный, не могу сказать, что понравился, но попал под настроение и растревожил. Кто не видел или забыл, могу напомнить.

Американский дирижёр приезжает с женой в Вену, и та в ночном портье узнаёт нациста, который сексуально истязал её в концлагере. Их роман, естественно, возобновляется — скорее даже, по её инициативе, потому что он поначалу боится разоблачения. Дальше, уже в мирной послевоенной Вене, оба они, в тоске и ностальгии по прошлому, воссоздают прежние условия, потому что иной они любовь уже не представляют. И всё в таком же садомазохистском духе — он её сажает на цепь, зверски избивает, а ей, похоже, только того и нужно. Кончается эта история скверно — обоих пристреливают его дружки: как будто смерть сначала позабыла, но в конце концов добралась и до них. Ведь по закону жизни она должна была погибнуть в газовой камере, а он — на виселице.

Такой вот фильм.

Разбередил мне душу. На месте героини я почему-то представлял себе Таню, садист чем-то смутно напоминал нашего шофёра.

Было уже поздно, когда кончился фильм, я побежал в гостиницу — скучал по Тане, беспокоился, ревновал, нервничал и хотел как можно скорее её увидеть. Дал себе слово: никаких нудных выяснений, как будто ничего и не было. А что было?

Не дождавшись лифта, взбежал на этаж, но дверь в номер была заперта. Спустился вниз — ночной портье заглянул в ящичек и выдал ключ от номера. Я ходил по холлу и поглядывал то на входной турникет, то на портье, который вызывал у меня подозрения, хоть и не был

похож на ночного портье из фильма. Того, как я уже сказал, напоминал шофёр.

Потом мне надоело измерять длину холла, и, сдав ключ, я пошёл в бар, где застал негра. И мы с ним впервые покалякали. Оказался неплохой парень, звать Майклом, с юмором, я даже привык к его свирепому взгляду. Он потягивал ликёр «Драмбуйи», а я взял джин с тоником.

Он видел, что я то и дело поглядываю в окно на дверную вертушку, боясь пропустить Таню, а потому, немного стыдясь своего беспокойства, решил спросить, он-то почему без жены? Вместо ответа, Майкл указал мне на надпись над стойкой: *«Ladies are requested not to have children in the bar»*.

Похоже, педик-коллекционер заразил спутников своей страстью — имею в виду, натурально, к коллекционированию. Но я был то ли не в настроении, ведь мысли мои витали далеко, а может, моего знания английского не хватало, чтобы заметить ошибки, но я ничего смешного в этой фразе не нашёл, понимая её буквально — в том смысле, что женщинам не следует брать детей в бар. На месте австрийского бармена — или, по-здешнему, кельнера — я бы написал точно так же.

Потом я наконец сообразил, что have children означает в данном случае рожать детей, и вспомнив, что жена Майкла на сносях, оценил двусмысленность его шутки — в том смысле, что парень не решился привести жену в бар, так как рожать в нём запрещено. Я рассмеялся с опозданием, но вполне искренне. Тогда негр сочувственно похлопал меня по плечу, но относилось ли это к моему беспокойству за Таню или к моему английскому, я так и не понял.

Негр сам заговорил о шофёре, я его за язык не тянул. Оказывается, одна из техасских подружек — та, которая ходила заплаканная, опухшая, — рассказала его жене о том, что устраивал с ними этот фрукт:

— Понимаешь, парень, у него, по-видимому, что-то не в порядке и там, и там. — Негр повертел пальцем у лба, а потом указал в направлении паха. — Он орудует вовсе не тем, чем надо, а взамен у него — плётка. Велел им раздеться, а этим дурёхам только того и надо. Даже когда он их голеньких к спинке кровати привязывал, всё ещё хихикали — думали, что это у него игра такая любовная. Чего захотели! А он вместо того, чтобы самому раздеться, наоборот, обулся в сапоги, вытащил нагайку и давай их стегать, стараясь достать до укромных мест. Девицы — благим матом, а он ещё больше разъяряется, бегает по ком-

нате, «Хайль, Гитлер!» и прочие мерзости выкрикивает. И тихоня наш тут как тут — сидит и минералку через трубочку сосёт.

— Ты имеешь в виду гида?

— Ну, да — с ленточкой на ноге. Представляешь, какие гниды!

— А что дальше? — спросил я, волнуясь и нервничая.

— Откуда мне знать, что дальше? Я там не был. А та, которая моей рассказала, как-то развязалась, когда он уже в раж вошёл, и сбежала. Надеюсь, что хоть дальше-то он их всё-таки трахает, а то, что ж задарма давать себя истязать? Есть, конечно, любители, но наши техасские дурёхи слишком просты для таких тонкостей. Им обычные упражнения подавай — ради них и отправились за границу. Вот и получили. Знаешь, парень, я так думаю, что поделом. — И добавил лексическую непристойность, которую по-русски можно перевести эвфемизмом «за что боролись, на то и напоролись!»

Майкл подумал ещё немного:

— Своей не забудь рассказать. А то он к ней, вижу, тоже подваливает.

Вот, даже постороннему видно! Где она пропадает, чёрт бы её побрал?

Негр допил своё и отправился спать, а я остался на вахте, прокручивая самые невероятные варианты, один правдоподобней другого. И хоть смерть присутствовала в большинстве из них, ревность меня мучила сильнее всего — Таня и в самом деле заняла в техасском гареме шофёра место выбывшей девицы. Я спрашивал себя: неужели я бы предпочёл, чтобы она умерла, — только бы не изменяла? А успокаивал я себя, что Таня не из тех, кто отдаётся первому встречному. Но кто это может знать наверняка?

Я видел, как пришли, обнявшись, помирившиеся педики. Подкатило такси, и из него высыпали кошерные евреи, послезавтра они уже улетали в свою Джорджию (фу ты, чуть не сказал — Грузию!). Потом появились их восточноевропейские соплеменники — Эли, возбуждённый, размахивал руками, рассказывая о чем-то, блаженная улыбка не сходила с его лица. Вернулись шумные, как цыгане, армяне, всем семейством пестуя невыносимого мальчика Александра, который капризничал по любому поводу и даже без. В большинстве случаев он не считал нужным объяснять причины своих капризов, так что помочь ему было практически невозможно — вот и сейчас он шёл, размазывая слёзы вперемешку с соплями по грязному лицу. Пришли наши вульгарные латинос, которые сами себя гордо называли

«ла раса», а мы их — испаниками. Промелькнули даже техасские подружки, но одни, без шофёра, и это заново всколыхнуло худшие мои подозрения — были они какие-то поникшие, подавленные. Последними я засёк индейца с погонщиком — они были здорово навеселе, а потому вертящейся двери предпочли запасную, обыкновенную, наверное, именно на таких, как они, специально рассчитанную.

Все прошли, а её всё нет! В голове у меня проносились сцены, одна мерзопакостней другой. Не только ревность, целый спектр — от любви до ненависти, от тревоги до проклятий. Измен боялся, но не так чтобы очень, потому что не только меня — никого не любила. С другой стороны, не то, чтобы слаба на передок, но податливая: профессиональной осады может не выдержать, как не выдержала когда-то моей.

Раньше, когда поздно приходила, боялся, что изнасилуют, и даже мечтал, чтобы скорее постарела. Это было ещё в Москве, а теперь, когда ей уже тридцать шесть? Могла, конечно, и заблудиться, мы здесь впервые, а она хорошо ориентируется в лесу и плохо в городе. Могла и назло мне, зная, что буду с ума сходить. Странно, что и этого нацистского ублюдка не видно. До чего мы всё-таки из-за баб уязвимы! Особенно тех, которые, принадлежа нам формально, на самом деле не принадлежат никому — даже самим себе!

Сомнамбулы!

Какая это любовь, когда западня, в которую подлавливает нас Бог, чтобы мы отдали свой долг природе! Хуже врага — жена: пятая колонна, троянский конь, что там ещё? А уж путешествовать надо точно одному! Как в том анекдоте о круизе: «Вам с женой отдельные кровати? отдельные каюты?» — «Отдельные пароходы!» И вовсе не потому, что со своим самоваром в Тулу не ездят. Не до них, когда едешь от них же передохнуть! Поехал бы один, отделался бы малой кровью — какое мне в конце концов дело до диктаторских замашек шофера-извращенца? Разве обращает на них внимание погонщик мулов с перебитым носом? Либо индеец из племени чокто с кроличьим суставом в виде амулета? Живут оба в своё удовольствие, каждый день на взводе — зачем только, спрашивается, отправились в Европу? Для разнообразия — чтобы сменить антураж своей непрерывной пьяни? А зачем отправились в Европу мы с Таней, продолжая выяснять отношения и мучить друг друга, но в иных уже декорациях? Пусть тогда наши спутники из Джорджии, с их зацикленностью на еврейских мемориалах, послужат символом нашего собственного постоянства

и однообразия. Куда от себя денешься? Прав старик Гораций — позади всадника усаживается мрачная забота, от которой он убегает.

За полночь, бар закрывался, да я уже наклюкался джином предостаточно. Вот те на — ключа на месте нет! Как это я её проворонил? И где она шлялась всё это время?

Когда я вошёл в номер, Таня спала. Или делала вид, что спит, не желая со мной общаться и отчитываться. Будить не стал, хоть меня всего трясло. Снились кошмары из «Ночного портье» с Таней и Облаком в главных ролях. Среди ночи меня осенило — она была в гостинице, пока я её ждал в баре. Но где?

Как всегда, проснулся раньше и стал ждать. Как только она вышла из ванной, спросил как можно спокойнее:

— Почему ты вчера так поздно?

— А ты? Я пришла раньше тебя.

— Я вернулся часов в десять, тебя не было. Тогда я спустился вниз и там тебя ждал.

— Когда я брала ключ, я тебя не видела.

— Я был в баре. С негром. Я следил за дверью, не мог пропустить.

— Что ты от меня хочешь? — сказала Таня, голос у неё дрожал.

— Ничего, — ответил я, решив больше её не пытать. Ей и без того тяжело, я это видел. К тому же опыт нашей с Таней почти уже десятилетней совместной жизни научил меня простой мудрости, что некоторые секреты лучше оставлять в секрете, а не выпытывать — только так можно сохранить и без того шаткий семейный баланс. Сказано же, во многом знании много печали. Будь я автором той Книги, я бы написал ещё решительнее: лучше не знать, чем знать!

Однажды, помню, ещё на заре нашей супружеской жизни, Тане так хотелось поделиться со мной одной своей тайной, переложив на меня хотя бы частично её тяжесть, но я не поощрил её на это признание, придавив в себе любопытство и ревность.

Испугался, ушёл в кусты.

Мне кажется, этого она мне так и не простила.

Будто кошка тогда между нами пробежала — Таня стала замкнутой, а я недоверчивым.

А сейчас, рассматривая её отражение в зеркале и не решаясь взглянуть ей прямо в глаза, я сказал просто так, для информации:

— Негр просил передать тебе, что Облако в штанах — садист, да ещё с нацистским уклоном.

— Какое твоему негру до меня дело?

— Ну, это всем видно, что Облако к тебе подъезжает, а ты уши развесила!

Таня была сейчас похожа на затравленного зверька.

— Я хочу домой, — сказала она. — Сколько можно терпеть! Больше я просто не выдержу.

Нелепо требовать с неё объяснений, когда она в таких нервах.

— Осталось-то всего два дня, — успокоил я её.

— Так хоть в эти дни оставь меня в покое! Прошу тебя!

Опять двадцать пять! Снова я виноват, всегда я у неё виноват.

В автобусе нас опять рассадили, мы с Таней оказались вместе и под «Звуки музыки», которые я уже начинал потихоньку ненавидеть, хотя раньше любил этот мюзикл, понеслись к Вене.

По пути краткая остановка в Зальцбурге, а потом заехали в монастырь, достопамятный тем, что в нём Голливуд снимал всё те же «Звуки музыки». Ну разве не странно, что Голливуд, который сам, ради аутентичности, снимает часть фильма не в павильоне, а на европейской натуре, эту натуру своими съёмками заново прославляет? Отражённый какой-то свет, или, как говорили в прежние времена, — тень тени. Я бы и вовсе не упоминал всю эту туристскую лажу, если бы именно здесь, в старинном конвенте с сомнительной голливудской славой не произошла эта отвратная сцена с Эли, который отправился на поиски уборной и, когда уже все были на местах, всё ещё не вернулся.

При той лагерной дисциплине, которую наш пахан установил в автобусе, это было серьёзное нарушение.

— Куда он запропастился? — сказал один из джорджианских евреев — тот, что хвастал отдалённым родством со Стивеном Спилбергом.

В его вопросе было не беспокойство, а раздражение — он явно подыгрывал начальству.

Беспокоилась только жена Эли, которая не садилась, высматривая мужа в окна.

Само начальство помалкивало, что ещё больше усиливало напряжённость. Было бы легче, кабы Облако в штанах посигналил или что осуждающее произнёс в микрофон его адъютант.

— Дядя какает? — подал, как всегда, невинную реплику окончательно сдуревший от поездки армянский бессонный мальчик Александр.

Тут как раз шофёр врубил на полную мощь «Звуки музыки», а потому никто и не услышал, как он завёл мотор. Просто вдруг оказа-

лось, что наш автобус двинулся по монастырскому двору, не дожидаясь Эли.

Я вспомнил схожую сцену в старинном немецком бурге — то ли Рейнштейне, то ли Рехтенштейне, когда автобус начал разворачиваться без Тани, но здесь, в просторном монастырском дворе никакие манёвры не требовались — мы просто уезжали из этого голливудского аббатства, забыв в нём маленького еврея с лиловым номером на руке.

Вот тут-то, перекрывая «Звуки музыки», заорал мальчик Александр:

— Смотрите! Смотрите! Эли бежит!

Мы прильнули к окнам. По подъездной аллее, припадая на хромую ногу и держась рукой за грудь, но улыбаясь, бежал за автобусом, как-то по-чаплински дёргаясь, этот маленький человечек, так разительно похожий на моего отца, который ни в каких лагерях не был, а был коммунист и подполковник.

Я понял наконец, что у них общего и почему мне было неловко смотреть — на отца, пережившего четыре инфаркта, а умершего от рака желудка, и теперь вот — на Эли Рубинстайна, который чудом уцелел в концлагере, уйдя от своей судьбы и притворившись на время живым, но судьба его сейчас догоняла. Всё это вдруг почувствовали — не только я.

Хоть всё это длилось недолго — минуту-другую, не больше, но казалось, что он бежит за автобусом целую вечность и что ему теперь всегда бежать за автобусом, наказание у него такое, как Сизифу с его камнем. За что наказание? А за то, что выжил там, где по всем правилам должен был умереть, и теперь вот путается под ногами, мозолит глаза своим незаконным существованием и мучит, терзает, гложет нашу совесть.

Мою — уж точно.

Он и сейчас бежит за мной, хоть его давно уже нет среди нас, и мне некуда от него деться, никуда не спрятаться, будто я, и только я, виноват в его смерти.

А заодно и в смерти отца, которого я бросил на последнем витке его жизни из-за идейных несогласий и из-за Тани.

Вместо того чтобы выехать за ворота монастыря, автобус вдруг резко затормозил и медленно, совсем медленно пополз дальше по периметру монастырского двора навстречу Эли, но только по другой стороне. И вот видим, как Эли перебегает двор и трусит совсем уж рядом,

и шофёр уже открывает дверь, чтобы его впустить. Эта пытка вот-вот кончится, мы видим лицо Эли — на синеющих губах у него вечная улыбка, а в глазах ужас, как будто он забыл, где он и что с ним, кончился отпуск, который он получил у смерти, и не монастырский это вовсе двор, и год сейчас другой, и бежит он совсем не за туристским автобусом, и мы все не туристы, а нацисты.

Старик почти поравнялся с нами, но автобус продолжал лениво, словно по инерции, катить по залитому солнцем двору, и тогда он, не дожидаясь, изловчился как-то схватиться рукой за поручень, чтобы вскочить на ходу, но подвела сломанная нога — Эли сорвался, всё ещё держась за поручень, и его поволокло за автобусом, и только тогда этот гад остановился.

Таня взвилась и, давя мне ноги, вылетела из автобуса на помощь. Эли втащили в салон, он был еле живой, судорожно хватал ртом воздух, быстро открывал и закрывал глаза, но продолжал улыбаться — покорно, благодарно, униженно. Вот эта его улыбка и была такой страшной, никогда её не забуду!

Когда его наконец усадили на место, сначала шофёр, за ним гид, а затем и все мы зааплодировали старику, не сообразив поначалу, каким издевательством в этой ситуации были наши аплодисменты.

Первым пришёл в себя негр.

Шофёр включил какой-то бравурный марш в честь живучего Эли, и мы уже медленно выезжали из монастырского двора, а в это время негр, слегка пригибаясь — такой он был высокий, даже автобус ему был мал! — продвигался по проходу вперёд. Мы не сразу поняли, что произошло. Автобус рвануло в сторону, он съехал с дороги на обочину и застыл как вкопанный, а наши вещи попадали с верхних багажных полок. На шофёрском месте было пусто, а негр, точно так же по-бычьи наклонив голову, возвращался на своё место.

Это я должен был сделать, а не Майкл! Не играет никакой роли, что он был профессиональным боксёром у себя в Чикаго, а я слабак. Да, я слабак, и не только физически. Ведь я сидел ближе — почему не опередил Майкла и не вцепился гаду в горло? Вся моя дальнейшая жизнь, может быть, сложилась бы иначе, врежь я ему тогда! Почему никто не решился, а Майкл решился? Во всём автобусе один только и нашёлся мужчина!

Брысь от меня, успокоительная ложь! Что, мне легче от того, что не я один оказался говном? Нас всего тогда двое и было — негр да я.

И вот я растерялся, смалодушничал, струсил, а негр подошёл к водителю и обрушил на его голову мощный удар своего профессионального кулака.

Около поверженного шофёра возился наш гид с тесёмочкой на ноге. Никто больше не пришёл к нему на помощь, потому что власть в автобусе переменилась. Все теперь смотрели на негра с уважением.

Таня пересела поближе к Эли и ухаживала за ним вместе с его женой. С его лица сползла улыбка, похоже было, что возмездие, которое обрушил негр на голову нашего общего врага, не обрадовало, а скорее испугало старика. Он тяжело втягивал в себя воздух и со стоном, отдуваясь, выпускал его — вот-вот помрёт казалось. Он вообще был какой-то невменяемый и с английского почему-то перешёл — нет, не на родной польский и не на ещё более родной идиш, а на немецкий, и никто в автобусе не понимал, что он там шепчет, хрипя и присвистывая. А что, если он в самом деле тронулся рассудком?

Подъехала австрийская полиция, никто не сообщил им, что у нас произошло. Гид объяснил, что автобус потерял управление, нас вынесло на обочину, шофёр упал со своего сиденья и зашиб голову, а одному из пассажиров стало плохо — сердце, вероятно.

Не в пример Америке (я уж не говорю про Россию), коммуникации в Австрии срабатывают мгновенно, и вот уже с пронзительными сиренами к нам подъехали две «скорые». Одна из них увезла Облако в штанах, который к тому времени пришёл в себя, — он сильно окровавился, видок был жалкий, а другая — Эли Рубинстайна: тот продолжал лепетать что-то по-немецки. Я видел, как вдруг отпрянул от него санитар:

— Он меня принимает за лагерного стража, — объяснил он нам.

Вместе с Эли в госпиталь поехали его жена и Таня.

Минут через десять у нас уже был новый шофёр, который и доставил нас поздним вечером в венскую гостиницу. А потом вернулась Таня и сказала, что Эли получше, с ним осталась жена.

— Он всё ещё говорит по-немецки? — спросил я.

— Нет. Сразу же после уколов уснул, а когда проснулся, опять заговорил по-английски. И, знаешь, робко так улыбается, застенчиво, виновато. Переживает, что из-за него столько возни.

Таня замолчала, с трудом сдерживаясь.

— Смотреть на него, слушать — невозможно. Хочется просить у него прощения.

Второй раз, как мы женаты, я видел, чтобы Таня плакала. Первый — когда нам позвонили в Нью-Йорк из Москвы и сообщили о смерти её матери. Это было время, когда даже на похороны невозможно было туда поехать.

На следующий день, с утра, мы узнали, что с обоими всё в порядке. Майкл наклонился ко мне с высоты своего роста и шепнул:

— Видишь, парень, никакого членовредительства — я же, чёрт побери, профессионал. А подонку наука — больше не посмеет. Как это я не догадался вдарить ему раньше!

Вот, оказывается, даже Майкл себя за что-то корит.

Мы с Таней довольно мирно погуляли по Вене, которая послужила нам однажды транзитным пунктом на пути из Москвы в Нью-Йорк. Побродили по садам, заглянули в музей, посидели в уютнейших здешних кафе: ну да, яблочный штрудель, шницель по-венски, здешние сосиски, после которых американские в рот нейдут, — всего перепробовали. Я поискал, но так и не нашёл дом, где жил наш вселенский учитель, — Таня со мной не пошла, так как считала Фрейда шарлатаном, мы договорились встретиться на концерте, билеты на который были заказаны ещё в Амстердаме. Оркестр был первоклассный, да и дирижёр — Леонард Бернстайн. Я постепенно приходил в себя. Завтра мы уже вылетаем в Нью-Йорк, а всё хорошо, что хорошо кончается.

Когда возвращались пешком в гостиницу, я привлёк к себе Таню и поцеловал:

— Мир?

— Мир, — согласилась Таня. — Одно только не понимаю, как ты мог обо мне такое подумать? Это как-то даже унизительно, что ты меня к нему ревновал. Если бы я даже решила тебе изменить, то только не с ним!

— А где тебя носило в тот вечер?

Таня молчала и как-то странно на меня глядела, словно не решаясь.

— Ты в самом деле хочешь знать? — спросила она, зная мой страх перед её секретами.

К чему она клонит? Вроде бы это всё-таки не тот случай, когда надо избегать признаний.

— Раз настаиваешь, пожалуйста. Только будь добр — без скандалов. Сил больше нет.

— У меня тоже, — сказал я и дал слово выслушать её спокойно и никак не реагировать.

— В одном твои подозрения верны — я провела этот вечер с Облаком в штанах.

Я чувствовал, как снова завожусь, во мне всё так и кипело, еле сдерживался, а Таня смотрела на меня и улыбалась.

— Продолжать? — спросила она.

— Ты с ним спала? — спросил я напрямик.

— Дурак! — сказала Таня, но это ещё ничего не значило, всё равно я ей не верил.

— Очень просто — я гуляла по старому городу, он мне навстречу. Допускаю, что за мной следил, но даже если так, то он это делал лучше, чем ты.

— Я не следил!

— Ладно: не следил, а искал. Пока мы сидели с ним на веранде кафе, ты два раза мимо пробегал, один раз даже заглянул внутрь, но не на веранду. Шерлок Холмс из тебя никакой!

— У меня другая профессия. А почему ты меня не окликнула?

— Не хватало ещё скандала в общественном месте! Я же тебя знаю — в таких случаях ты невменяем!

— Ещё бы! Видеть, как твоя жена кокетничает с нацистским ублюдком — и молчать! Так, по-твоему? А он меня видел?

— Не думаю. Он сидел спиной к улице.

Это меня почему-то немного успокоило.

— Что ему от тебя нужно?

— Совсем не то, что ты думаешь. Сам знаешь, я произвожу слишком серьёзное впечатление, чтобы ко мне так вот запросто приставать. Это мне всегда мешало.

К счастью, так и было: Таней часто увлекались, а иногда и она, зато лёгкие интрижки действительно не в её жанре. Хоть в этом отношении мне повезло.

Во всех других — нет.

Будучи максималисткой, она предъявляла к жизни слишком высокий счёт, из-за чего я и чувствовал себя с ней, как на экзамене.

— И, о чём же вы говорили?

— Говорил главным образом он. И не говорил, а жаловался. Твой Фрейд здесь бы как раз пригодился. Типчик кручёный — проповедует теорию супермена, а сам состоит из одних комплексов. Даже с английским — он у него совсем неплох, но говорить стесняется. Ему нужно всё время самоутверждаться — естественно, за счёт других. Ему

кажется, что он ненавидит негров, евреев, иммигрантов, а на самом деле он ненавидит себя. Но легче ведь ненавидеть других. А как он отзывался о техасских девочках! Представляешь, он их презирает за то, что они ему отдаются. Какое-то инфантильное представление о женщине: либо мать, либо блядь. Я даже подумала, а не девственник ли он? Или импотент? В любом случае, таким лечиться надо. Он жалок и мерзок.

— А тебе-то почему он решил исповедаться?

— Ну, это понятно. Светлая, блондинка, славянка. Он говорит: нордический тип. И ещё жаловался, что ему не везёт на туристов: обязательно попадаются негры и всегда много евреев. А ведь среди американцев на первом месте по числу стоят потомки немцев! Если англичан и уэльсцев считать по отдельности. Почему же ему попадаются одни неполноценные, ненастоящие, сплошь иммигранты? Но эта, говорит, группа — худшая в его практике.

— На этом вы с ним сошлись? — спросил я.

— Нет, на этом как раз мы с ним и расстались. Он рассказал мне анекдот: «Сколько евреев можно уместить в одной пепельнице?» Я положила на стол деньги за кофе с пирожным и ушла. Вот тебе полный отчёт. Удовлетворён?

— А потом? Когда я вернулся, тебя не было.

— Мы разминулись — я была в бассейне. Очень успокаивает — советую и тебе.

— В гостинице есть бассейн? — удивился я.

— Иди и проверь, — сказала Таня.

Я немного утихомирился, хотя маленький червь сомнения всё ещё копошился, но, придя в номер, мы закрепили наше мирное соглашение в постели, а оба соскучились, изголодались друг по другу. О ночной кукушке, которая перекричит дневную, я уже писал.

На следующее утро нас разбудили ни свет ни заря — рейс на Нью-Йорк был чартерный, а потому очень ранний. С некоторым подозрением мы присматривались к новому шофёру, но оказался симпатичный и любезный австриец. Наш гид так и не решился прийти с нами попрощаться либо, вполне возможно, был занят: утешал своего товарища-подранка. По пути мы заехали в больницу и забрали Эли — он настоял, чтобы возвратиться со всеми.

В автобусе его встретили как героя. Ему жали руку, хлопали по плечу, а Таня чмокнула в щёку.

— Какой, однако, живучий, — сказал мне сидевший позади нас негр с явным уважением. — Я был уверен, что загнётся.

— Ну, слава богу, обошлось, — сказал я.

Мы все пребывали в состоянии расслабленной эйфории.

Аэропорт от города далеко, под сурдинку звучали «Сказки венского леса», которые, видимо, входили в обязательную программу прощания с австрийской столицей. Все притомились — кто дремал, кто поглядывал в окно, я держал Таню за руку, боясь её снова потерять. Я так был рад, что мы возвращались с ней домой в мире. Ни одну женщину в своей жизни я не любил, как эту.

Один только неугомонный армянский мальчик Александр носился по проходу и, как всегда, ко всем приставал. Недолго ему осталось голосить и испытывать наше терпение, успокаивал я себя.

Он так часто нам мешал своими криками, что мы научились за эти две недели отключать слух и не различали в его голосе никакого смысла — это был просто постоянный звуковой раздражитель, ничего более. Вот почему до нас не сразу дошла вся чрезвычайность выкрикиваемого им сообщения:

— Смотрите! Смотрите! Эли умер!

Что описывать дальнейшее? Снова воющие сирены и «скорая помощь», безуспешные попытки реанимировать труп, общее наше смятение. Думаю, мы были бы меньше потрясены, если бы Эли Рубинстайн умер прямо тогда, в монастыре под Зальцбургом, когда его, наконец, втащили в автобус и он заговорил по-немецки, решив, что снова в концлагере. Смерть догнала его, но мне почему-то кажется, что умер он спокойно, умиротворённо. Я взглянул на него последний раз — на его лице застыла всё та же беспомощная улыбка.

Потом его труп куда-то увезли, а с ним вместе исчезли жена и бронкские друзья. Настроение, естественно, у всех было поганое, все были подавлены и молчали. Да и о чём говорить?

Я заметил, как педик-коллекционер списывал потешное объявление у справочной в аэропорту, но ни с кем на этот раз своей новой находкой не поделился.

В самолёте нас слили с другими группами, которые тоже путешествовали по путёвкам «international Weekend», но по иным маршрутам. Я обрадовался, встретив коллегу — нью-йоркского писателя Володю Соловьёва. Мы с ним уединились в хвост самолёта, где были свободные места. Он заказал «Курвуазье», а я — неизменный джин с то-

ником. Он был очень доволен и восторженно обрисовал мне альпийский вояж, из которого возвращался. Я слушал вполуха, а потом сказал, что у нас, считай, путешествие сорвалось, и поведал о всех злоключениях. В отличие от меня, он слушал очень внимательно и, когда я кончил, сказал, нервно усмехнувшись:

— Сюжет для небольшого рассказа.

— Ну, вот и пиши, коли так считаешь. Тебе и карты в руки.

— А сам не будешь? «Даришь мне?» —недоверчиво спросил он.— Можешь взамен взять мой альпийский тур.

Мне было как-то не по душе от такой хищной меркантильности, и, распрощавшись с ним, я пошёл на своё место.

В итоге рассказ написал не я, а Владимир Соловьёв,— от моего как бы имени, но привнеся столько отсебятины, что я себя не всегда узнаю.

А с Таней у нас совсем разладилось, и через полгода после возвращения из этой поездки мы расстались.

ОБ АВТОРЕ

Владимир Соловьёв *— известный русско-американский писатель, эссеист, журналист, мемуарист и политолог. В одиночку и в тандеме с Еленой Клепиковой напечатал сотни статей в престижных СМИ по обе стороны океана — от «New York Times» и «Wall Street Journal» до «Московского комсомольца» и «Независимой газеты», и издал немало книг. Среди них «Yuri Andropov: A Secret Passage Into the Kremlin», «Inside the Kremlin», «Boris Yeltsin: Political Metamorphoses», «The Paradoxes of Russian Fascism».*

Острые и парадоксальные, на грани фола, произведения Владимира Соловьёва неизменно вызывают шквальную полемику в среде читающей публики.

В последние годы выпустил в Москве десять книг, включая мемуарно-исследовательское пятикнижие «Памяти живых и мёртвых», предсказательную книгу о Трампе задолго до его победы на выборах и «США — pro et contra. Глазами русских американцев».

Урожайным оказался и коронавирусный год: нью-йоркское издательство «Либерти» выпустило «Кота Шрёдингера», чикагское издательство «Континент» — «Закат Америки» и «Бог в радуге» .

Постоянный автор журнала «Времена».

Павел ЛЕМБЕРСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ НОВЕЛЛЫ

ПРОИГРАННОЕ ПАРИ

Наконец-то раздался выстрел. Это застрелился Коллин. Все облегчённо вздохнули. Вечер продолжался. Следующий тост был за Новый 199…-й год. Грэг, блондин из Калифорнии, всем уже успел надоесть своей видеокамерой. Он приехал в Нью-Йорк на пять дней, и когда ему сообщили, что Коллин поспорил со мной на 10 тысяч долларов, что под Новый год он застрелится, Грэг, приглашённый на Новый год к своим родственникам в Бэй-Ридж, приглашением этим решил пренебречь и пришёл на праздник к нам. 10 тысяч долларов в случае проигрыша я должен был отдать сестре Коллина — Уне. Уна встречала Новый год у родственников Грэга. Она работала в магазине женского платья где-то в Сохо, на Мерсер, по-моему. О споре она ничего не знала.

Из присутствующих о споре знали только я (моя Стейси об этом даже не догадывалась), Роджер со своей новой женой из Массачусетса, мой племянник из Квинса,— брат с женой оставили его на нас, а сами укатили в Париж, разумеется, Грэг — и всё. В Париже я был лет шесть назад, и тоже, кстати, под Новый год, поэтому по просьбе брата я составил для него внушительный список мест, где они обязаны побывать, а также советы: что лучше делать в Париже, если пойдёт дождь или снег. В кафе сидеть, конечно же, на толпу глазеть. Что может быть лучше? Хотя Стейси со мной не согласна: она считает, что ничего лучше музея д'Орсэ в непогоду на свете нет. Ну, она у меня на XIX веке вообще немного двинута: хлебом её не корми — дай полюбоваться на Делакруа или Курбе.

На прошлый Новый год Грэг пригласил нас в Калифорнию — он там заканчивает юридический, а в свободное время,— хотя откуда

у будущего юриста может быть свободное время? — бегает по Сан-Франциско со своей полупрофессиональной видеокамерой и снимает что придётся: набитые туристами трамваи, бездомных на Маркет-стрит, парад лесбиянок, ярмарку в Чайна-тауне. Он нам всё это в канун прошлого Нового года демонстрировал, сопровождая фильм обильными пояснениями. Сначала мне было интересно, потом стало неинтересно, потом меня стало клонить ко сну. Стейси исподтишка толкала меня периодически в правый бок и громко осведомлялась у Грэга: «И как часто у вас такие парады?», или комментировала: «Ваши бездомные намного жизнерадостнее наших, нью-йоркских. Я права?» Теперь я понимаю, для чего Стейси задавала вопросы таким громким голосом: она опасалась, что я засну и тем самым обижу Грэга. Она у меня человек деликатный.

Тот Новый год мы отмечали у его друзей-художников, проживающих в Монтерее. Праздник имел явно концептуальный оттенок. Вместо ёлки в углу спальни стоял обрубок с двумя ветками. На одной висел зелёный шар, на другой — красный. Мы все здорово накурились и пошли танцевать под REM, Run DMC и LL Cool J. В самый разгар плясок Стейси вдруг бухнулась на колени и закричала: «Немедленно освободить перекрёсток! Я с кем разговариваю?!» Дело в том, что ёлка в какой-то момент показалась ей светофором, но без жёлтого света.

После полуночи к нашему веселью присоединились соседи художников. Они были одеты в чёрную кожу, а из задних карманов брюк у них виднелись наручники. Всего их было человека три, не больше, но непонятным образом им удалось заполнить собой весь дом. Потом, уже в самом конце, я помню, как вмазал кому-то из них по морде, и на обратном пути вёл раздолбанный «Шевроле» Грэга одной рукой — на второй была повязка со льдом. Грэг был очень многословен (кокаин и, если не ошибаюсь, «экстази»); Стейси мирно посапывала на заднем сиденье.

— Не забывай, Эл, что ты накурен, — давал Грэг никому не нужные советы. — Веди машину не слишком быстро, но и не слишком медленно. А главное — старайся избегать полицейских.

— А это ещё почему?

— Сейчас не время острить, Эл. Слушай, что тебе говорят: если нас остановят, не вступай в дискуссии. Вспомни самого последнего двоечника, вылетевшего из твоей школы за хулиганство. Вот такие ребята идут в полицию. Я эту братию хорошо знаю.

Водить машину под такой аккомпанемент в три часа ночи в накуренном состоянии одной рукой по незнакомым дорогам очень нелегко. Двумя, при прочих равных условиях, было бы значительно легче.

Почему я дал одному из гостей в чёрной коже по морде? — вспоминал я под лёгкий храп супруги на следующее утро и, наконец, вспомнил. Мне, вроде, показалось, что он заигрывал с моей Стейси.

— Да не нужна ему твоя Стейси, — успокаивал меня за завтраком Грэг. — Он скоро год как женат на том парнишке, что пришёл с ним. Ох, погубит тебя твоя ревность, Эл. Вспомнишь мои слова: погубит. Так чай или кофе?

Грэг уже года три встречался с сестрой Коллина Уной. Время от времени он названивал мне в Нью-Йорк из Сан-Франциско и справлялся как, мол, она там. «Приезжай, сам всё увидишь», — шутил я, но он обижался, и тогда я менял тон:

— Работает, дочка в школу пошла, — говорил я, хотя с Уной мы виделись раз в месяц, если не реже, и я был уверен, что «новости» эти Грэгу и без меня известны.

Как это люди могут встречаться на расстоянии? Ну ладно, один-два раза в год она к нему приедет, два-три раза — он к ней, и всё? В Калифорнию переезжать она, насколько мне известно, не собиралась. Об его переезде в Нью-Йорк до того, как он получит диплом, также речи быть не могло. А что если он не найдёт работу в Нью-Йорке?.. Да, жизнь вдвоём — сплошные компромиссы, это я уже хорошо понял. Стейси и я как-то притёрлись друг к другу, научились понимать друг друга, что ли. Я, к примеру, не готов заводить детей — и она меня с этим не торопит. Она, скажем, второй год подряд приглашает в гости Коллина из Новой Зеландии — пожалуйста, места много, я не возражаю.

Когда Стейси вышла на лестничную площадку встречать очередных гостей, Грэг уже заканчивал устанавливать на штативе видеокамеру. Подключив к ней две дополнительные лампы, он прищепил одну из них к спинке стула, а другую сунул мне в руки и попросил направлять на Коллина. Затем Грэг включил видеокамеру и, ни на кого не глядя, произнёс: «Так. Что дальше?»

Коллин растерянно улыбался, я старался сохранять спокойствие, хотя 10 тысяч долларов в случае его проигрыша мне очень не помешали бы. В голове моей уже прыгали: приличная стереоустановка?

задаток за новую машину? отпуск где-нибудь в Индонезии или Новой Зеландии — вот и Коллин приглашает, — а то что мы всё: Париж, да Париж?

Коллин вытащил из рюкзака пистолет 45-го калибра и взвёл курок.

«А ведь он не шутит», — успел подумать я и взглянул на Грэга, поправлявшего объектив.

Коллин торопливо всунул дуло пистолета в рот и спустил курок. Раздался выстрел. Красная жижица шлёпнулась о стену рядом с дешёвой копией ренуаровских «Купальщиц», и тут же поползла вниз. Коллин рухнул на ковёр.

«Ну дай Бог, чтобы всё плохое, что было в прошлом году, так в нём и осталось, а Новый год приносил нам одни только радости», — кажется, это Грэг произнёс с наигранной бодростью в голосе.

Где я теперь возьму 10 тысяч долларов для Уны — об этом я даже задумываться не хочу.

1993

ЭЛЬДОРАДО

В детстве вопрос пола неожиданно упёрся в лошадей. «Это мама или папа?» — спрашивал ты у взрослых. «Конечно, мама, — отвечали взрослые. — Видишь, у неё ленточки в гриве разноцветные, как у девочек?» — «А вон та?» — «Та — сестра». — «А брат где?» — «Брат на скачках», — говорили находчивые взрослые. «А едят они сено?» — «Ага». — «А по-большому чем делают?» — «Тоже сеном, но тщательно переработанным».

«Хорошо в краю родном — пахнет сеном и говном», — нараспев декламировала тётя Аннушка то ли Гойхман, то ли Мичман, а скорее всего, просто Цукерман, старенькая, худенькая тётя Беба Цукерторт, в ветхом пальтеце, с морщинистым личиком и щербатым, цвета корейской морковки маникюром, иногда эвфемистично заменяя «говно» на «молоко», но далеко не всегда. Она умерла потом, пенсия у неё была крошечная, десятирублевая, ну как на такую прожить? И ещё она декламировала:

Жасмин хорошенький цветочек.
Он пахнет очень хорошо.
Понюхай, миленький дружочек.
А правда пахнет хорошо?

Если сложить первые буквы каждой строчки, получалось некрасивое слово. Когда ты произносил его, тётя Аня Цейгильмундер хваталась одной рукой за сердце, другой за перила «Детского мира» и беззвучно тряслась, легонько выпуская старческие газы в утренний октябрьский воздух.

В детстве ты приставал к взрослым как банный лист: сколько раз, спрашивал ты, можно повторять один и тот же вопрос, сколько, сколько, ну сколько? Два раза, пять или больше? Два — ещё ничего, отвечали взрослые, но, если тебя поняли сразу, — лучше ограничиться одним. Пять — и над тобой будут потешаться, как над клоуном в цирке. Больше пяти — и тебя будут просто считать нездоровым мальчиком. «Одну минуточку! — поднимал над головой указательный палец ты. — Что же это выходит? Выходит, баба Лена — клоун? Ведь баба Лена минимум раз десять просила папу привезти ей из командировки телевизор. А то и все пятнадцать. Выходит, баба Лена — нездоровая?»

И обязательно такой, как у соседки. А какой у соседки? Папа понятия не имел, какой. Тогда бабушка стала что-то показывать руками, загибать пальцы, быстро моргать глазами, вероятно, изображая частоту строк, зачем-то даже присела несколько раз на корточки, но так и не смогла объяснить, какой у соседки. Отправились на поиски соседки. Соседка жила в самом конце коридора, там, где ванная и запахи… Долго стучали, соседка не открывала. Наконец, дверь открыла соседка соседки — полуслепая старушка с лермонтовскими усиками и большой, обмотанной полотенцем головой. Оказалось, что соседка дежурит в больнице, будет к восьми. А в восемь пятнадцать у папы самолёт, он в полвосьмого уже должен стоять у гастронома, на углу, и ловить такси, а ещё лучше в семь пятнадцать, их так просто сейчас не поймаешь.

Ты молил Бога — Бог почему-то представлялся тебе крокодилом из детской сказки, в плаще и шляпе, а из-под плаща у Бога торчал неопрятно-зеленого цвета хвост, — чтобы папа уехал в Москву, так и не выяснив, какой у соседки телевизор, и чтобы папа вернулся домой

без телевизора. Дело в том, что существа, с недавних пор поселившиеся в бабушкиной комнате за шкафом, поставили тебе как-то ночью довольно жёсткие условия. «Если у бабы Лены будет телевизор,— заявили существа,— тебе, Мишенька, не поздоровится». И ты испугался.

Существа за шкафом вели себя вызывающе: громко и немузыкально пели, гремели сковородками, иногда внаглую включали полотёр. Если бы баба Лена так чудовищно не храпела по ночам, она давно бы обратила внимание на эти бесчинства и, возможно, вызвала бы милицию. Но баба Лена, как назло, ночью громко храпела и присвистывала, а во время непродолжительных пауз бормотала что-то на непонятном языке и горестно вздыхала.

— Алло, Леночка Борисовна?— звонил папа бабушке из Москвы.— Ну что, Леночка Борисовна?

— Кто это?— кричала в трубку тугая на ухо баба Лена.

— Зять Фима беспокоит,— отвечал папа.— Из гостиницы «Минск». Ну что? Только бикицер, Леночка Борисовна!

— «Рубин»!— кричала баба Лена, отбивая нетерпеливую чечётку в тёмном коридоре коммуналки, где даже летом гуляли опасные для здоровья сквозняки, а ведь дело шло к зиме.— «401-й Рубин», по диагонали!

— Бузздделано,— бодро отвечал папа и подмигивал какой-то тёте, сидящей у него в номере на неприбранной кровати.

— У меня не зять, а чистой воды золото!— кричала баба Лена в трубку.

— Чтоб вы-таки знали,— отвечал папа и, наклонившись над тётей, трогал её шею.

— Громче говори, очень плохая слышимость!

Тебе хотелось плакать. Теперь от этих тварей тебе точно покоя не будет. Что же делать, что же делать, что-то же надо делать? Нельзя вот так сидеть сложа руки и ничего не делать. А что делать? Рассказать обо всём бабе Лене? Рассказывал уже. Она в ответ только смеялась и сверкала золотыми зубами. Попросить у мамы и папы разрешения спать с ними? Просил, но мама сказала, что, во-первых, ты уже не ребёнок, а во-вторых, папа ночью очень громко храпит, ещё громче бабушки, и ты просто не сможешь заснуть из-за его храпа. Вот и маме папа часто мешает спать, и ей даже приходится на него прикрикивать. И действительно, ночью ты иногда слышал, как мама

за стенкой громко и прерывисто кричит и даже трясёт спинку кровати,— и всё для того, чтобы папа проснулся. Но всё равно, рассуждал ты, лучше папин храп, чем эти твари поганые. Твари представлялись тебе так или иначе связанными с Богом в плаще и шляпе. То ли они были заодно с последним, то ли между ними была вражда на неизвестной тебе почве — всё это было весьма и весьма туманно.

Через неделю папа вернулся из Москвы с телевизором для бабушки, костюмом «джерси» для мамы и чехословацкой игрушкой-роботом для тебя. У робота горели глаза, он жужжал, натыкался на ножки стульев и торшера, падал, но тут же поднимался и упрямо шёл вперёд.

— Чешский Ванька-встанька,— шутливо пояснял папа.— Или по-ихнему: Ян-повстан.

Все, кроме мамы, смеялись. Ты тоже смеялся, игрушка тебе нравилась, хотя соль шутки была непонятной.

— Скажи ещё: Ванька-в-Таньке,— подключалась к разговору баба Лена, на секунду отрываясь от Каплера в белой водолазке.

— Ванька-в-Таньке — это ничего,— хмыкал папа.

— Мама, смотри лучше свою «Панораму». Взять и при ребёнке ляпнуть такое.

— А что я сказала?

— Ванька-в-танке!— говорил ты и заводил своего нового чешского друга.

— Ну вот, теперь он во дворе будет повторять.

— Там без мягкого знака значение меняется,— говорил папа.

— Не может быть!— язвила мама.— Да ты у нас просто какой-то Даль без палочки.

— Так в таньке или в танке?— уточнял ты из-под стола.

— А знаешь ли ты, мой друг Михаил,— переводил разговор в познавательное русло папа,— что слово «робот» чешского происхождения? Да, представь себе,— чешского! Дело в том, что лет пятьдесят назад жил да был на свете один писатель, и звали его Карел Чапек…

Действительно, сколько раз можно повторять одно и то же действие? Всё уже было однажды, или это только кажется, что всё уже было однажды? Когда в космос полетел человек, ты подумал: «Ну и что? Что тут такого? Давно уже летают все». Самолёты летают, ты это сам видел, когда провожал родителей в отпуск. Подумаешь: космос! А небо между Одессой и Ленинградом — чем не космос? А вертолёты? Чуть ли не каждый день, особенно летом, ты видел в небе вертолёт.

Или, когда масло папе в «Победе» меняли. Ты остался в машине и вдруг услышал по радио, что убили Кеннеди. «Ну, сколько можно! — подумал ты. — Ведь его уже убивали один раз. Что у них из Америки других новостей нет?» Потом папа сказал, что это другой Кеннеди, их там, в правящих кругах США, несколько человек под такой фамилией. И ещё папа сказал, что проблем везде хватает, а Эльдорадо на карте искать — только глаза себе портить. Про Эльдорадо ты не понял, а новость про Кеннеди тебя расстроила…

Ночью, когда баба Лена уже вовсю храпела, из-за шкафа до тебя стали доноситься голоса. Говорили трое. Мужчина, старик — или старуха, по голосу невозможно было определить, кто именно, — и девочка примерно твоего возраста. И все они были зашкафные монстры.

Монстры говорили: телевидение смерть несёт людям. И разруху серого вещества несёт, и микроинфаркты по второму каналу. И детей в дебилов превращает, и в эпилептиков досрочно. А ведь это наша сфера влияния. И конкуренты нам до лампады.

— И помощники на фиг не нужны! Сами с усами! — кипятилась девочка.

— Стараемся, блеять, заморозить время, стараемся лавочку закрыть на переучёт, чтоб не повторялось всё, как белка в колесе, а благодарности, блеять, — ну, нуль без папочки, — раздражённо говорил мужчина-монстр.

— Там хорошо, где вас мало, — ни к селу ни к городу добавил не то старик, не то старуха, почему-то при этом картавя.

И тут девочка-монстр отчётливо произнесла:

— Твоя бабушка откинет копытца, когда ты, Мишенька, перейдёшь в седьмой класс. Попомнишь нас ещё. А сам смотри — пойдёшь в своего папочку, земную жизнь ты фиг пройдёшь до половины…

И ты громко закричал и разбудил бабу Лену и спрашивал у неё сквозь слёзы про копыта, и что означает «блеять», — и баба Лена успокаивала тебя, и кипятила молоко на кухне, и ты пил его большими глотками, и всхлипывал, и просил немедленно, сию же минуту отдать телевизор кандидату медицинских наук урологу д-ру Айзенбергу Я. Б. со второго этажа. Доктор Айзенберг не позволял нам во дворе играть в футбол и постоянно грозил проткнуть ваш резиновый мяч шилом, которое носил в специальном футляре. Так пусть лучше у него эти неприятности с зашкафными гадами будут. Он думает, если он уролог и защитил диссертацию про мочевой канал, так ему всё можно!

Баба Лена умерла, когда ты перешёл в девятый класс. В девятом классе ты уже знал, что такое откинуть копыта, и что «блеять» — это обычное «блядь», но о предсказании девочки-монстра ты забыл начисто. Возможно, потому что предсказание оказалось настолько запоздавшим, что и предсказанием его назвать нельзя было, а может быть, потому что занимали тебя в то время предметы совершенно иные. Например, приталенные рубашки противоположного пола и всё, что под ними сосредоточено, шестиструнная, с трудом настроенная гитара, и песня «Кент Бабилон» знаменитой ливерпульской четвёрки «Жуки».

Четвёрка эта появилась неожиданно, и как всё на свете, — точнее, на одной шестой его части — с большим опозданием: сначала на фотографиях у ребят постарше, потом в гитарных ритмах, доносящихся из распахнутых в конце апреля окон, потом всё ближе, ближе... И как ни странно, одновременно с противоположным полом, так что и не поймёшь, дополняла ли четвёрка этот самый пол, озвучивала его, или каким-то образом пол стал одним из проявлений четвёрки, но то, что в область запретного одновременно вошли и девочки, и четвёрка — это несомненно. «Битлз» поначалу были не столько музыкальным явлением, сколько тем, за что склоняют на педсовете. Битл — это то, что нельзя, то, что плохо, за это могут выгнать из школы, или оставить на второй год. «Что ты ходишь как битл нечёсаный, хочешь, чтоб вши в голове завелись? А ну, марш в парикмахерскую!» «Ты что, мусорщиком всю жизнь хочешь вкалывать, как битл какой-то? Тогда учись как человек».

— О чём они поют? — спросил ты однажды у папы. Папа был немного полиглот, ну совсем чуть-чуть. Прослушав с минуту запись на пластинке фирмы «Мелодия» (англ. народн. песня «Девушка», аранж. вокально-инструментального ансамбля «Битлз»), он сделал вольный перевод с аннотациями: «Эти великобританские горлопаны поют о девочках-девочках, одетых в английские слова и выражения». И чуть подумав, добавил: «А вот тут у них — деепричастные обороты». Но не показал где.

В Ливерпуле, в ресторане,
В белых пиджаках —
Там сидят четыре битла
С гитарами в руках.

Как предсказуемо, однако, западная поп-культура преломилась и раскрошилась в ресторанных красивостях провинциального южного города! В белых пиджаках, в ресторанах, с гитарами и, скорее всего, с недоеденными котлетами по-киевски и картофелем-фри, плавающем в остывающем жире. (— Джон, ещё оливье»? — «Йе-йе! А впрочем, ноу, спасибо, Ринго, я сыт. — Ну, тогда по кофе-гляссе, и — гетбэк?).

Кент Бабилон! Он!

В девушку одну влюблён!

Когда ты стал встречаться с Дианкой из параллельного класса, в 72-м или 73-м? Точнее, когда она стала встречаться с тобой?

Ты боялся к ней подойти: её замшевая мини-юбка создавала поле, в котором ты ощущал известный дискомфорт, доходивший до лёгкого паралича с частичной потерей речи, а взамен приобретал нежелательную потливость. (Что касается колен над гольфами девушки, то это статья особая, волнующе-выпуклая, в ссадинах и царапинах, и статья эта так же не располагала к непринуждённой беседе. Наоборот: скорее к вздохам, как в той самой «Девушке» с пластинки фирмы «Мелодия»). Поэтому, когда она сама подошла к тебе на перемене, и ни с того ни с сего:

— «Солярис» смотрел уже? — спросила, ты пролепетал:

— Да, то есть «Солярис» — нет, кино не видел, но иногда я думаю…

— Иногда? Умница. А фильм, между прочим, — туши свет, кидай гранату.

— Я на наши почти совсем не хожу, то есть. Ну то есть исключения бывают, конечно, не без этого, но стараюсь — мало. Мало всё же заслуживающих есть, то есть… (Любая глупость, любая неправда, только, чтобы показаться интересным). «Блондин в чёрном ботинке» — вот это вещь.

— Издеваешься?

Ты украдкой наблюдал за её губами, следил за движением языка, слова значили совсем немного.

— Ты и «Рублёва» не смотрел?

— Честно говоря, нет. (Неправда. Два раза смотрел, один раз казённил контрольную по обществоведению даже. Зачем столько лгать? Чтобы понравиться, для этого, да? Да.)

— Ну ты даёшь! Обещай, что посмотришь «Солярис». Хочешь, вместе сходим?

— Ладно. (ХОЧУ!)

— Я там, правда, в сцену с ухом не очень врубилась. Там ухо крупным планом и долго. Это я не очень. Ухо, представляешь?

— Надо же.

Ты был всецело поглощён её зубами, почему-то очень хотелось их потрогать.

«Солярис» понравился с оговорками. Про ухо, действительно, непонятно было. Изыски? Тайный смысл? Но какой? Имеющий уши да услышит? Сомнительно. Хотя ей ты сказал, что фильм гениальный. Гениальный, за исключением уха крупным планом. Ухо непонятно было.

Перед экзаменами вы с ней что-то зубрили про шар с конусом, потом делали «шпоры», потом она пришивала носовой платок к подкладке твоего вельветового двубортного пиджака — для конспекта конспиративного, а ты всё доставал её, что ты, мол, художник, каких мало, и она это когда-нибудь поймёт и оценит, но жить на тот момент ты будешь далеко, и тогда она сказала: хочешь, я тебе попозирую? Давай, сказал ты.

На улице зажигали фонари. Где-то рядом неприятно смеялись дети, чей-то хриплый голос настаивал: «А что, Лиду совсем нельзя?» — «Я же вам, кажется, уже сказала, молодой человек: Лида моет голову».

Она стала позировать у окна на стуле. Речь шла только о портрете, но она стянула с себя синюю футболку. Если лица тебе кое-как удавались ещё, то к её торсу ты был подготовлен слабо. К тому же очень отвлекали торчащие в разные стороны острые груди. Что-то ты там изобразил такое фломастером на бумаге, подписал, поставил дату. Она мельком взглянула на портрет, кивнула, улыбнулась. Кстати, когда она позировала, она тоже улыбалась, причём на щеках её появлялись ямочки.

Поздно вечером ты провожал её домой. Когда вы остановились перед её подъездом — она жила на бульваре — ты вспомнил, что портрет она забыла у тебя.

— Ничего, — сказала она. — Зайду в другой раз.

Вы поцеловались, и тут она шепнула, что ради тебя готова была отказаться от туфель на каблуке — она была чуть выше тебя ростом.

Ты отшутился:

— Боже, какие жертвы!

— Дурак, — тихо сказала она.

Когда вы разделись, она всё спрашивала, каково тебе будет переспать с женщиной, которую ты знал ребёнком, а ты отвечал, что не знал ты её ребёнком, вы всего пару лет знакомы, ты перевёлся к ним из другой школы, а она сказала: ну да, пару лет! а ты сказал: конечно, день рождения у Толика помнишь, два года назад, там мы и познакомились, а она сказала: какого Толика? а ты сказал: пить меньше надо, ты тогда ещё с Сашкой Rocky Raccoon под гитару пела, а она сказала: ну и что, я с ним Rocky Raccoon на каждом сходняке пою, а ты сказал: не знал я тебя ребёнком, а она сказала: врёшь, знал.

1996

WISH YOU WERE HERE:
Несколько открыток с видами Нью-Йорка

1

Приезжаешь в незнакомый город. Но ведь он не совсем незнакомый: что-то ты слышал о нём, что-то читал, открытки разглядывал, листал журнал «Америка».

Значит, приезжаешь в не совсем незнакомый город.

Ещё до панков с их разноцветными петушиными гребешками и кожаными куртками, в детстве на глаза попадались пожилые ухоженные женщины в нежно-голубых шиньонах и с дымящимися сигаретами в ярко напомаженных губах. И это были туристки из Бронкса или Аризоны, толстобедрым гуртом высыпающиеся из автобусов у гостиницы «Чёрное море». Протопанки такие. Типа какаду, но с жевательными резинками и шариковыми ручками, которые ты беззастенчиво у них клянчил, позабыв о пионерской гордости.

Как Лорка приехал в Нью-Йорк и отправился в Гарлем слушать джаз. Как Маяковский приехал и позвонил Бурлюку. Как Ильф и Петров приехали и встретились с Хемингуэем. Как ты приехал — и что? И ничего. Знаменитость всё время везут куда-то: знакомить с тем-то, выступать там-то. А незнаменитость никуда не везут. Незнамени-

тость сама едет. И часто не туда заезжает. (Папа вообще в сабвее плохо ориентировался и поэтому на всех сердился).

В Москве — тоже ведь другой город — на зимние каникулы всё было не так. Раздвигал в гостинице шторы, а за окном вместо сберкассы и колбасного — всё другое. Другое осознаёшь, когда за привычным (скажем, жестом) следует непривычное (допустим, вид). Переступаешь порог, а температура воздуха и номер троллейбуса — не те. И молоко перед сном вовсе «Можайское» какое-то. Другой город хочешь запомнить до мельчайших, потому что знаешь: тебе в нём не жить. А город, в котором жить — ещё успеешь запомнить, куда торопиться? «Эмпайр Стейт Билдинг»? Успеется. Так и не побывал.

Не совсем незнакомый город до прибытия, а иногда и после — являет собой сумму запомнившихся о нём цитат. Со временем они овеществляются, реальность привносит свои поправки, но цитатный привкус остаётся. Возглас Леннона «Down in the Village!» на альбоме «Some Time In New York City» перестаёт быть неверно истолкованным кличем «Назад к природе!», и становится — по прибытии — тем, чем он и был для автора: ссылкой на район в Нижнем Манхэттене. Там же, в Виллидже, бродила ещё одна цитата: сэлинджеровский Холден Колфилд.

Цитатное восприятие города — частный случай туристического способа существования. Город, в котором ты проездом — это не город супермаркетов и банковских очередей, но город, в котором жила сестра Керри и герои О. Генри. И в цитатном Централ-Парке не ночуют бездомные и не бесчинствуют подростки, но прогуливаются возлюбленные вудиалленовского «Манхэттена» и тот же Холден меланхолично гадает, куда исчезают утки зимой, когда замерзает озеро.

— А вот то самое озеро, где Холден… — сказала вам девушка-возница во время полночной поездки по Централ-Парку летом 1978-го. — А вот, — и она указала на высокий дом на западной стороне, — знаменитая «Дакота», где живёт Леннон и где снимали «Ребёнок Розмари».

Два года спустя Марк Дейвид Чэпмен оставил на мокром асфальте у входа в «Дакоту» помятую книжку «Над пропастью во ржи». Так две цитаты, перечеркнув друг друга, сплелись, чудовищным образом, в одну. Так город навсегда лишился привкуса цитатности, став раскавыченным, твоим.

Город, несчастья которого — твои, — уже не цитата.

2

Первая работа: издательство «Doubleday». Паковал книги, рукописи. Первые отправлял рецензентам, вторые — авторам, с припиской «Спасибо, не надо», или: «Написано неплохо. Спасибо, не надо».

Первые радости: по средам распродажа книг для сотрудников. В твёрдой обложке — «квотер», в мягкой — «дайм».

Первые встречи: в коридоре с Жаклин Онассис. Немолодая, но ещё очень ничего. Работала редактором. В очереди в кафетерии пристроился за взлохмаченным дядечкой с гончаровскими бакенбардами. Оказался Азимовым. Тоже приятно.

Появилась девушка. Теперь у вас ланч вместе. Поцелуи, бутерброды. Толстых голубей у библиотеки вы называете «торчками»: в парке рядом продают всё что душе угодно, и голубям тоже иногда перепадает. Однажды и ты не устоял. Весь день паковал потом спустя рукава.

Познакомились вы во время «блэкаута» (аварии энергосистемы). В тот день жара была градусов 100, и у «ConEdison'а» сдали нервы.

3

Ты сидел в прохладном кинотеатрике на 42-й и 7-й и пытался нащупать сюжетную канву фильма Pop My Cherry, Dirty Harry. Ты опоздал: минут пять топтался у входа, не мог решиться купить билет у старушки в окне с надписью «air-conditioned». Обычно в окошке сидел заплывший жиром бритоголовый дядечка в кожаной куртке или тощий подросток-негр, и вдруг — пожилая приличная дама.

Неожиданно пуэрториканского вида паренёк с папкой подмышкой ускорил ход событий. Паренёк пробегал мимо, и чтобы раззадорить женщину — в кино он явно не собирался, — остановился на секунду и звонко, как-то по-бойскаутски спросил:

— А там что — е…я, бабушка?

— Е…я, сынок, ой, е…я! — ответила ему в тон старушка, и озорно причмокнула.

Пуэрториканский юноша хохотнул и побежал дальше, а ты решительно приблизился к кассе и протянул женщине четыре доллара.

Сел ты где-то посередине — равноудалённый от задних рядов, где молодые пары помогали друг другу сопереживать героям на экране, — и от передних, где люди пенсионного возраста с этой задачей справ-

лялись своими силами. Нехитрую эту тактику — выбор места — ты освоил без труда, поскольку первые полгода в Нью-Йорке, кроме порнухи, не смотрел ничего.

Вдруг стоны извивающихся актрис растянулись и поплыли, будто в самый неподходящий момент им пришла в голову мысль блевануть друг другу в рот. Свет на экране погас, однако в зале его не включили, а на улице взвыли сирены пожарных машин. Ты даже на секунду подумал, что началась война.

Чуть погодя, в очереди к кассе ты успокоился, услышав слово «блэкаут», чередуемое с «лайтс аут». «Лайтс аут» ты уже знал, а «блэкаут», судя по всему, было чем-то семантически близким. Да и не раздавала бы старушка-кассирша билеты всем желающим досмотреть историю любви сан-францисского мотоциклиста Гарри и трёх медсестер-нудисток, если б и впрямь началась война.

Суматоха на улице была из ряда вон. Слышался звон разбитого стекла. Где-то вдали горела тележка с хот-догами. Возгласы: «Loose joints, check ‘em out!» раздавались громче обычного. Люди парами и в одиночку перебегали улицу с предметами разных габаритов, в которых угадывались: телевизоры, небольшие стиральные машины, лампы, пылесосы. Значит, верила криминальная прослойка и временно примкнувшие к ней любители бесплатной бытовой техники, что электричество вернётся и жизнь нормализуется.

Через неделю газеты сравнивали ущерб, нанесённый городу в те дни, с ущербом в результате «блэкаута» десятилетней давности. И оказалось, что десять лет назад всё было относительно спокойно, и ты сказал ей: неужели всем тогда жилось настолько лучше, чем сейчас, неужели так народ за это время распустился. А она сказала: вчера всегда намного лучше, чем сегодня, даже если спать при свете. И ещё она сказала: светлое будущее — это светлое настоящее минус расходы на электричество, а ты подумал: шизанутая, но симпатичная.

Заметил ты её в сабвее. Там было так же душно, как на улице, но только там и был свет.

4

Ваша личная жизнь протекала тоже большей частью в кино. Сначала вы по разным закоулкам тискались, и ты уже залезал к ней под блузку, как к себе домой, но она говорила, что это у вас всё по-дет-

ски как-то, и так вы толком никогда не трахнетесь. Это слово покоробило. У вас в городе так не говорили. Говорили: пилиться, хариться. Последнее было вульгарно, но вульгарность ты предпочитал обыденности. «Трахаться» было обыденно. Но эта же обыденность и привлекала. Привлекала её раскованность. Но если нет машины, а дома предки, то где тогда?

На «Звёздных войнах» не вышло из-за шумных спецэффектов и визжащих детей. Ни те и ни другие не располагали. На диановском «Рейнальдо и Клара» в «Waverly» сиденья оказались неудобными, да и фильм непонятный какой-то, поди разбери, кто там Рейнальдо, кто Клара. И наконец: о, желанный миг! в «Bleecker Cinema», изловчившись, чуть ли не на корточках, она довела тебя до белого каления на «Конформисте», и ты беззвучно кончил в ведёрко для поп-корна во время знаменитой сцены в лесу. Сцена поразила тебя своей театральностью, чуть ли не опернostью какой-то. Ты ей потом в фалафельной напротив рассказал всё в лицах. «Ух ты!» — ей пересказ понравился, но не понравилось, что она столько пропустила. «А разве ты свой кайф не поимела?» — «Да как тебе сказать… — неопределённый жест. — Лёжа как-то демократичней выходит». «Лёжа — это надо, чтоб было, где лечь, — сказал ты. — Аренду потянем?» Она повторила жест.

Квартиру искали долго, всё было дорого. Бруклин ей не нравился. «Бруклин — значит, навсегда остаться эмигрантом», — говорила она. Нашли агента в Джексон-Хайтс, хотели натянуть его, но вышло наоборот: подсунул нечто очень тёмное (хотя, когда смотрели, казалось светлым), дороже, чем планировали, и ко всему — над дайнером: дым от гамбургеров мешал смотреть телевизор, окна не выходили никуда. Буквально никуда: на новоселье после секса на чемоданах, с третьей попытки тебе удалось открыть окно и… ты ничего не увидел. В глазах был сплошной кирпич, и очень хотелось пить.

1998

STATUS QUO

На пляже вулканического происхождения Лида маленькая оглядывалась, снимала лифчик, обнаруживала два бледных батона по 13 копеек штука, поворачивалась и так, и эдак, и сумела

наконец пленить одного красивого отдыхающего по имени Цветан. Цветан дарил ей греческие духи, звал в кино на Фернанделя, громко восторгался закатом — и выжидал.

Лида тоже выжидала. Прошлой зимой она похоронила любовника — его сбил пьяный автомобилист — и потому сомневалась: можно уже или ещё повременить следует.

Однажды вечером, после того как Цветану надоело выжидать и у них с Лидой случилось *это*, краснолицый грек-бармен в белой майке растирал для них холодный эспрессо с сахаром и что-то насвистывал, кажется, «Сиртаки» в регговой обработке.

Потом они уехали с островка и стали бродяжничать. В ночном поезде Венеция-Вена Лида заметила, что Цветан редко меняет трусы, и решила ему сказать об этом. Её покойный любовник был чистюлей, каких мало.

— В том-то и дело, что был, — сказал Цветан. — Сейчас, небось, совсем за собой не следит.

— Идиот, — обиделась Лида.

Когда сломали железный занавес, Лида отправилась на заработки в Мадрид, пела там частушки про Перестройку, жонглировала с труппой лилипутов из Душанбе, короче, бедствовала. Её покойный любовник подцепил Лиду в парке Ретиро, у памятника Альфонсу Двенадцатому. Любовник был американский негр, немного знавший по-русски.

— Запомни, вонючка: Once you tried black, there's no going back, — сказала Лида Цветану, всё ещё дуясь.

— Тебе что-то не нравится? — спросил Цветан Лиду уже на эскалаторе.

— Чаще трусы стирают, — ответила она ему в гостинице. — Особенно в такую жару.

— Покурю и постираю, — пообещал Цветан, не зная, как от неё отделаться. Он работал на железной дороге, объездил пол-Европы по льготному тарифу, и увидеть мир для него было важнее, чем пахнуть, как болгарская роза. Так он ей и сказал.

— Увидеть мир, детка, для меня важнее, чем пахнуть, как московские ландыши.

— Детку засунь себе в жопку, — огрызнулась молодая женщина.

Из гостиницы она позвонила сестре в Саратов. Она звонила ей из каждого города.

— Анька! Чё прикольного, проститутка? Писюха, скажи мамке, тут такие магазьки! Ёкалэмене, Нюш!

Лида крепко стала доставать Цветана. К трусам вот привязалась. А может, ему вообще её бельё не нравится. Чистое, грязное — не нравится, и всё. Рюшики, бантики, ёкалэмене. И предлоги не такие, как в болгарском.

Цветан вышел на балкон. Ещё один город — и деньги совсем капут, подумал он и вспомнил жену, которую оставил в Софии. Она сошла с ума, лекарства и врачи не помогали, и он решил её бросить. Но не сразу, конечно. Сначала ухаживал, навещал. Она называла себя любовницей Гитлера, не Евой Браун, а другой, совсем молоденькой, о которой ещё не знают историки. Извивалась в руках санитаров: «Он хотел подарить мне Польшу, а я, дура, отказывалась. Теперь вот локти кусаю». Цветан не выдержал, бросил её… А вдруг она действительно была любовницей Гитлера? Постойте-ка. Кристина родилась в 49-м. М-да, нестыковочка. Но ведь существуют так называемые пренатальные привязанности и увлечения. Как с ними быть? Игнорировать? Господи, о чём я… Так сходят с ума. А эта всё трындит и трындит по телефону… А может быть, они уже не в Вене, а в Праге, пьют наравне с новыми чехами, осматривают Старый город? И с холма по ту сторону реки спускается небритый мужчина в кремовом пальто и говорит упавшим голосом: «Всё кончено». А внизу всё: «Что, что кончено?» А он им: вы что, оглохли? Я же, кажется, ясно сказал: всё.

История, бесконечная, как греческий танец «Сиртаки». История, не переходящая в повествование. История о том, как русская женщина у болгарина деньги воровала, пока тот курил на балконе, а болгарин восстанавливал status quo, пока она стирала бельё.

2002

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА

Джо «Крепкий орешек» Финк с задержками, полупорожним товарняком добрался до города, где он, по словам Дианы «Зябко ль тебе, девица» Нойз, в детские годы х… груши околачивал. У них был небольшой садовый участок. Кулаки у Дианы были крепкие,

румяные, в фойе кинотеатра «Смена» пломбиром баловалась, а ему глаза закапали: не поймёшь, кто там в главных ролях, кто в эпизодах.

Джо шёл по незнакомому городу. Под ноги с карнизов что-то сыпалось. «Где ж/д, не подскажете?» — остановила его хромая девушка в брючном костюме. Он не понял, пожал плечами: «Это вас нужно спросить». Она на него уставилась, будто рукоятка от мясорубки у него из уха торчала.

Джо зашёл в тёмный дворик. «Мальчик, где тут такие Люсик и Всеволод Пакчаяны живут?» — «Так это ж мои дядья!» — мальчик с балкона чуть не слетел. «Шутишь?» — «Бля буду». И мальчик сбросил ему связку ключей с запиской: «Поднимайся, скоро будем, не скучай и мальца, и мальца не замечай».

Мальчик молча откупорил бутылку «Курвуазье», тяпнули по одной, тяпнули по другой, потом в последние слова играть стали.

— «Больше света»?

— Эдисон?

— Гёте. «Вон отсюда»?

— Маркс.

— Правильно. Кант?

— Не знаю.

— «Хорошо». Абеляр?

— Не знаю.

— Правильно.

Вконец Джо запутался. Налили по третьей.

— Люсик у нас комсоргом был, а с Севкой мы вообще… — сказал Джо.

Пришли Люсик и Всеволод, постаревшие, стали про Америку расспрашивать. «Ну что Америка, — отвечал Джо. — Америка как Америка. Что у вас тут?» Люсик и Всеволод крутились как могли: купили дом на Паскудова, выселили пенсионеров, первый этаж под банк сдали, но банк прогорел и этаж пустовал. Где-то на пол-лимона залетели. Люсик что-то вспомнил, исчез в спальне, вернулся с чашкой в форме биде, из которой Диана когда-то любила чай пить.

— А сама леди Дай как? — спросил Всеволод.

— Кому как, — сказал Джо. Три года назад Диана ушла от него к известному художнику-активисту, который неделями нагишом на полу галереи просиживал, питаясь одними хот-догами в окружении тикающих будильников, а под конец перформанса обмазывался горчицей и предлагал посетителям полизать. Многие отказывались, Диана

не устояла. Будильники показывали точное время в столицах стран «большой восьмёрки». Жемшича, или как его, даже на биенале в Белград приглашали, так он был актуален.

— Опаньки,— сказал Джо.— Я же на кладбище собирался.

— Не рано ли?— воскликнули Люсик и Всеволод.

— Мне к дяде Коте.

Дядя Котя был заядлым курильщиком, но дотянул до девяносто шести лет. Последними его словами были: «Столько не живут»,— почему-то решил Джо. Памятник оказался у кладбищенской стены, могилка заросла крапивой, следить за ней было некому. Кого бы попросить, подумал Джо. Мальчика?

По кладбищу в поисках родственников бродили иностранцы с букетами георгин, и Джо ощутил себя частью сложной машины для ностальгирующих некро-номадов: здесь дядя лежит, а там его дочь, а тут первая любовь, а тут вторая. Так он Люсику и сказал. (Всеволод остался дома обед готовить).

— Будь проще, Жорка,— ответил Люсик.

— Ещё проще?— спросил Джо и увидел Диану Нойз.

«Чёртова кукла», так прозвал Диану Нойз папа-альпинист доктор Кох. Кох-то Кох, да будь сам неплох, подзуживали его коллеги по эльбрусским пикникам. «Лучше гор могут быть только горы»,— пел старый маразматик под Высоцкого со товарищи. А Диана своевольность выказывала ещё в младенчестве. Златокудрым ребёночком вопила: «Не хочу голубой костюмчик, хочу розовый!» И одевали как миленькие розовый. А он? Заполз год назад на башню Койт в Сан-Франциско, звонил ей оттуда, поёживаясь, из автомата. В ответ ни гугу. Почему не ответила? Он же и трахал её периодически, и подарки дарил, скромные, но от души. В Европу возил, на фестиваль в Верону и в Зальцбург…

— Диана?

— А, привет, Джо! Знакомься: Джо — Жемшич. Жемшич — Джо.

И из-за памятника папе Коху высунулась бритая голова в модных очках.

— Гуд ту мит ю, Джо. Кулплэйс, ха?— осклабилась голова.

— Жемшич хочет тут арт-интервенцию замутить,— объяснила Диана.— Контекст дискурса нащупывает.

— Прямо тут?— спросил Джо.— Кул.

«Какого хрена я отдал пять лет жизни этой арт-дуре?— думал Джо в пакчаяновом «Лексусе».— Мог жениться на ком угодно. Тогда это

было просто. Все были чьи-то знакомые или родственники. Собирались на даче, играли в бутылочку, танцевали».

— А как там, кстати, наш Гарик? — спросил Джо. — У него ещё сестрёнка была, подмётки резала на ходу.

— А что тебе его сестрёнка, старый ты греховодник? В Москве наш Гарик, крутится. А с сестрёнкой, конечно, полный абзац вышел, — и Люсик стал оживлённо размахивать руками. — Одолжила сестрёнка лимон под высокий процент. А партнёр её, кстати, тоже американец, к здешним заморочкам оказался, прямо скажем, не очень…

И тут их что-то сильно стукнуло и подбросило, и развернуло, и заставило перетечь в другое пространство, чуть ли не вечность усечённая их поглотила, выдавив мозг и раскрошив, и невесть откуда вдруг всплыл зоопарк в жаркий полдень, где ты и зритель и экспонат, где за небольшую плату тебе дадут горстку сухого корма, дадут посмотреть (на себя) и погладить (себя же), и потрепать по загривку (тоже себя), а у входа женщины с серьёзными лицами торгуют пыльными арбузами и вырезают из них блестящие на солнце пирамиды и подносят на пробу на острие ножа, только фиг их попробуешь, только губы изрежешь.

Хоронили Джо и Люсика под проливным дождём. Всеволод прижимал к себе мальчика, мальчик всхлипывал, повторял: одна вещь является тождественной другой не по сущности, а в силу их безразличия… Между могилами мелькали зелёные кроссовки Жемшича. Жемшич снимал похороны на цифровую видеокамеру в режиме мягкой фокусировки, а Диана с раскрытым зонтом трусила за ним следом и переводила прощальные слова и молитвы. Дискурс будущей интервенции обретал новое наполнение.

2007

ДЕ КУНИНГ

Незадолго до развода с Вероникой Сергеевной Пётр Андреевич с головой ушёл в свои абстракции: наловчился стрелять по баночкам с гуашью, каковые баночки расставлял на равных расстояниях друг от друга перед холстом, прикнопленным к стене гаража

на два автомобиля, темно-вишневый BMW супруги и собственный, неопределённого цвета Capri. Баночки разлетались в разные стороны, краска разбрызгивалась по холсту, образуя всевозможные абстрактные фигуры: перистые облака в виде всадников, похищающих тучных сабинянок; виноградные лозы, смахивающие на тонконогих твистующих модниц; фижмы кизилового цвета, от которого рябило в глазах.

Пётр Андреевич и раньше любил визуальные искусства и даже немного лепил по выходным, но перспектива существования без супруги заставила его всерьёз взяться за кисть, точнее, за ружьё, чтобы по-новому осмыслить, что же на самом деле есть искусство, а что жизнь. Жена как модель, как объект желания, лишённый третьего измерения, но с авоськами и в бигуди, абстрактная жена a la де Кунинг, неулыбчивая и редко дающая, стала довлеть над всеми его помыслами. После стрельбы Пётр Андреевич относил холсты в сарай, где тщательно, иногда неделями, дорабатывал их, привнося элемент дизайна, а, стало быть, и смысла, в априорно хаотические продукты акционизма, которые он, то ли в шутку, то ли всерьёз, стал именовать арт-артом (или артиллерийским искусством).

Вероника Сергеевна давно намеревалась бросить курить. От плебейского «Парламента» хотела было перейти на ментоловый «Данхилл», но её близкая подруга, преподавательница йоги Кимберли Болик, сообщила ей однажды за фрапуччино, что ментол ещё более вреден для здоровья, чем обычные сигареты, и вот тогда-то полнощёкая и зубастая Вероника Сергеевна решительно затушила последнюю сигарету в чахлом садике при «Старбаксе», поскольку так себе пообещала годом ранее во время пятиминутного приступа кашля в салоне красоты, где работала менеджером. Она разлюбила мужа прошлой осенью и так и сказала ему об этом. Я тебя не люблю, сказала она Петру Андреевичу с брутальной откровенностью. Тот пал духом, но виду не подал, отшутился. Достал из холодильника запотевшую бутылку Carlsberg'a, сделал два больших глотка, потом пошёл по банкам стрелять. Это была для него своего рода арт-арт-терапия.

И вот тут в ожидании более мощного электронного микроскопа появляется в повествовании некий профессор иммунологии, из немцев. Откуда он взялся (Вуппераль?) и как оказался в наших широтах («Люфтганза»?) не помнит никто, но на именины к себе он зазвал всех, хотел со всеми сойтись покороче, чтобы и его все к себе пригла-

шали. Он чувствует необычайный прилив сил на новом месте и раскачивается на каучуковых своих подошвах, приветливо улыбаясь гостям и насвистывая арию Розины из «Севильского цирюльника», а мы стоим с Клер в углу как бедные родственники и не знаем, можно ещё вина или нет, можно тостиков с гусиным паштетом или неловко это, можно пригласить жену немца на танец и кружиться с ней по гостиной, а после, взяв под руку, говорить двусмысленности, пока внизу пытают этого «австро-венгра», бьют его по заросшему щетиной лицу (тапками, но всё равно больно), а Пётр Андреевич рассказывает зевающему в кулак брату виновника о том, как Рональд Рейган ему часы в своё время пожаловал за то, что тот спас жизнь президенту, когда в секретной службе в отделе баллистики стажировался, а Вероника Сергеевна с мамой жили в Джорджтауне, где они и свели знакомство, и он спросил её на первом свидании, скажите, кто ваш любимый режиссёр, только честно, а она смутилась, но нашлась: Билли Уальдер, говорит. Но ранний.

Не так ли и пожилые рассказывают о своей жизни молодым, думая, что молодым это интересно, а молодым это не интересно? Не так ли и вы им о себе, думая, что это о жизни и потому о них тоже, и им это интересно, а это о вас, и никому и даром не нужно? Они кивают, но каждый кивок их — скрытый зевок, не обольщайтесь на этот счёт, прошу вас. Ваша жизнь прошла, и не нужна никому, и не потому лишь, что место было другое и нет его, но и потому, что время было другое, и тоже нет его. Место изменилось, а время прошло. А вы как функция и того, и другого тоже отсутствуете, точнее, другие, и не нужны ни здесь, ни сейчас. Тем более, что то, в чём вы пришли, давно не носит никто. И воротнички сейчас другого фасона, и цвет другой: ярче или вообще салатовый. И вторые подбородки младше тридцати пяти не носят, и мешки под глазами в стиле ретро. И грусть, и усталость, и разочарование.

Она симпатичная, эта немка.

На следующий викенд договорились у Петра Андреевича. Он снова будет показывать часы, которые ему пожаловал Рейган, он всегда их показывает. А Вероника Сергеевна бросила курить и на нервной почве настаивает, чтобы её прижимали в танце. Я готов, но только с Петра Андреевича любезного разрешения. Дело принципа. Потом абстракции пошли.

На полотне фонтан, в фонтане рыбки, на скамейке женщина с коляской, «И один в поле воин» читает, это про разведчика книга. Надо же: стрелял Пётр Андреевич по баночкам и наобум, а настрелял маму с книгой, меня настрелял шестимесячного, городской сад с фонтаном, велосипедистку в чёрном. Или это мальчик на самокате с вытекшим глазом шустрит, не разобрать, но красиво всё и жизненно очень.

Негодяй бьёт свою венгерку-жену и приговаривает: «От так! От так вот! От так вот это вот!» И как таких земля носит на своей зелёной сутулой спине? И куда смотрят соседи в телевизор?

Девушка с букетом принарядилась, ждёт жениха. Притопал хромой чертяка какой-то, долго не отпирала, но засахарилась и воленс-ноленс села к нему на хвост. Он в бумажный стаканчик пискнул только.

Пётр Андреевич в шутливой форме принимает комплименты. Иммунологу работы нравятся, Клер тоже. Хотя тут её склонность не обижать людей скорее сказывается. Отношение Клер к абстрактной живописи я знаю. Что высралось, то и абстракция, заключила она после недавней экспозиции Макса Уолленштайна в Вашингтоне. Тихо, чтобы никто не услышал, заключила.

Теперь так. Давно стало общим местом подтрунивать над современным искусством, лить воду на мельницу апологетам мимесиса и катарсиса, вяло и беспомощно злословить по поводу молниеносного взлёта хорватского перформансиста, имя выскочило, ну, усатого этого, того, что на Гималаях целый месяц в мегафон против глобализации чихал. А жизнь не стоит на месте. Если ещё вчера можно было бездоказательно проводить параллели между удовольствием от скульптур Дж. Кунса начала 90-х и удовольствием Дж. Кунса от его итальянской супруги Чичиолины, то сегодня эти ласковые: fuck that cock! Fuck that cock baby! настоятельно требуют более вдумчивого подхода. «Медведь и полицейский», о чём это? О детерриториализации? О сумме прописью? Да, смешно. И всё? «Мартышка и очки» на Патриарших тоже смешно, но внятно, и мораль есть.

Но где же хозяйка? Вероника Сергеевна что-то показывает брату профессора в гараже, уже минут 20 показывает. Неужели она не выдержала, и они там курят вдвоём? Брат профессора, совсем ещё молодой, неискушённый в житейских вопросах человек, часто краснеет, когда к нему обращаются дамы. Кажется, ему нравится Клер. Он здесь третий год, учится на офтальмолога. Это он задержал «австро-венгра» при попытке перейти границу, причём, совершенно случайно.

Сравнивают землю без урожая с женщиной, оставленной мужем. А с чем сравнить мужчину, оставленного женщиной? С урожаем без земли? Но откуда ему взяться — без земли?

Исчезают люди. Одних находят, других и не ищут. Ещё людей крадёт время. Вот она молодая-привлекательная, а вот у неё уже седые волосы в самых неожиданных местах.

Чёрт в белом трико разгуливает по веранде, всем сулит вечную молодость. Один дурак клюнул. Второй дурак клюнул. Третий не дурак вроде, а ведь тоже клюнул. Сейчас грустит: все друзья померли, позвонить не к кому.

И ещё: двое навеселе, останавливаются, один другому: «Знаешь, что самое главное? Самое главное...» и идут себе дальше. А я стою, но что самое главное — не слышу. Не идти же за ними.

ОБ АВТОРЕ:

Павел Лемберский *(род. 1956, Одесса) — русский писатель. С 1977 года живёт в Нью-Йорке. Окончил филологический факультет Калифорнийского университета в Беркли, затем учился в аспирантуре факультета кино университета Сан-Франциско. Работал в нью-йоркской кино- и радиоиндустрии (2000–2006). Участвовал в кинопроектах режиссёра Джонатана Демме. Со-ведущий передачи «33/45» на нью-йоркском радио.*

Пишет прозу и сценарии на английском и русском языках. Публиковался со статьями и эссе в журналах «Театр» и «Иностранная литература», прозу — в журналах «Соло», «Комментарии», «Новый журнал», «22», Calque, Little Star, Habitus и др.

Победитель международного сетевого конкурса «Русская Америка-2001» в номинациях «большая» и «малая проза».

Рассказы Лемберского были включены в «Антологию современного рассказа, или истории конца века» (Москва, 2000).

Первая книга, «Река № 7», вышла в 2000 году в США. В дальнейшем две книги рассказов Лемберского «Город убывающих пространств» (2002) и «Уникальный случай» (2009) были изданы в России.

Рассказы переведены на многие европейские языки, выходили в России, Америке, Финляндии, Израиле и Германии.

Валентина КОРКИНА

ИЗБРАННОЕ

Ещё дымится век двадцатый
И дым его коричневатый
Мрачит святые образа
И разъедает мне глаза.

Но память всё же негасима:
Я вижу тартар — Хиросиму,
Я вижу Курскую дугу…
Но чем я, чем я помогу
В огне сгоревшим и убитым,
Слетевшим с жизненной орбиты
В бездушный мрак, в небытие?..

Иду по страшной колее,
И жертвы Каина живого,
И люди времени другого
Моё тоскующее слово
Не слышат…

Двадцать первый век:
Расчеловечен человек.

* * *

Материнская да отчая
Неоглядная земля…
Что ни путь — то многоточие,
Крик прощальный журавля.

Что ни путь — то обязательно
Перекрёстки да кресты,
Чей-то палец указательный
От версты и до версты…

Каин

Зачем ты, Каин, Авеля убил?
Таскаешься теперь по белу свету,
Ни матерью, ни Богом не любим,—
Повсюду ты, хотя тебя и нету.

Зачем ты, Каин, Авеля убил?
Как много на земле теперь могил
Безвинно убиенных!
Ты — учитель
Убийц и палачей, их предводитель.

Неужто зависть равнозначна злу,
И твой поступок вовсе не случаен?
…Кому грозишь ножом ты на углу,
За кем бежишь с обрезом по селу,
Кого взрываешь на стоянке, Каин?

* * *

А нам и вспомнить вроде нечего.
Всего-то: озеро, гроза,
Безмерный день с утра до вечера
И долгий взгляд — глаза в глаза.

Всё остальное — мрак и тайна,
Безумье, жажда забытья,
И если вспомнится случайно,—
То вздрогнешь ты и вздрогну я.

Смутное мгновение

Что за смутное мгновение?
То ли воздуха смятение,
Слабый стон в ночной тиши.
То ли слышу горесть пения,
То ли чувствую томление
Чьей-то раненой души.

Кто ты, где ты, человече?
Как обнять тебя за плечи,
Что промолвить перед сном?
Ведь, бывает, слово лечит…

Не слыхать ответной речи…
Двор безлюдный… Спящий дом…

* * *

Уходят в никуда,
Из ниоткуда
Возникшие мгновения…
А я
Ловлю себя на чаянии чуда,
На страстной жажде инобытия,
Где время спит, как в панцире улитка,
Где людям неизвестен смертный страх;
И детская счастливая улыбка
У каждого сияет на губах.

* * *

Полночное небо и рокот прибоя…
О, сердцебиение звёзд и волны,
Я слышу не слухом тебя, а судьбою,
Всей сутью открытой её глубины.

Полночное небо и рокот прибоя…
Забыться — и слушать, и в небо смотреть…
В согласии с миром певучим, с собою —
Такою бессмысленной кажется смерть!

Об авторе

Валентина Коркина *окончила факультет журналистики МГУ. Автор двенадцати поэтических книг. Одна из них — «Открытая даль» — выпущена также в аудио формате. Член Союза писателей России. Живёт в Курске.*

Стихи публиковались в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Север», «Волга», «Подъём», «Дальний Восток», «Литературный меридиан», «Симбирскъ», «Эдита» (Германия), в Русском литературном журнале «На любителя» (г. Атланта, США) и других, в альманахах и антологиях. Стихи переводились на болгарский, украинский, грузинский, осетинский, таджикский и табасаранский языки.

Лауреат Литературной премии имени Е.И. Носова (2011 г.). Лауреат сайта «Российский писатель» за 2016 и 2020 гг. в номинации «Поэзия».

Лазарь МАРМУР

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

Оно придёт, не помнящее зла,
Не знающее боли поколенье,
Которое, хоть крови по колено,
Восторженно проголосует «За».

Разыщутся и флаги, и значки,
Найдутся и пророки, и гомеры,
Заплатится за «счастье» полной мерой,
Такой, чтобы под самые зрачки.

А дальше — голод, войны, реки вспять,
Расстрелы, лагеря и лженауки…
Простят их дети, проклянут их внуки.
А правнуки затеют всё опять.

* * *

Что ты отдашь за внуков и детей,
За женщину, которой нет дороже,
За каждый день, что с ними рядом прожит,
Пусть даже без особенных затей?

Какую цену ты платить готов,
Чтоб им спокойно жить на этом свете?..
Мне страшно даже думать об ответе,
И Бог нам в помощь не узнать о том.

Civil War

Иные времена,
Чужие имена,
Переплетенье подлости и чести.
Гражданская война,
Опять ничья вина.
Никто не виноват, когда все вместе.

Что осень, что весна,
А кровь у всех красна,
Наотмашь бьют, пока хватает силы.
Гражданская война,
Традиции верна,
Пакует население в могилы.

И каждому своё
Картечью пропоёт…
Южане, северяне — всё едино.
Гражданская война
Всегда себе верна,
Пожарами кончая поединок.

Устроилась страна,
На все концы равна,
И уравняла памятником павших.
Но до сих пор видна
Гражданская война
На непокорных флагах проигравших.

* * *

Ангел мой, душа моя,
Сквозь застиранную просинь
Снова зябко дышит осень
И пугая, и маня.
Ангел мой, душа моя.

Вот закончилось тепло,
Тише улица под вечер,
В ожиданьи скорой встречи
Дышит Новый год в стекло.

Это просто холода
Город мой берут в оковы.
С Новым годом, с Новым, с Новым…
Точно семечки — года.
Ангел мой, душа моя,
Я, поверь, не жду совета.
Просто грустно, просто лето
Закатилось за моря.
Ангел мой, душа моя.

* * *

Мы отлучены от языка,
На котором наши предки жили,
На котором плакали, любили,
Саваны и распашонки шили,
Говорили долгие века.

Но однажды выплывет словцо,
Как звезда из облака ночного,
И сверкнёт, как мамино кольцо,
И склонится над моим лицом,
И поманит, и заплачет снова.

Сонет

У дьявола все игры — поддавки…
Прекрасный вечер, соловьи-синички,
И девочка, воздушные реснички,
На мальчика глядит из-под руки.

К вечерней зорьке вышли рыбаки,
С закуски начиная по привычке,
Передают, прикуривая, спички,
Подвязывают к лескам поплавки.

В кустах сирени, на пустой скамье,
Вдруг вспомнив об оставленной семье,
Затих последний пьяный, пригорюнясь.
Погашен свет на третьем этаже,
И вот она закончилась уже,
Суббота,
Двадцать первое июня.

* * *

Давным-давно. Ещё тогда. В иной уже эпохе,
Цыганка, за руку схватив, гадала на ходу.
Сказала: буду долго жить, и всё не так уж плохо,
Куда дорога приведёт, там счастье и найду.

Её, наверно, нет давно, уже тогда — старуха.
Чертям ли ангелам она гадает день за днём.
А мне б её сейчас найти, поцеловать ей руку,
И целый табор напоить и водкой, и вином.

* * *

Хоронили старика,
В орденах, но без салюта.
Сыновья фронтовика
На гостей глядели люто.
«Чем, мол, батя виноват,
Чем плохи его анкеты,
Заградительный отряд
Ближе к фронту, чем ташкенты.
Воевал и там, и тут,
Исполнитель приговора.
На колымском злом ветру
Дослужился до майора.
В чём же батина вина,
Вся страна была такая,
Та великая страна,
От Курил и до Тракая».

Ветераны славных лет
Пили дармовую водку,
Доедали винегрет
С иноземною селёдкой.
Говорили о судьбе,
О мужской надёжной дружбе
Чемпионы по стрельбе,
Соучастники по службе.

Хоронили палача,
А над городом, как знамя,
Поминальная свеча
Убаюкивала пламя.
И темнели на плечах
Кровью травленные звёзды.
Хоронили палача.

* * *

Я починяю платье для «Эсфири»,
Для внучки, у неё такая роль.
Здесь делаю поуже, там пошире,
В любой починке дед — её король.

Ей пять уже. Ей надо быть красивей
Её подруг, прекрасных как она,
Смешных весёлых девочек «Эсфирей»
К кому с улыбкой жизнь обращена.

Мой дед-портной, тот Мойша из Одессы,
Кто вынес, выжил, выдюжил свой век,
Учил меня, любимого балбеса,
Прокалывать иголкой снизу вверх.

Он много видел. Три войны и голод.
Но улыбался. Век мне не забыть
Его панаму белую и голос:
«Ну, мамочка, чего тебе купить?»

Его родных, литовских и одесских,
Не переживших долгих чёрных лет,
Поставила судьба, где под немецкий,
Где под энкавэдэшный пистолет.

За весь свой род, в неславном этом мире,
Ушедший в землю пепельным дождём,
Я починяю платье для Эсфири.
Считаю, что Аман предупреждён.

* * *

Давайте будем счастливы сейчас.
Не завтра, не потом — сию минуту,
Пока ещё мы все нужны кому-то,
Кто не отводит беспокойных глаз.

Давайте будем счастливы сейчас,
Пока мы докторам не надоели,
Пока мы не допили, не доели,
Не отложили сальце про запас.

Давайте будем счастливы сейчас.
Пускай запомнят внуки нас такими.
Пускай у них для счастья будет имя,
Каким сегодня называют нас.

Рабочим полднем, ночью при свечах,
Какая б морось сверху не летела,
Пока душе не надоело тело,
Давайте будем счастливы.
Сейчас.

ОБ АВТОРЕ

Лазарь Мармур *родился в Ленинграде в 1949-м году. Закончив Кораблестроительный институт, работал в различных организациях. Посещал ленинградские литобъединения.*

В США уже 32 года, занимается инженерными разработками. Публиковался в сборниках «День зарубежной русской поэзии» и «Страницы Миллбурнского клуба».

В прошлом году в издательстве Bagriy & Company вышел сборник стихов «Лестница в небо».

Валерий БОЧКОВ

САХАРНЫЙ БЕС

Глава из повести

Офелия! О радость! Помяни
Мои грехи в своих молитвах, нимфа.
Шекспир, «Гамлет»

ОТ АВТОРА

Пытаясь выбраться из-под обломков «Горгоны», предыдущего моего романа, сложного и даже мучительного — мы терзали друг друга почти десять месяцев, — мне хотелось отвлечься и спрятаться в каком-то лёгком и вздорном тексте, некой фантасмагории, полусказке: придумать безделицу, изящную и занятную, типа механической шкатулки с секретом, какие делали швейцарские умельцы двести лет назад.

Смешать коктейль — летний и лёгкий, вроде шампанского с тропическим соком — колотый лёд, розовый сахар по краю высокого бокала, ломтик лимона — чтоб с удовольствием можно было посидеть на берегу или в тенистой беседке. Название придумалось сразу — «Голый бес монашке снился» (когда текст был закончен, оно показалось мне слишком длинным и водевильным), ингредиентами истории стала мистика пополам с эротикой, по жанру планировался психологический триллер.

Текст писался как бы сам — без надрыва, легко и плавно; сюжет вился летней тропинкой под горку. Такое случается редко, по крайней мере, со мной. Любое творчество, как правило, радость пополам с болью. Отсутствие боли настораживало.

Опасения оказались вполне оправданными: эротическая одиссея симпатичного циника постепенно стала входить в крутое пике

экзистенциальной трагедии. Сюжет вырвался из-под контроля автора и понёсся в неизвестном (по крайней мере, мне) направлении. Процесс книгописания стал походить на гипнотическую медитацию не самой радужной расцветки, что-то среднее между горячечным бредом и наркотическим трансом. Финал сразил меня — герой выкинул такой фортель, которого от него я никак не ожидал.

Должна ли книга давать ответы или раскрывать некие истины? Не думаю. На мой взгляд, книга должна рождать вопросы. Причём, ответы на такие вопросы не столь важны, гораздо важней процесс поиска этих ответов.

Приятного чтения!

ПРОЛОГ

Катька Лурье… Она училась в параллельной группе. После четвёртого курса я даже взял Катьку в Таллин, ей уже грезилась «Чайка» с ленточками, белое платье и ужин в «Праге» человек на шестьдесят; полторы недели мне удалось держаться паинькой — экскурсия во дворец Кадриорг, пикник в лесу, сувенирные магазины и прогулка на яхте по заливу — но вот за два дня до отъезда я после ужина спустился в фойе за сигаретами, а наутро проснулся на пятом этаже в кровати у безымянной финки с белыми бровями и небольшим, но мастерски вытутаированным чёртом на левой ягодице. На правой ягодице была выколота монашка, она бесстыже задирала подол рясы и дразнила чёрта своим круглым задом.

По-английски финка говорила кое-как, зато научила меня двум словам на лапландском диалекте: «китос» и «андекс». Спасибо и извините. Слова оказались весьма уместны, поскольку наше утреннее соитие закончилось ничем. Поставив её на четвереньки, я пристроился сзади, но никак не мог сосредоточиться на процессе, то отвлекаясь на чёрта, который пучил глаза и показывал язык, то разглядывал похотливую монашку; а то придумывал, как бы половчее соврать, когда через полчаса поднимусь в свой номер.

В Москву мы возвращались на поезде «Эстония» с крахмальными занавесками и полевыми ромашками в керамической вазе. Стояла смертельная духота, кондиционер тянул еле-еле, окно было запечатано наглухо. По двухместному купе носилась безумная муха, Катька надолго запиралась в нашем санузле, узком и похожем на тесный шкаф с хромированным унитазом в углу. Я выходил курить в тамбур. За десять часов мы обменялись дюжиной слов.

Жухлые русские рощи сменились унылыми подмосковными окраинами, за окном потекли бетонные заборы, кирпичные стены и пыльные пятиэтажки с серым бельём на балконах. Радио затрещало и вдруг ожило, из сиплого динамика понеслись бодрые марши и песни о столице. В сизом мареве на горизонте возник силуэт останкинской башни.

С багажной полки я стащил свою сумку, после кряхтя снял Катькин чемодан. Там ещё был пластиковый пакет, набитый сувенирами. Я великодушно поставил пакет рядом с её чемоданом, но вдруг вспомнил про стаканы. Набор высоких стаканов толстого стекла, шесть великолепных стаканов с тяжёлым дном, шесть идеальных стаканов для пива.

— Ты не против? — Я вынул коробку со стаканами из пакета и чуть улыбнулся.

— Против! — рявкнула она. — Делить будем!

Она выхватила коробку из моих рук и хищными ногтями принялась рвать толстый картон.

* * *

Я предпочитаю иметь дело с прошлым. Настоящее пошло и банально, будущее скучно и предсказуемо. Лишь прошлое обладает добротной материальностью, на прошлое можно положиться — прошлое не подведёт. Оно удобно, как потёртое кожаное кресло, которое мне осталось от деда-генерала, уютно как верблюжье пальто, что покойный отец привёз из Лондона полвека назад. Прошлое не подлежит девальвации, оно бесценно.

Из моих трёх стаканов уцелел всего один. Если наливать аккуратно, то в него входит ровно бутылка пива. От холодного пива стекло сразу мутнеет, покрывается крошечными каплями, похожими на утреннюю росу. Сверху набухает белая пенная шапка. Первый глоток нужно делать осторожно, он самый вкусный — не дай бог расплескать.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Следуя дельному совету классика, я никогда не вступаю в беседы с незнакомцами. Даже по телефону. Я не поддерживаю разговор из вежливости, впрочем, и не хамлю тоже — просто нажимаю отбой. Почему я не поступил так тем вечером — не знаю.

Телефон прозвонил около девяти. Если быть точным — в одиннадцать минут десятого. Он продолжал звонить, пока я шёл из кухни в гостиную — у меня длинный коридор с одним поворотом, дом старый, сталинский, впрочем, об этом в другой раз. Телефон лежал на столе. Я быстро вытер ладони о майку, наклонился, на экране светилось имя — Ангелина. Ни фамилии, ни номера — ничего: одно только имя. В этот момент единица превратилась в двойку, и время обрело зеркальную симметрию 21:12.

— Ангелина? — спросил я с нейтральной интонацией, тщетно пытаясь вставить имя хоть в какую-нибудь ячейку памяти.

— Узнал? — чуть удивлённо спросил женский голос на том конце.

— Нет, — честно признался я. — Не узнал.

Она то ли вздохнула, то ли усмехнулась.

— Ну вот… — это с ноткой ласкового разочарования.

Именно тут нужно было нажать «отбой».

Вместо этого я продолжал рыться в памяти, погружаясь всё глубже и глубже в поисках Ангелины. Работы, клиенты, командировки, подруги-жёны друзей, институт — что ещё? — всё мимо. Ангелина? Любопытство, безусловно, должно быть причислено к смертным грехам, наравне с воровством и прелюбодеянием.

— Может, — предположил я, — вы ошиблись номером?

Она произнесла моё имя, тихо, будто выдохнула на стекло. Так в немецком произносят слово «тёплый» — как будто дышишь на зеркало. Так нас учили в спецшколе номер восемь, школе с углублённым изучением, а также преподаванием ряда предметов на немецком языке.

Может, мы с ней вместе учились?

Она снова хмыкнула, теперь с ласковой отрицательной интонацией. Нет, в школе никаких Ангелин не было — исключительно Наташи и Тани. Да ещё пара Оль.

— Слушай, — она произнесла негромко. — Поздний вечер. Или ранняя ночь. Южная ночь с цикадами и запахом тёплого можжевельника. С моря тянет прохладной горечью, остывающим песком. Море черно, оно угадывается полоской пены в полосе прибоя и уходит в бесконечность. Сливается с небом, сливается с ночью. На мне платье — голубое, помнишь?

— Нет, — голос прозвучал сипло, я кашлянул и повторил громче. — Нет, не помню.

— Платье, лёгкое и голубое, очень удобное летнее платье — практичное — как сказала бы твоя бабушка, если б дожила, конечно. В едва заметный мелкий горошек, даже не горошек — в крапинку. Ты ещё тогда сказал — вот ведь странно, а ведь визуальное представление о вещах остаётся даже в темноте. Красиво сказал — ты умеешь. А темнота была кромешная — кое-что скорее угадывалось и додумывалось, но уже без участия зрения.

Она сделала паузу. Не догадка — предчувствие догадки — щекотный холодок муравьиными лапками полз меж лопаток вверх к шее, кожу на затылке свело, как от заморозки. Мне как-то зашивали, грохнулся с качелей — об этом потом как-нибудь. Её голос, тихий и ласковый, с невинными, почти детскими интонациями, втекал в меня как вишнёвый сироп; такими голосами должны говорить томные пастушки с картин французских романтиков восемнадцатого века, представлявших буколическое направление стиля рококо.

— Под платьем у меня ничего не было — я стянула его через голову. Невидимое голубое платье в белую крапинку. Спиной чувствовала, как ты пялишься на мою задницу, — она хихикнула, — ведь пялился-пялился, не отпирайся.

Я не отпирался, сухо сглотнул.

— Ты вошёл в воду следом. Беззвучно нырнул, я ждала прикосновения, но ты проскользил совсем рядом, как белая рыба, большая и немного страшная. С маслянистым всплеском вынырнул и бесшумно поплыл в темноту. Даже не оглянувшись, точно был один.

Едва уловимый укор. Пауза. Вкрадчиво и тихо продолжила:

— Мы старались не шуметь, молча плыли рядом. Иногда, как бы случайно, я задевала твою руку. Раз, другой, ещё раз. Потом твои пальцы скользнули по моей спине — тоже невинно, тоже случайно. Я перевернулась на спину. Ты, поддерживая, провёл ладонью по спине, остано-

вился на ягодице. Сжал. Несильно — точно проверял реальность моего тела. Или подавал мне тайный знак — помнишь?

Я молча кивнул. Да, помню. Слово, любой звук станет признанием вины, моей вины. Без моего признания та ночь не более чем сон. Эротический сон с поллюцией — как в детстве. Стыдно-сладко, но главное никому не рассказывать. Ведь я даже не видел лица, не видел рук — всё наощупь. Да, господа присяжные, как во сне.

Чернота вокруг казалась абсолютной. Открытое пространство, которое ощущалось шестым каким-то чувством, казалось теперь бесконечным, бескрайним, и даже призрачные фонари на берегу не могли убедить в обратном. Сладкая жуть, какого-то почти инфернального разлива, медленно наполняла меня. Не страх — ужас, необъяснимый и первобытный. Мы висели в чёрной пустоте, бесконечная чернота простиралась над нами и под нами, уходила в никуда, превращалась в ничто. Невесомость, космос, вселенная — банальные сравнения, но лучше не сказать. Лимбо — вот подходящее слово.

Её пальцы касались меня. Ловкие пальцы слепого, знающего смысл и толк в искусстве прикосновений. Она стала частью этой черноты, а, может, она и была этой чернотой. Отзывчиво подалась ближе, развела ноги. Плавно и скользко — одним безупречным движением — приладила меня к себе.

В телефоне что-то мелодично звякнуло. Линия опустела. Экран показывал время — 21:21. Тоже красиво — наша беседа заняла всего девять минут. Ещё минуту я тупо пялился в экран телефона. Московское время девять часов двадцать две минуты: моё детство ещё успело застать телефоны с диском и трубкой на шнуре; набрав единицу и два нуля, кто-то дикторским баритоном сообщал тебе время — точное московское время. Хозяин времени на том конце обладал железным терпением. Иногда я набирал «сотню» по двадцать раз подряд и ни разу не услышал: «Мальчик, прекрати баловаться! Ещё раз позвонишь, и мы отключим телефон».

Дом на той стороне Москвы-реки вспыхнул, окна зажгись красным и золотым. Как щели в дверце раскалённой топки. Страшно хотелось пить. С мобильником в руке я прошёл на кухню, распахнул холодильник и с минуту стоял, разглядывая сиротливую пустоту полок. Вытащил початую бутылку «столичной», отвинтил пробку и отпил из горлышка. Поставил бутылку обратно.

Вернулся в комнату. Пожар на той стороне набережной подходил к финалу. Краски загустели, золото перешло в бронзу, красный стал малиновым и тягучим. Тень от нашего дома, сиреневая и плотная, она вытянулась и теперь почти доставала до каменного парапета другого берега. От водки во рту осталась кислая горечь.

Едва слышно звякнул мобильник: пришёл чей-то текст. Ни на столе, ни на подоконнике телефона не было. Я обшарил диван, приподнял подушки кресел, на четвереньках оглядел пол. Безнадёжно ощупал карманы джинсов.

Когда я нашёл его, уже спустились сумерки. Телефон лежал на верхней полке холодильника рядом с мёртвым куском сыра. Выругавшись вслух, я взял телефон и открыл сообщение. Оно было от Ангелины.

2

Здравствуй ещё раз. Мне хотелось сказать тебе так много, но, думаю, для первого раза достаточно и того, что было сказано сегодня.

Сегодня я проснулась до рассвета. Ночь закончилась, а утро ещё не наступило. Точка небытия, момент безвременья. Лимбо — как ты бы сказал.

Я проснулась с ощущением неясной радости, знаешь, как в детстве — утро дня рождения или новогоднего праздника. Чтоб не расплескать это чувство, я на цыпочках дошла до окна — оно выходит на восток — стояла у стекла и перебирала слова, которые я скажу тебе вечером. У произнесённых вслух слов, как у морской гальки есть особенность: в воде переливаются как драгоценность, а стоит достать — обычные камешки. Видишь — я тоже могу быть поэтичной и умной, если ты добр ко мне.

Ты прав, когда встаёт солнце, деревья становятся плоскими, будто они вырезаны из чёрного картона. Но я думала о другом: за момент до восхода, когда мир ещё оставался бесцветным и тоскливым, я почувствовала приближение света. Я предчувствовала появление солнца. Предчувствовала! Ты можешь смеяться, но то был знак. То было послание свыше. Я не суеверна и не верю в приметы, но истинность послания вне сомнений. Ты иногда бываешь циничен, но у тебя чуткое сердце. В нём уже нет любви, но ещё есть доброта.

Солнце поднималось над деревьями, божественное сияние разливалось по небу, сквозь оконное стекло моё тело ощущало тепло. Я стояла у окна, расправив плечи и разведя руки в стороны. Я вдыхала тепло, вдыхала солнечный свет. Я пила восход. По моим щекам текли слёзы. Слёзы предчувствия счастья нового дня.

Перечитав текст ещё раз, я торопливо удалил его. Поступил так, скорее, инстинктивно — даже интуитивно — нежели исходя из какого-то логического решения. Свет из распахнутого холодильника освещал кухню белой мутью. В голове было пусто, там перекатывались слова «слёзы-нового-счастья-предчувствия-дня», которые мне никак не удавалось расставить в правильном порядке. Постепенно смысл вытек из слов, они превратились в абракадабру.

Прихватив из холодильника «столичную», я захлопнул холодильник. Не включая света в коридоре, прошёл в спальню. Выдвинул ящик: среди мелкого хлама, в путанице проводов от адаптеров и старых наушников, батареек, солнечных очков, пластиковых карточек аккредитаций, пропусков и удостоверений я нашёл то, что искал — карманную телефонную книжку. В чёрном коленкоре с металлическими уголками, на обложке можно было разглядеть год. Путём несложной арифметики получился результат — двадцать четыре. Мне почему-то казалось, что прошло не больше десяти лет.

Я раскрыл книжку на букве «Д». Страница была исписана именами и телефонами. Верхние записи, самые ранние, были старательными — ровными и аккуратными, дальше дисциплина сошла на нет: буквы толкались, цифры наезжали друг на друга, номер некой Даши, записанный нетрезвым карандашом, вообще вытянулся вдоль корешка. Между смутным Дубсоном (комок «Планетарий») и чёткой Деевой (салон «Чародейка») расположился Дымов.

Вокруг первого телефона, ещё родительского, ещё на Грановского — цифры эти я помню и сейчас — в течение нескольких лет была втиснута ещё дюжина номеров с сокращениями, ставшими абсолютно загадочными спустя четверть века. Последний номер с пометкой «паф» был записан жирно, поверх телефона какого-то полустёртого Димы.

Я дотянулся до бутылки, сделал большой глоток. Аккуратно набрал номер.

3

Дымов, как это смешно не звучит, был сыном настоящего турецкого посла. Мамаша Дымова — Люся, шустрая московская красотка, мелкого калибра, которые и на пенсии выглядят пионерками, оставила турка и вышла замуж за русского — главрежа знаменитого театра. Режиссёр крепко пил, творческий процесс подразумевал тесное общение с труппой, скоротечный брак сопровождался скандалами с применением физической силы и закончился венерическим заболеванием. Следующим отчимом Дымова стал генерал, отец которого брал Берлин, а дед лежал на Красной площади в ста метрах от мумии вождя.

В квартире на Грановского у них был отдельный туалет для прислуги — кухарка плюс горничная — обед накрывался в столовой на могучем овальном столе под крахмальной скатертью, первое подавали в фарфоровой супнице с серебряным половником, ручку половника украшал вензель Николая Романова с римской цифрой два. В прихожей висели два трофейных офорта Дюрера из пинакотеки Дрездена. «Рыцарь, смерть и дьявол», второго я не помню. В кабинете отчима — кожа, дуб, траурные ковры — на почётном столике обитал телефон цвета слоновой кости с медным гербом на диске. Линия вела прямо в Кремль. Как-то раз пьяный Дымов звонил туда и требовал привезти ему ещё водки.

Генетические шутки природы порой забавны: от папы турецкоподданного Дымову досталась радикально вороная масть, а от мамы её малогабаритность. Плюс — с той или другой стороны в предки просочились азиаты — то ли татары, то ли китайцы, так что к моменту совершеннолетия Дымов был чёрен как жук, кругл и косоглаз, и к тому же ленив как султан на каникулах. Вертикальную позицию он считал излишне энергичной. Положение сидя казалось ему ненужным компромиссом. Он мог провести весь день лёжа на диване. Книга, пепельница, пасьянс — позднее стакан с напитком крепче тридцати. Употребление вина и тем более пива виделось Дымову иррациональным. Он обожал читать энциклопедии — детскую, взрослую, медицинскую; шеститомник «Жизнь животных» Брэма входил в десятку любимых книг.

Не вставая с дивана, он закончил журфак. Потом его устроили в «Известия», после в АПН. Под конец воткнули в какое-то международное агентство со словом то ли «ньюс», то ли «пресс» на конце.

Не покидая дивана, Дымов женился и развёлся. В стране отгремела перестройка. Ельцин расстрелял Белый дом, но народ упрямо голосовал не головой, а сердцем. Демократия победила снова. Генерал под рождество угорел в бане и в новом году плавно переехал на Новодевичье. Мама Люся так же плавно обрела нового мужа — провинциала из Челябинска с охраной. То ли вор в законе, то ли депутат — зевая, говорил мне Дымов. Кошмарная урла, но бабла немерено.

В следующий раз он звонил мне уже с Кипра. С мамой Люсей они загнали генеральскую дачу в Жуковке за астрономическую — по тем девственным временам — сумму. Доллары осели в банке города Пафос, Дымов поехал их проведать и тоже осел там.

— Милый, — ласково говорил он. — Тут коньяк по три доллара за литр и Средиземное море плюс двадцать восемь по Цельсию. Парадиз в чистом виде! Король Ричард Львиное Сердце на пути в Палестину так влюбился в Кипр, что даже прервал третий крестовый поход и застрял на острове на семь лет. Прилетай! Брать ничего не надо — сунь плавки в карман и прилетай.

Ко всем особям мужского пола он обращался «милый», к женским — «барыня». Скорее всего ему было лень запоминать имена. Речь Дымова представляла собой эклектичный букет из цветастого мата и русского литературного языка со смелыми вкраплениями латыни, английского и терминов из энциклопедии.

Мой второй развод как раз подходил к концу, и я решил вознаградить себя за муки. Вечером следующего дня чартер «Внуковских авиалиний» приземлился в городе Пафос. Таксист повёз меня темнеющими серпантинами, в окно бил тёплый дух магнолий, над головой раскрылось мягкое фиолетовое небо со свекольной полоской, прочерченной по дальнему краю моря. Хотелось ехать вечно: я высунул голову в темноту и, задыхаясь от ветра, улыбался как дурак.

Дымов ждал меня. Сигарета в одной руке, стакан в другой. Мы обнялись, но не крепко, он был бос и гол, если не считать плавок кумачового цвета. Придерживая мой локоть, он проводил меня на открытую веранду, увитую диким виноградом. Из зарослей на цепи свисал пиратский фонарь, жёлтый круг освещал кафельный стол с остатками ужина на двоих. Не садясь, он налил мне коньяку и заставил выпить до дна — за встречу. Выпил сам. Коньяк оказался вполне сносным — мягким и не очень вонючим, ничего коньяк — вроде марочного армянского, типа «Ахтамар».

Мы не виделись где-то с год. За это время Дымов потолстел ещё больше и отпустил пышную бороду вороньей черноты. Она доходила почти до глаз. Вольная каракульча росла по всему телу, включая плечи. Турецкая кровь брала своё — на шее висели золотые амулеты, какие-то корявые монеты с профилями императоров, разного плетения золотые цепочки. Дымов запросто мог сойти за испанского флибустьера-работорговца или отставного конокрада.

— Как твоя? — он налил себе и мне.

— Всё! — я выставил безымянный палец со светлой полоской.

Мы чокнулись и выпили до дна. Он вдруг улыбнулся и произнёс просто и как-то по-детски:

— А я женился. Не поверишь — влюбился и…

Тут он был прав: поверить было сложно, ещё сложней было представить влюблённого Дымова: процесс этот хлопотливый и требует он большой работы, утомительного внимания и заботы — и к себе, и к постороннему человеку, а ведь душа ищет покоя, одного лишь покоя. Покоя и больше ничего. Я был свидетелем на его первой свадьбе, гуляли мощно — в «Славянском базаре», а ещё через полгода мама Люся устроила мне истерику, что я не отговорил её сына от дурацкого поступка.

Дымов зачарованно смотрел сквозь меня, точно я был стеклянный, а за мной на каком-то волшебном экране демонстрировали милое кино из жизни щенков. Мы молчали. Ногтем я ковырял наклейку на бутылке. На этикетке был нарисован рыцарь с копьём и на коне, должно быть из группы крестоносцев короля Ричарда. Коньяк назывался «Конкордия». Словно пробудившись, Дымов крикнул в темноту распахнутой двери:

— Барыня! он подмигнул мне. — Мы уж заждались, пора бы уж и десерт, честное слово!

Она вошла с мельхиоровым подносом, впритык заставленным блюдцами и розетками со снедью — миндаль в сахаре, грецкие орехи, вяленый инжир, рыжие дольки урюка, ещё что-то из набора восточных радостей. В центре кокетливо алел розовый бутон в хрустальном бокале для шампанского, который по-английски называется «флейта». Поднос явно был тяжёл, костяшки её смуглых рук побелели, но тонкие пальцы цепко держали ручки подноса. На правой руке сияло новенькое обручальное колечко.

Миниатюрной я бы её не назвал, скорее, компактной — она напоминала одну из тех гуттаперчевых гимнасток, которых мускулистые молодцы подкидывают и так и сяк, а те упрямо приземляются на ноги.

— Милый, — обратилась она к Дымову с ласковым укором. — Ну что ж ты не убрал посуду? Неловко перед гостем…

Дымов жирно ухмыльнулся, вытер пальцами губы и закурил. Она наклонилась, пристроила поднос на край стола. Я невольно скользнул взглядом по вырезу платья, там мелькнул тёмный сосок. Она подняла глаза и тут же отвела их в сторону. Выпрямилась, оправляя платье ладонями по бёдрам, будто разглаживая. Тряпка была тонкой как марля. Я с излишним азартом ухватил бутылку за горлышко и разлил коньяк по трём стаканам.

Минут через сорок Дымов исчез. Напоследок он, навалившись, обнял меня и громко прошептал в ухо:

— Знаешь почему черепахи живут триста лет? — он выдержал паузу, шумно сопя мне в ухо. — Не знаешь. А я знаю.

Его отсутствие затягивалось. Мы остались вдвоём. Мы многозначительно курили и слушали рёв цикад. В какой-то момент их хор умолкал, и тогда упругим звоном наваливалась тишина, в которой мне чудился накат морского прибоя. Из переполненных пепельниц воняло окурками, к ним примешивался приторный запах магнолий. Я не мог понять, сколько ей лет: эти компактные брюнетки в двадцать выглядят на сорок, а в сорок на двадцать. К тому же я понятия не имел как её зовут. Момент узнать имя был безнадёжно упущен.

— У вас красивая рубашка, — сказала она.

На мне была самая обычная белая рубашка из самого обычного хлопка.

— Можно на «ты», — предложил я. — А где…

Я вопросительно кивнул на пустой стул напротив.

Она снисходительно улыбнулась — мол, ну ты-то его знаешь. Она придушила окурок в пепельнице и взглянула на меня — долго и странно.

— А вы ведь… — она замолчала, точно прикидывая что-то. — Вы ведь ещё даже на море не были.

— Ты… — поперхнувшись, поправил её я.

4

В мембране что-то шуршало, казалось, химеры телефонных сетей шушукались, решая, соединять меня с Кипром или нет. Я отпил «столичной». Бутылка запотела, стала мокрой и скользкой. Наконец соединили. После двух гудков на том конце возник механический женский голос, который сообщил по-английски, что набранный мной номер отключён и больше не существует.

— Больше не существует… — повторил я конец жутковатой фразы.

На всякий случай набрал номер снова. Проверяя каждую цифру. Тот же холодный голос произнёс те же слова ещё раз — отключён и не существует.

Очень не хотелось, но я всё-таки решил позвонить Ангелине. Открыл входящие звонки.

— Что за бред…

Никакой Ангелины там не оказалось.

Самый последний звонок был в семь пятнадцать от Юли Дашевской, копирайтера, которую мы уволили в понедельник. Она же звонила до того — в восемнадцать ноль пять. Оба звонка я намеренно пропустил. В пять десять я говорил с Гороховым из Берлина, ниже шли рабочие звонки: типография, Киблицкий, банк, телевидение, снова типография.

Её текст я удалил, но, может, он застрял каким-то макаром в мусоре. Нет — не застрял. Я выключил экран и положил телефон рядом на ковёр. Спальня наполнилась сумерками. В доме на той стороне Москвы-реки зажглись окна, три на последнем, четыре этажом ниже. Вот ещё одно окно вспыхнуло знакомым рыжим абажуром. Я сидел на полу, и мне были видны лишь два верхних этажа. Странно — я вижу этот дом всю свою жизнь и толком не знаю сколько в нём этажей — девять, как в нашем? Десять? Плоскую крышу здания архитектор украсил двумя каменными беседками, такие ещё попадаются в южных санаториях среди кустов шиповника или жасмина — белые стройные колонны поддерживают круглый купол с шишечкой, а внизу три ступеньки. Беседки располагались симметрично, над правым и левым крылом фасада. Правая беседка, должно быть во время давнего ремонта, лишилась своей маковки: отсутствие шишки по непонятной причине доставляло мне с самого раннего детства почти физическое неудобство. Зажглось ещё одно окно — яркое и белое, явно на кухне.

В этот момент телефон ожил и запиликал, на экране высветилось «Юлия Дашевская». Мгновенно представив разговор — судя по позднему часу, не совсем трезвый, вполне возможно, со слезами, вероятно даже с упрёками или намёками на шантаж, исходя из наших не совсем профессиональных отношений, сложившихся нелепо и почти случайно в последний день питерской командировки в конце мая, — я нажал отказ. Разумнее всего было бы включить ночной режим, но я не хотел пропустить звонок из нашего Нью-Йоркского офиса.

И тут позвонила снова она — Ангелина.

— Хочу пожелать тебе спокойной ночи, — ласково пропела она. — К тому же ты не ответил на моё письмо. Прочитал и не ответил. Почему? Это же такая малость, милый, такой пустяк. А для меня — радость и благодать райская.

Я молчал.

— Ну что ты опять молчишь? Вот ведь какой — дышит и молчит, дышит и молчит.

— Работа… много работы…

Она засмеялась тихо.

— Ой какой врунишка! Работа у него… Должно быть, с девицами своими болтал, с развратными распутницами — ведь болтал?

— Нет, — неуверенно произнёс я.

— Болтал-болтал! — весело перебила она. — Мне ведь, милый, всё про тебя известно — всё-всё-всё! Всё на свете. И девок твоих я отважу, минетчиц вислозадых. Так проучу, что другим неповадно будет.

Я что-то пробурчал в мобильник.

— Ну всё-всё, — она заторопилась. — Всё, мой милый. Поздний час уже. Волшебных снов тебе — баюшки-баю, мой сладкий. Во сне приду к тебе, слышишь? Приласкаю…

И строго добавила:

— Только не звони карге старой, договорились?

5

Слава богу, я отключил звонок. Последним входящим был звонок от Дашевской десять минут назад. За сорок минут она набрала мой номер семь раз.

Я сидел на полу, зажигать лампу не хотелось, дом напротив светился огоньками вечерней иллюминации. Обе беседки таинственно

горели снизу, они приобрели почти сказочный вид, вроде бастионов на рыцарском замке. Симметрия восторжествовала: досадное отсутствие шишечки на крыше правой беседки теперь скрывала темнота.

Ладонью пошарил по ковру, нашёл телефонную книжку. Включил фонарик в мобильнике, книжка сама раскрылась на букве «Д». Тот номер я помнил наизусть, но решил на всякий случай проверить.

Мама Люся ответила сразу, будто ждала наготове. Не очень старательно изобразила радостное удивление, которое, впрочем, почти сразу испарилось. Её голос, нет, голосок, не изменился, те же интонации, тот же тембр — она умудрялась кокетничать даже когда сердилась. Откуда-то пахнуло приторными цветами, той французской парфюмерией из прошлого века — я даже понюхал кончики своих пальцев, рассеянно подумав, что тем вечером, когда я впервые появился на Грановского, Люсе было меньше лет, чем мне сейчас.

С игривой беспечностью подражая её тону, я болтал о работе и каких-то неважных поездках, шаг за шагом по шатким мосткам ненужных слов, имён, фамилий и географических названий приближаясь к неизбежной цели. Она одобрительно хмыкала, иногда поощрительно поддакивала. Из бархатной тьмы дальнего угла комнаты выплыло маленькое скуластое лицо с красными губами и рысьим выражением глаз. К лицу добавились платиновые волосы, — стрижка, кажется, называлась «карэ», рыжая лисья шубка и бесстыже тугие лосины леопардовой расцветки, заправленные в мушкетёрские ботфорты на хищной шпильке. От приторной сиреневой вони меня уже тошнило.

Фраза прозвучала в ответ, проскользнула как напоминание давно известного факта. Я начал переспрашивать, причём, как-то глупо, будто пытаясь загладить некую неловкость. Начал, поперхнулся и запнулся на полуслове. Моя могильная немота выдала меня с головой.

— Ты что — не знал? — плоским голосом произнесла она.

Вопросительная интонация в вопросе отсутствовала. Она замолчала. Я, кажется, перестал дышать, вслушиваясь в пустоту. Потом она начала говорить. Тем же плоским и равнодушным голосом.

— Ненавижу этот Кипр. Пафос — такая дыра. Его нужно было везти в Ларнаку, сразу в Ларнаку. Может, там бы спасли. А у этих даже аппарата искусственной почки нет. Диагностировали эндогенную интоксикацию, потом печень стала отказывать. Врач ей говорит, нуж-

но срочно вертолёт и в Ларнаку. А эта сука: «А сколько стоить будет? У нас денег нет». Под утро он уже в коме был, вот только тогда эта мразь мне и позвонила. А в одиннадцать сорок…

6

Не помню конца разговора, не помню, как с ней прощался. Свет включать не стал, залпом допил водку и, не раздеваясь, забрался под одеяло. Меня знобило. Засыпая, я был уверен, что подцепил этот новый штамм китайского гриппа. Снилась всякая мерзость: серые пустыри под низким разодранным небом, заброшенные огороды; я блуждал по колено в грязи и никак не мог выбраться. В жиже возились какие-то жалкие люди, похожие на вокзальных калек. Лиловая старуха, замотанная в платок, тянула ко мне жилистые лапы с жёлтыми птичьими когтями, она корчилась и выла: «Сука угробила моего сына!». От ощущения глобальной тоски хотелось удавиться.

Разбудил звонок Викандера, они гуляли где-то в Гринвич-Виллидж, отмечали сдачу проекта. Клиент перевёл остаток платежа. Викандер был очевидно пьян, музыка басовым барабаном била мне прямо в висок. Ночь твоя — добавь огня, в Нью-Йорке кураж и полночь, у нас семь утра. Вот сволочи. Я включил громкую связь. Оставив мобильник на подушке, отправился за аспирином и водой. Когда вернулся, к Викандеру присоединилась какая-то звонкая девица. Я узнал Рейчел, бритую дылду из отдела маркетинга. На два голоса, то в унисон, то перебивая друг друга, они восторженно пытались мне о чём-то рассказать, выкрикивали какие-то миллионные цифры и ругались английским матом. Я хладнокровно нажал отбой.

Действие аспирина оказалось весьма скромным, головная боль притупилась и на цыпочках перебралась в район затылка, где и притаилась, коварно выжидая удобный момент для атаки. Сама голова по-прежнему была до самой макушки залита тягучей мутью, плотной и тяжёлой, вроде той, из которой мне так и не удалось выбраться этой ночью.

Представил: пытка бритьём и душем, верхняя пуговица рубашки, узел галстука, шнурки на ботинках; после — полтора часа московских утренних пробок, потом — офис с безусловной необходимостью произносить слова и контролировать выражение лица; не дай бог Людочка запланировала какие-то встречи.

Я заполз обратно под одеяло. Набрал офис, Ниночка уже была на месте и готова к бою: бровки, реснички, третья чашка кофе.

— Доброе утро!

Её бодрое приветствие пронзило мой бедный череп навылет — от виска к виску.

— Ниночка… — промямлил я. — Слушай, красавица…

— Слушаю!

От боли я сморщился. Театр у микрофона, радиопостановка «Тимур и его команда». Если бы она была тут — точно бы ударил.

— Тише-тише. Не голоси так… — язык произносил не совсем те звуки, которые требовались для формирования слов. — Отмени всё на сегодня.

— Ясно! Вы сегодня не появитесь?

— Нет… Тут дела возникли…

Она замялась и трагичным шёпотом спросила:

— Это из-за Дашевской, да?

— Причём тут Дашевская?

Повисла пауза, нехорошая пауза; моё сознание, а, может, и подсознание, молниеносными штрихами набросало майскую грозу — молнии раздирали чернильные косматые тучи, ночь гремела, белый неживой свет выхватывал мокрые сияющие крыши — трубы, антенны, башенки дрожали в бешеной мельтешне тропического ливня. Сизым призраком маячил вдали купол Исаакия, а в Фонтанке, залитой до краёв блестящей смолой, плясали осколки разбитого вдребезги Павловского дворца. Я проснулся от грохота, а может от стука в дверь — прекрасно знал, что открывать нельзя, хоть и заснул в ожидании этого воровского тихого стука, в томной жажде её вкрадчивого прихода. Притворись спящим, постучит и уйдёт, открывать ни в коем случае нельзя — говорил я себе, впуская её в свой номер. Она пришла босиком и в длинном шпионском макинтоше на голое тело.

Ещё до того, как Ниночка начала говорить, я уже понял, о чём пойдёт речь.

Вчера, около полуночи, Юлия Дашевская, двадцати семи лет, выпала из окна своей квартиры, расположенной на одиннадцатом этаже дома по адресу улица Соломенной Сторожки, строение семь, корпус два. Повреждения, полученные в результате падения, оказались несовместимы с жизнью потерпевшей, смерть наступила мгновенно. На-

рядом постовой службы был проведён осмотр места происшествия и квартиры потерпевшей. Показания соседей приобщены к делу. По предварительному заключению происшествие квалифицируется как несчастный случай.

Ниночка закончила. Мы помолчали с минуту, потом я чужим и истеричным голосом заорал:

— Соломенной Сторожки? Серьёзно? Соломенной, твою мать, сторожки!?

7

Вода в ванне почти остыла. Пена осела, остались лишь небольшие пузырчатые островки, дрейфующие между моих коленок, торчащих симметрично как Сцилла и Харибда. Моё тело покоилось в сероватой мути, похожей на постный суп для выздоравливающих. Я к их числу не относился. Улица Соломенной Сторожки — это где вообще и что это означает?

Я набирал воздух в лёгкие и медленно погружался под воду. Представлял, как она распахивает рамы, карабкается на подоконник, выпрямляется; после осторожно заглядывает вниз — гудроновый навес над подъездом в крапинках окурков, пара тусклых фонарей, детская площадка, чахлые кусты вперемешку с разноцветными крышами кое-как припаркованных легковушек. Поднимает голову, смотрит вдаль — одиннадцатый этаж как-никак — подсвеченные шпили высоток, башня в Останкино, небоскрёбы Сити. Потом зажмуривается, сильно-сильно, как детстве — тогда ей казалось, что таким образом можно перенестись из одного места в другое: важно крепко закрыть глаза и как следует представить место, где ты мечтаешь очутиться.

Я выполз из ванны. В туманном зеркале возник голый, смутно кого-то напоминающий. Полотенце, влажное от пара, воняло сладкой плесенью. Кафель, кран и раковина — всё вокруг было мокрым, холодным и скользким. Как после той грозы, когда мы, не одеваясь, вышли на балкон покурить. Вытирая гениталии, подумал: странно — всего несколько недель назад я был в ней, в её отзывчивом теле, исполнительном и гибком, с горьковатым душком молодого пота с едва заметной луковой отдушкой. Рядом с соском у неё была родинка — звезда почти правильной формы — показывая, она сказала: моё тело легко будет опознать. В морге? — не очень остроумно пошутил я.

Пока я отмокал, мне позвонили тринадцать раз. Один звонок из банка, другой от таллиннского клиента, одиннадцать раз звонила Ангелина. Я перешёл в папку пропущенных звонков: там был один Таллинн и один банк. И ни одной Ангелины.

Мобильник тихо звякнул, пришёл новый текст.

Милый-милый-милый! Ты не брал трубку, а я не находила себе места, с ума чуть не сошла, никогда не делай так больше! Я знаю, что любовь не может возникнуть из пустоты, любовь требует труда, требует старания и заботы. И тогда любовь вырастает в счастье. В счастье, мой милый! Ради нашего счастья я готова трудиться за двоих, стараться день и ночь, даже если потребуется вся жизнь! Мы заработаем наше счастье! Я живу ради тебя — ты знаешь об этом. Не могу дальше писать, слёзы душат меня. Тебя нет рядом, милый, я обнимаю себя, притворяюсь, что ты в моих объятьях!

Она позвонила, когда я дочитывал последнюю строчку. Сделал глубокий вдох, включил громкую связь.

— Да!

У меня нет личного опыта общения с душевнобольными, скорее всего, тон тут нужен успокаивающий. Я вообразил себя мудрой матерью, урезонивающую сумасбродную дочку лет девяти и повторил мягко:

— Да. Слушаю.

На том конце шумно дышали, всхлипывали и шмыгали носом. Я терпеливо следил за прыгающими секундами на экране: пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. На тридцать пятой она заговорила мокрым и плаксивым голосом.

— Ну зачем… зачем… ты терзаешь меня — зачем? Зачем? Тебе приятно — да? Чтобы я плакала, чтобы царапала лицо ногтями, чтобы бритвой резала тело — тебе это приятно?

— О чём идёт речь? — вышло чуть холоднее, чем нужно.

— Речь? — она выкрикнула. — О чём? Идёт!

Она оставила для меня паузу, но я благоразумно промолчал.

— О тебе речь идёт! — крик продолжился на той же высокой ноте. — О нас! О нашей любви речь идёт!

Она с дрожью вдохнула, резко и глубоко, будто тонула.

— Господи! Таким каменным как можно! Где сердце — где оно? Или там кусок сухой глины? Там! Я же умоляла, умоляла… Ведь просила…

Голос прервался, в динамике громко зарыдали.

— Что? — чёрт меня дёрнул произнести. — О чём просила?

— Не звонить! — взорвалась она. — Не звонить старой карге! Неужели так трудно? Или забыть не можешь? День тот?

Я замер, мобильник лежал на столе, я пялился в экран и комкал влажное полотенце. Одеться я так и не успел.

8

Тут она оказалась права на все сто: забыть тот день я действительно не мог.

Была только середина мая, но жара в Москве воцарилась египетская. Тополиный пух лез в глаза и щекотал в носу, сирень по всему городу распустилась за ночь и теперь сладкое марево, пополам с гарью и пухом, лениво растекалось по городу. Зацепская шпана купалась у Краснохолмского моста, ловкими сажёнками пацаны подплывали вплотную к речным трамвайчикам и матерно обругивали пассажиров. Трава на газонах стала колючей и серой, у квасных бочек вытянулись очереди как в мавзолей, пыльные липы на бульварах изнывали от жажды. Там, за памятником Грибоедову на Чистопрудном, мы с Дымовым и условились встретиться в четыре.

Шли выпускные, я накануне сдал физику и должен был передать Дымову конспекты. Технически, то были ответы на билеты — сорок с чем-то машинописных листов, которые надлежало тайно пронести в класс. Я исполнил этот фокус вчера, заткнув билеты за ремень сзади. Пиджак, понятное дело, снять я не мог, за время экзамена пачка пропотела насквозь, следующую ночь билеты сушились, разложенные по всей квартире.

Дымов никогда не приходил в срок, время встречи он называл условным; как-то, после почти часового ожидания, он появился и невинно сообщил, что уже на выходе, надевая ботинки, присел и случайно заснул.

Я не торопился. Неспешно вышел из метро. Приехал прямо из школы, с консультации по литературе. Белая рубаха с отглаженным воротником, комсомольский значок на груди и скромные штаны серого цвета, к тому же папка в руке, не говоря уже про прилизан-

ные на косой пробор волосы, — весь этот камуфляж производил весьма обманчивое впечатление относительно моей персоны. Старушка, торговавшая редиской у входа, умильно улыбнулась мне, из группы пьяниц с безглазыми лицами цвета копчёной камбалы выкрикнули про Павку Корчагина. Не оглядываясь, я прошёл мимо их скамейки и почти налетел на маму Люсю. Она всем ртом поцеловала меня в щёку, обдала ароматом почти райской парфюмерии и тут же, хохоча, принялась вытирать отпечаток белым платком, натянутым на указательный палец.

Мама Люся вся состояла из мёда и роз, из смеха и мокрых губ; сжимая мне запястье, она скороговоркой сообщила, что сын уехал с генералом на дачу — то ли насос, то ли помпа, всё-всё-всё к чёртовой матери сломалось — лимонно-жёлтое платье из куска тропического заката было явно сшито в заоблачном ателье, а коралловые босоножки на немыслимо стальной шпильке были похищены, как минимум, из гардероба принцессы Дианы.

Она потянула меня вглубь аллей. С искренним любопытством задавала вопрос за вопросом и, не дожидаясь ответа, задавала следующий. Нам почти удалось уйти. Увы, недостаточно далеко, чтобы не расслышать реплики с пьяной лавки. По лицу мамы Люси мелькнуло подобие улыбки, растерянной и жалкой, почти гримасы.

Дальнейшее развивалось как-то само собой, без участия моего головного мозга: я резко развернулся в сторону группы и приказал повторить. Пьяницы грохнули смехом, крайним слева оказалось существо женского пола.

— Оглох, красавец, — крикнула существо, — поди ближе, повторю на ушко.

Я угрожающе двинулся к лавке. Люся пыталась меня остановить, её ногти впились в мне запястье.

— Не надо, ради бога, не надо! Это же мусор, не люди!

Я остановился в шаге от них, совершенно не представляя, что делать дальше. Стараясь не вдыхать, строго потребовал извиниться.

— Ой-ёй-ёй, — женская особь, паясничая, ощерилась щербатым ртом, — петушок-то бойкий попался!

Они снова дружно загоготали. Я не двигался. Кровь колотила в виски, рубаха прилипла к спине. У метро, на круге, весело звякнул трамвай и беспечно покатил в сторону Чистых Прудов. От смрада меня мутило, в руке я сжимал дурацкую папку с билетами по физике.

— Ну чё фары выкатил, баклан? — задорно выкрикнула тётка. — Цинкуй до базы! Босявка твоя, гля, уже мандой сочится! На цырлах аж пляшет, как бобра загнать охота…

Она засмеялась. У её тюремного башмака, сплющенного и огромного, два воробья дрались из-за хлебных крошек. Я набрал в рот слюны и плюнул ей в лицо.

Помню, они разом кинулись на меня. Не ожидал от пьянчуг такой прыти: чёртова баба, подскочив, боднула меня под дых головой, кто-то звонко залепил кулаком в ухо. Раскинув руки, я грохнулся на спину, чей-то ботинок саданул мне под рёбра. Небо лопнуло и рассыпалось фейерверком. Кто-то наступил мне на лицо. Рот наполнился тягучей солёной гадостью, на зубах хрустел песок. Я попытался встать, но не смог. Белые листы разлетелись по пыльной щебёнке аллеи, перед моим носом валялся билет номер семнадцать: «Закон Джоуля-Ленца и его практическое применение».

Помню ещё: звериный рык пьянчуг перекрыл звонкий крик Люси. Что она кричала, я не запомнил, но видел, как, скинув босоножки, она с двух рук начала гвоздить алкоголиков стальными шпильками. То был смерч, буря в Сахаре, торнадо, а Канзасе, то была яростная и неукротимая, лимонно-жёлтая фурия Чистопрудных бульваров, моя личная Немезида. Она била их в голову, шустро уворачивалась от хватающих рук, кто-то взвыл: «Сука глаз выколола», другой, стоя на коленях, зажимал лицо ладонями. Я видел, как меж его пальцев лилась кровь, да что там лилась — хлестала как из шланга.

Пьянчуги бежали. На какой-то момент я выпал из происходящего. Потом, помню, ползал на карачках и собирал листы. Мятые, они были покрыты пылью, на некоторых отпечатались подошвы, на одном темнели красные кляксы. Люся, сидя рядом на корточках, гладила меня по спине и ласково говорила какую-то чепуху. Прохожие опасливо косились и обходили нас. Пенсионер в дачной шляпе задержался, делая вид, что прикуривает. Мама Люся вытянула шею и крикнула:

— Дядя! Концерт окончен! Всем на выход!

Оглянувшись, я скользнул взглядом по её коленкам и дальше: трусы на ней были того же лимонного цвета, что и платье — один в один. Абсолютная колористическая координация.

На Грановского мы приехали в такси. Охранник вежливо открыл кованую калитку, поздоровался с Люсей, на меня даже не взглянул. Пересекли чисто вымытый сквер: постриженные кусты, затейли-

вая клумба, фонтан с каменной нимфой, тискающей пузатого карпа. Из пасти рыбы била хрустальная струя.

Лифта ждать не стали. Люся игриво шлёпнула меня по заду, по девчоночьи прытко понеслась наверх, сообщив, что это лучшее упражнение для укрепления ягодичной мышцы. Я понёсся следом. Цокали каблуки, лихой звук улетал ввысь и возвращался звонким эхом. Между вторым и третьим встретились с догом, статный и невозмутимый, как английский лорд, он спускался на прогулку в сопровождении тётки в переднике. Видать, эти двое тоже укрепляли ягодичную мышцу.

Вошли в квартиру. Трофейное зеркало в мощной дубовой раме от пола до потолка с мускулистыми ангелами и гроздьями винограда, вывезенное из какого-то тевтонского замка, подтвердило утверждение Люси, что в таком виде являться домой нельзя — мою бабку точно кондрашка хватит (родители отбывали второй срок в Танзании по линии внешторга).

— Ты ещё сзади себя не видел! — с не очень понятным восторгом выдала Люся, тиская мой локоть и пристраиваясь бедром к моему отражению.

Красное на белом всегда выглядит эффектно: вся грудь была в живописных брызгах, пуговицы вырваны с мясом, рукав почти оторван. С лицом дело обстояло не лучше. На щеке темнел след туристского ботинка, на скуле запеклась кровь, нижняя губа пухла на глазах: там, внутри, наливалась и пульсировала жаркая дуля. Чумазостью рук я мог соперничать с землекопом.

Не очень сопротивляясь, я протопал в ванную. Люся подтолкнула меня и прикрыла дверь. Чуть поколебавшись, я повернул защёлку. Ванная комната сияла хромом и голубизной заграничной плитки и сантехники, по метражу она была со среднюю московскую квартиру — никак не меньше; всеми оттенками лилового тут цвели оранжерейные орхидеи, в углу зрела тугим ананасом настоящая тропическая пальма, расстояние от двери до унитаза я бы квалифицировал как экскурсию средней протяжённости. Тут пахло мокрыми яблоками, свежо и чисто, как пахнет летний сад после ночного ливня.

Ботинки я снял ещё в прихожей, всё остальное, включая носки и трусы, скомкал и затолкал в угол. Выбрал земляничный шампунь с ароматом невинного детства, залез под душ. Грязь, пот и кровь потекли по небесному фаянсу ванны. В дверь постучали. Мокрый,

в хлопьях земляничной пены, я торопливо выбрался. Прикрыв низ живота губкой, щёлкнул замком.

Она принесла банное полотенце и халат.

— Это что за маскарад? — кивнула на мочалку. — Умора. Чего я там не видела? Вот — выпей. Для дезинфекции.

Я взял из её рук стакан с хрустальной насечкой, увесистый, с литым дном, из таких в фильмах про заграницу пьют свой скотч миллионеры, и выпил…

ОБ АВТОРЕ

Валерий Бочков *(1956, Крустпилс, Латвийская ССР) — русский и американский художник-график, писатель, член американского ПЕН-Клуба.*

В СССР как художник и дизайнер сотрудничал с крупными московскими издательствами, участвовал в оформлении популярных журналов на русском и английском языках, в фестивалях искусств за рубежом.

В 2000 году уезжает в США. Основывает творческую студию «The Val Bochkov Studio», которая сотрудничает в сфере визуальной коммуникации с ведущими рекламными и пиар агентствами США.

В 2008 году после глобального экономического кризиса выступает с манифестом о создании новой глобальной валюты «Новые Деньги Мира» (New World Money).

Писать прозу начал в 2005 году. Печатается в ведущих российских литературных журналах. Автор более 10 романов, завоевавших большую читательскую аудиторию и принёсших автору заслуженную популярность. Бочков становится лауреатом «Русской премии» в категории «Крупная проза», в 2016-м — лауреатом премии Эрнеста Хемингуэя.

Проза Бочкова характеризуется динамичным, непредсказуемым сюжетом с внимательным анализом эмоционального состояния персонажей. Романы отличаются философской глубиной и эстетикой, но при этом остаются увлекательными, демонстрируя успешное сочетание интеллектуальной прозы с остросюжетной беллетристикой.

Автор журнала «Времена».

Александр МАТЛИН

АНАТОМИЯ ТРЕТЬЕГО ВИДА

Да, мой дорогой читатель, это неиссякаемая проблема и неразрешимый вопрос: на сколько полов (или, как теперь принято говорить, гендеров) делится человечество? Вы, наверно, думаете, что на два — мужской и женский. Я тоже так раньше считал. Но, оказывается, в современном западном либеральном мире их гораздо больше. Одни насчитывают шесть, другие — девять, иногда доходит до шестнадцати. Но всё это, дамы и господа, враньё. На самом деле, существует всего три биологические разновидности человека: мужчина, женщина и политический деятель.

Чем отличаются друг от друга первые две, вам не надо объяснять. Если вы учились в школе в Америке, вы это постигли в третьем классе начальной школы на уроках сексуального образования, а если в России — то ещё раньше, по рисункам на стенах общественных уборных. Особи третьего типа, при некотором сходстве с первыми двумя, отличаются тем, что у них отсутствует баланс между слуховым аппаратом и речевыми устройствами. Объясню, чтобы было понятнее: слуховой аппарат у них полностью атрофирован, и за счёт этого гипертрофически развиты речевые органы.

Вот как я дошёл до этого открытия. Одним погожим утром я стоял на коленях пред своим домом и сажал цветы. Бушевала весна, вовсю распевали пересмешники, и земля издавала запахи пробудившейся жизни. В общем, налицо была радость бытия. И тут рядом со мной на траву упала тень.

Я поднял голову и сразу узнал человека, который отбрасывал тень. Это был мистер Саркакис, кандидат в штатную палату представителей от нашего округа. Его нельзя было не узнать; его счастливое лицо уже несколько месяцев не покидало местных газет и телеканалов. Я сказал:

— А, это вы! Я вас знаю. Вы мистер Саркак Саркакис. Вы баллотируетесь в палату представителей нашего штата.

— Здравствуйте,— отвечал мистер Саркакис.— Разрешите представиться. Я Саркак Саркакис. Я баллотируюсь в палату представителей нашего штата. Приятно познакомиться.

Я понял, что мистер Саркакис туговат на ухо и прокричал;

— Как поживаете, мистер Саркакис?

— Я с вами полностью согласен,— с готовностью отвечал мой собеседник.— Как ваш представитель в конгрессе, я намерен продолжать бороться за бесплатное медицинское обслуживание граждан нашего штата, за бесплатное образование в колледжах, а также за дальнейшее повышение, одновременно с дальнейшим понижением…

Рядом с мистером Саркакисом, на полшага позади него стаял белобрысый молодой человек с блокнотом, в который он что-то лихорадочно записывал, очевидно, речь своего патрона. Речь продолжалась довольно долго. Наконец, мистер Саркакис сделал вдох, и я, воспользовавшись паузой, спросил:



— Вы тоже живёте в этом городе?

— Я считаю, что мы не должны допустить изменения климата,— сказал мистер Саркакис, ни на секунду не задумываясь.— Засорение окружающей среды в результате сжигания угля и нефти неизбежно приведёт …

Следующие несколько минут он, видимо, развивал эту мысль, но я потерял нить его рассуждений, поскольку думал о том, в каком сочетании посадить цветы, и так и не узнал, к чему приведёт сжигание угля и нефти. Неожиданно мистер Саркакис прервал свою речь и спросил:

— Надеюсь, вы меня поддержите на предстоящих выборах?

Вопрос застал меня врасплох. Немного помявшись, я сказал, вкладывая в слова максимум такта:

— Понимаете, мистер Саркакис, я, вообще, голосую за другую партию, то есть за вашего оппонента, и поэтому не могу обещать…

— Прекрасно,— перебил меня мистер Саркакис. Я знал, что могу рассчитывать на ваш голос, поскольку вы, как и все жители нашего округа, глубоко обеспокоены растущим расизмом и белым супремо… суперма…

Тут он смешался, не в силах выговорить нужное слово, и переключился на другую тему.

— Вы совершенно справедливо отметили, что наша южная граница должна быть открыта для всех, кто бежит в Америку, чтобы сделать бесценный вклад в нашу экономику и мульти-культуру…

— Ну, это вы бросьте,— сказал я, наконец решившись перебить кандидата в палату представителей.— Я ничего такого не отмечал.

— Совершенно верно! Я рад, что вы меня поддерживаете в этом вопросе,— сказал мистер Саркакис.— Надеюсь, вы не будете возражать, если мы поставим перед вашим домом плакат с моим именем и предвыборным призывом.

— Ещё чего не хватало!— рассердился я.— Категорически возражаю!

— Прекрасно!— закричал мистер Саркакис.— Спасибо за поддержку!

Он схватил мою руку и начал её трясти, источая возгласы признательности и восторга. Я в растерянности посмотрел на белобрысого секретаря. Тот на мгновение перестал писать и, не поднимая головы, сказал вполголоса:

— Не беспокойтесь.

Мистер Саркакис, наконец, отпустил мою руку, развернулся и в сопровождении белобрысого направился к соседнему дому. Я принялся дальше сажать цветы и через несколько минут забыл о назойливом мистере Саркакисе и его предвыборной кампании.

В один из тех же весенних дней, недели две спустя я задержался на работе и, чтобы снять усталость, по пути домой зашёл в бар. Похоже, что в этот день все жители нашего города захотели снять усталость, потому что бар был набит битком. С трудом протиснувшись сквозь потное, галдящее скопление мужчин и женщин, я нашёл единственное свободное место за баром, кое-как вскарабкался на высокую табуретку и заказал свой любимый бурбон Бэйсил Хейденс. Честно говоря (только, между нами) я не различаю и одинаково люблю все виды виски, будь то скотч, или бурбон, или канадский, или ирландский, или даже японский виски. Но признаться в этом было бы позорно. Уважающий себя человек должен иметь свой любимый виски. Это так же важно, как иметь свою любимую футбольную команду

и своего любимого джазового музыканта. Поэтому, когда я, не притрагиваясь к меню (упаси Боже!), сказал бармену: «Бэйсил Хейденс», он посмотрел на меня с уважением.

— Не иначе как мы родственники, — услыхал я над левым ухом. — Бэйсил Хейденс мой любимый бурбон.

Я обернулся. Сосед слева, молодой, белобрысый парень, широко улыбаясь протянул мне руку и представился:

— Джеймс Махер. Зовите меня Джимми.

— Очень приятно, — сказал я, назвав себя по имени. — Вообще-то, мы с вами знакомы. Недавно вы приходили ко мне с мистером Саркакисом агитировать голосовать за него. Помните?

— Нет, конечно, — честно признался Джимми. — Мы делаем десятки таких визитов в день. Кроме того, я вообще не вижу, с кем разговаривает Саркакис. Я должен записывать.

— Что же вы такое записываете, позвольте спросить?

— Как что? Беседы кандидата Саркакиса с народом. В конце дня в офисе я всё переписываю в компьютер и сохраняю для потомства в нужном файле.

— Ого! — восхитился я. — Это должно занимать уйму времени! Надеюсь, он вам оплачивает вечерние часы?

— Конечно. Но на самом деле, только ему не говорите, это вообще не занимает времени. Мистер Саркакис всегда говорит одно и то же, и мне надо просто скопировать его текст в каждый адрес дома, который он посетил.

— Но ведь люди задают разные вопросы. Кстати, вам не кажется, что… как бы это сказать… ответы мистера Саркакиса не всегда соответствовали моим вопросам или комментариям?

— Вопросы и комментарии я не записываю, — разъяснил Джимми. — Я записываю только то, что говорит мой босс. А вопросы и комментарии вписываю потом, так, чтобы они соответствовали его ответу. А поскольку ответы всегда одни и те же, то и вопросы получаются одинаковыми.

— Интересно, — заметил я. — А вам не кажется, что у человека, который будет читать ваши записи, может возникнуть подозрение в их правдивости?

— Бог с вами! — воскликнул Джимми. — Эти записи никогда никто не будет читать.

— Зачем же их создавать?

— Странный вопрос, — снисходительно заметил Джимми. — За что же иначе я буду получать зарплату?

Мы заказали по второму бурбону. Джимми, который оказался весьма словоохотливым молодым человеком, поведал мне свою нехитрую биографию. Он в прошлом году закончил колледж и получил степень бакалавра по какой-то невразумительной специальности под названием то ли «Общественные отношения», то ли «Политическая наука». Он нашёл временную работу в предвыборной кампании Саркакиса и теперь набирается опыта для будущей карьеры в политике или социологии.

— Политикой какого толка вы собираетесь заниматься? — спросил я, выслушав рассказ своего собеседника. — Кто вы по убеждениям — либерал или консерватор?



— Я не понимаю вашего вопроса. — Джимми нахмурился. — Я не знаю, что такое убеждения и какое отношения они имеют к моей политической карьере. Работа есть работа. Если Саркакис победит, я останусь работать в его офисе. А если нет, тогда… посмотрим.

— А как вы считаете — он победит?

— Сомневаюсь.

— Почему?

— Потому что он идиот, — сказал Джимми, не проявляя эмоций. — Вы что, сами не видите?

— Значит, вы скоро останетесь без работы?

Тут мой собеседник повёл себя как-то странно. Он начал загадочно улыбаться, ёрзать на табуретке, оглядываться по сторонам, подмигивать и, наконец, сказал:

— Без работы я не останусь. Если Саркакис проиграет, пойду работать в офис его оппонента.

— Почему вы думаете, что он вас возьмёт?

— Я знаю, что возьмёт. Мы договорились.

Тут Джимми снова оглянулся по сторонам и сказал, понизив голос:

— Только никому не рассказывайте. Дело в том, что оппонента интересует кое-какая информация о кампании Саркакиса. Я ему в этом

помогаю, чем могу, а он в знак благодарности обещал взять меня на работу.

— Ага. Значит ваш оппонент нравится вам больше, чем Саркакис?

— О, нет, что вы! Такой же идиот, если не хуже. Но работа есть работа. Теперь, кто бы из них не победил на выборах, работа мне обеспечена. Понятно?

Он расхохотался, искренне радуясь своей изобретательности, и я понял, что Джимми, несомненно, обладает качествами, нужными для успешной политической карьеры.

Прощаясь, мы обменялись телефонами, долго хлопали друг друга по плечам и клятвенно обещали в ближайшие дни созвониться и встретиться, чтобы выпить нашего любимого бурбона и поговорить о футболе.

С тех пор я никогда больше не видел Джимми и вскоре забыл о его существовании.

…С пугающей скоростью пронеслись годы. Много лет. Я состарился, заработал тяжёлый радикулит и лёгкий диабет, но всё ещё был способен сажать цветы, стоя на коленях. И теперь, в этом состоянии, в один из жарких майских дней я возвращаюсь к вам, дорогой читатель.

Работа шла медленно, но успешно, и цветы уже складывались в правильный узор, когда на траву рядом со мной упала тень. Я поднял голову. Передо мной стоял элегантно одетый белокурый джентльмен, а рядом с ним, чуть позади — рыжеволосый молодой человек с блокнотом. Белокурый широко улыбался. Это был он — мой старый друг Джимми, слегка обрюзгший и располневший, но всё ещё безошибочно узнаваемый.

— Боже мой, Джимми! — закричал я, преодолевая шок. — Джимми Махер! Рад тебя видеть! Как поживаешь, старина?

— Здравствуйте — отвечал Джимми. — Разрешите представиться. Я Джеймс Махер. Я баллотируюсь в палату представителей штата от нашего округа. Приятно познакомиться.

— Джимми, ты что, не узнаёшь меня?

— Я с вами полностью согласен, — с готовностью отвечал Джимми. — Как ваш представитель в конгрессе, я намерен продолжать бороться за бесплатное медицинское обслуживание граждан нашего штата, за бесплатное образование в колледжах, а также за дальнейшее повышение, одновременно с дальнейшим понижением…

Я понял, что в организме Джимми произошла мутация, и его анатомия претерпела необратимые изменения. Из обычного мужчины он превратился в особь третьего вида — в политического деятеля. Теряя надежду, я предпринял последнюю попытку вернуть Джимми в лоно создавшей его природы.

— Джимми, — ласково сказал я — мы с тобой не виделись много лет. Давай зайдём в дом, выпьем наш любимый Бэйсил Хейденс, поговорим…

— Так же, как и вы, я считаю, что мы должны принять решительные меры против изменения климата на планете, — сказал Джимми, ни на секунду не задумываясь. — Засорение окружающей среды в результате сжигания угля и нефти неизбежно приведёт …

Я бросил совок, плюнул и, не прощаясь с Джимми, пошёл в дом выпить в одиночестве.

Иллюстрации Вальдемара Крюгера

Об авторе

Александр Матлин *по профессии — инженер-строитель, специалист по морским портам и водным путям. В этом качестве он проработал сорок лет в США, а до этого — пятнадцать лет в Москве, откуда уехал в 1974-м году.*

Помимо проектирования причалов, в Москве Александр писал сатирические рассказы и фельетоны и публиковал их в советской периодической печати, главным образом — в журнале «Крокодил». В начале 1970-х годов в популярной серии «Библиотека Крокодила» вышла книжка его сочинений. Гонорар за книжку Александр истратил на отказ от советского гражданства и выездную визу. Он считает, что это было, как говорят в Америке, «the best thing money can buy».

В Соединённых Штатах Матлин продолжает писать рассказы, которые публикуются в русскоязычных газетах и журналах в Америке, Израиле и Канаде. Многие из них ходят по интернету, зачастую без имени автора. В 2010 году в Москве, в издательстве Вагриус вышла книга рассказов и стихов Матлина «На троих с ЦРУ».

В 2019 году в издательстве Bagriy & Co (Чикаго) вышел сборник рассказов «Войти в реку времени».

Постоянный автор журнала «Времена».

Давид ШРАЕР-ПЕТРОВ

ЗООПАРК ИСКУССТВЕННЫХ ЗВЕРЕЙ

ФАНТЕЛЛА

Шленские и Друзкины отправились в местный зоопарк на 17-м экзите 95-го хайвэя, который тянется из Флориды вдоль восточного побережья Атлантики до Канады. Обе пары жили в одном из штатов Новой Англии. У этого штата, как у всех других, была своя столица, своя филармония, свой симфонический оркестр, свой театр, свой Капитолий и — свой Зоопарк. Жители штата гордились Зоопарком и всегда возили туда гостей из других мест Америки или даже из других стран. В Зоопарк и в город дворцов и яхт. Собственно, это были две главные достопримечательности штата: слоны, тигры и обезьяны в зоопарке и приморские дворцы-музеи.

В город дворцов они ездили вместе несколько раз, а вот в Зоопарк (вместе) не приходилось. Они — это две академические пары: американские профессора Стив и Роуз Шленские и новоамериканская пара, тоже профессорская: Боб и Маша Друзкины. Шленские переехали в этот город два года назад, когда Стив, профессор психологии одного из коннектикутских колледжей, вышел на пенсию, а Роуз готовилась оставить кафедру биологии того же колледжа через два-три года. Шленские переехали из Нью-Хейвена, удачно совершив продажу старого и покупку нового дома.

Когда Шленских спрашивали: чем вызван их переезда в другой город, Стив (обычно он) отвечал, слегка затягивая гласные и улыбаясь:

— Нам расхваливали местные рестораны.

— А разве в Нью-Хейвене хуже? — спрашивал кто-нибудь из вновь обретённых приятелей.

— Совсем другие, — отвечали Шленские.

Никто не решался оспорить предпочтение одних ресторанов другим, но никто и не верил в глубине души, что это может быть веской

причиной для переезда. И поскольку люди сближаются из чувства доверия, Шленские с их загадочным переездом оставались ограждёнными неким магическим кругом, через который не решалась переступить истинная дружба.

Друзкины оказались первыми, кто не пытался выяснять и выспрашивать. Они познакомились со Шленскими на концерте русского струнного квартета. Исполнялся Шостакович. Познакомились после концерта в фойе филармонического зала Университета, где местное музыкальное общество устроило традиционный приём в честь исполнителей. Боб Друзкин пил из прозрачного стаканчика красное вино, а Маша отщипывала фиолетовые ягоды винограда, когда услышали, как полная дама в английском строгом костюме, с короткой стрижкой коричнево-крашеных волос и выражением вечной грусти в глубоко сидящих глазах, сказала господину в тёмном двубортном костюме-тройке, с седой пышной шевелюрой и седыми аккуратно ухоженными усами:

— Стив, я была бы счастлива сказать музыкантам слова благодарности по-русски. Ведь это был родной язык моей покойной матери.

Господин в пышных усах (Стив Шленский) сочувственно улыбнулся ей и безвольно пожал плечами. Это видели и слышали Друзкины. Боб (профессор физики) промолчал, а Маша (живая и отзывчивая голубоглазая блондинка, музыковед) поставила свою бумажную тарелочку с виноградом на стол и обратилась к даме в короткой стрижке:

— Если вы хотите, я с удовольствием переведу ваши слова на русский.

Вся сцена была трогательной: любезное предложение перевести восторженные слова Роуз, искренняя реакция руководителя квартета, наполнение пяти одноразовых стаканчиков красным калифорнийским вином, тост во славу русской музыки… И разговоры, разговоры о русских корнях американцев Шленских и прошлой жизни в России эмигрантов Друзкиных. Впрочем, эта часть вечера (разговор о семейных корнях американцев и новоамериканцев) продолжился в доме у Стива и Роуз, на одной из тихих улочек, выбегающих на бульвар Чёрного Камня. Немедленно после концерта и последующего приёма в фойе Шленские пригласили Друзкиных к себе на чашку кофе и рюмку ликёра.

Так они подружились. Дружба ли это была или не дружба, понимается по — разному на разных широтах, но все внешние атрибуты дружбы двух интеллигентных семей присутствовали. Они приглашали друг друга на обеды не реже чем два раза в месяц. Шленские — по пятницам с зажиганием субботних свечей, с произнесением субботней молитвы (чаще всего молитву произносила Роуз; Стив причислял себя к агностикам), с разрезанием субботней халы и бесконечными разговорами. В отличие от Стива Шленского, который был велеречив и склонен к многократному пересказу подробностей своего бруклинского детства в семье сапожника, Боб Друзкин, родившийся в центре Москвы, был немногословен и сдержан в воспоминаниях. Даже физический облик Боба (коренастый, широкогрудый крепыш, скорее штангист, чем профессор) говорил о замкнутости силовых линий души и тела. Боб слушал разговоры и, казалось, был поглощён более в оценку кулинарных способностей Роуз, нежели в мемуаристику Стива. Он слушал, ел и время от времени улыбался, так открыто и ясно, что это искупало несостоявшиеся комплименты в адрес Стива, который наводнял свои воспоминания психологическими и философскими комментариями, говорившими о свободном миропонимании, весьма далёком от этических условностей или политических пут.

— Я не сомневаюсь, — заявил однажды Стив, — что родись я на трамтарарамских островах, где с молоком матери младенец впитывает вкус к мясу врага, обитающего на соседнем острове, кто знает, какого рода жаркое, приготовленное мои ангелом — туземной Роуз, плавало бы в красно-коричневом, как виноградники Арли, соусе. Вы не согласны, господа? Так отведайте и убедитесь!

Шленский хохотал, расплёскивая из пузатого бокала десятилетнее «Бордо» и оглаживая усы пирующего барина.

Так они дружили больше года и были счастливы этой дружбой. Особенно Друзкины. Нелегко подружиться в эмиграции. Да и Шленские, казалось, были вполне довольны своими русскими друзьями. Наверно, от одиночества. Как — то зашёл разговор о детях. Дочь Друзкиных Таня стала адвокатом, вышла замуж за доктора (русского еврея) и жила в Бостоне. У Шленских тоже была дочь. Актриса. По словам Стива и Роуз — очень талантливая.

— Где играет? — поинтересовалась Маша.

— В самых неожиданных местах, — ответила Роуз.

— На Бродвее?

— Случалось и там. Но больше в провинции. Впрочем, — добавила Роуз, — на некоторое время связь между нами была утрачена…

И вот — совместный поход в Зоопарк.

Лето в Новой Англии переменчивое. Порой жаркое, влажное, изматывающее. А иногда, как в тот июльский день, погода была на редкость лёгкая. Прошедший накануне дождь промыл воздух так, что даже на хайвэе можно было ехать с откинутым верхом. У Шленских был похожий на зелёного шершня «Мустанг». Они любили приглашать Друзкиных прокатиться к морю или в один из окрестных парков. В тот день был намечен Зоопарк. Zoo.

Было воскресенье. Оживлённые семьи с детишками за руку, в колясках, а то и на плечах, шагали по аллеям, поглощая мороженое, глазея на диковинных зверей и разыскивая кафетерии и ресторанчики, где можно основательно закусить, скажем, гамбургером с жареной картошкой или сосисками, щедро приправленными горчицей и заложенными в пасть раскроенной вдоль брюха продолговатой булочки. Наши визитёры выглядели несколько необычно среди молодой простонародной толпы. Но и они бодро шагали куда-то, где красными буквами и картинками на зелёных указателях были обещаны слоны.

На большой поляне, утрамбованной как площадка для баскетбола, топтались три слона. Один, высоченный и немолодой, судя по морщинистой серобелёсой шкуре, проделывал один и тот же круг движений: запускал хобот в бассейн с проточной водой и обливал себя со стороны спины, потом снова набирал воду и обливал, запускал и обливал… Ему было явно наплевать на слониху и слонёнка, закусывавших прессованным сеном, которое только что привёз в тачке чернокожий служитель в красной бейсбольной кепочке.

Служитель был даже на определённый градус веселее, чем глазевшая толпа. Он вовлекал слониху и слонёнка в проделывание почти циркаческих фокусов (подметание поляны при помощи метлы, которую удерживал хобот; стояние на одной ноге; дружественные поклоны и т.п.). Чёрный служитель в красной бейсбольной кепочке премировал слониху и слонёнка оранжевыми конусами морковок. Иногда служитель вспоминал и о старом слоне.

Особенно удачлив был слонёнок, сообразительность которого изумляла не только доверчивую молодую толпу, но и наших отнюдь

немолодых друзей, и особенно, скептичного Стива Шленского. Слонёнок мог покачиванием хобота показывать результат сложения огромных пластиковых цифр, которые предлагал его вниманию служитель, умел пританцовывать под музыку вальса, гладить ребятишек бойким хоботком и, даже, как показалось Маше Друзкиной (она тотчас объявила о своём наблюдении) — подмигивать глазами-пуговками. То левым, то правым.

— Я точно видела: то левым, то правым!

Все засмеялись, но тема больше не развивалась.

Потом был пруд и мостик над речкой/ручьём с водоплавающими птицами (утки, лебеди, гуси), которые кружили по скользкой поверхности тёмной воды, как по льду, время от времени ныряя за придонным лакомством или нехотя взмахивая ленивыми от заповедной жизни крыльями. И опять же Маша Друзкина заметила, что некоторые водоплавающие птицы кружат, ныряют и взмахивают крыльями в каком-то механическом порядке как заведённые. Она попыталась снова поделиться своими наблюдениями с мужем и друзьями и даже была поддержана Стивом, но в том смысле, что в условиях замкнутого социума (пруд или вольер), вполне возможно коллективное копирование поведения.

— Всего лишь копирование! — Стив пристально посмотрел на Машу. Она рассчитывала на более захватывающее объяснение.

Когда они вчетвером пили кофе с пирожными в уютном ресторанчике неподалёку от обезьянника, Боб неожиданно спросил:

— А что, если в неволе, ну, скажем, в условиях зоопарка или концлагеря, психология животных и людей, — впрочем, тоже в анатомическом смысле животных, то есть очень близких по своим математическим моделям мышления, — что если при содержании в замкнутом пространстве, где довлеют предписанные правила и установки, конечно же, сюда входят и старческие дома, и армия, и спортивные команды, что если — в этих искусственных условиях — человек превращается в социальную марионетку?

— В каком смысле — марионетку? — спросила Роуз.

— Во всяческом, — откликнулся Боб, перевернув стул спинкой к столику и усевшись как всадник. — Становится в такой же мере куклой, как заводная игрушка становится лающей собакой, или куклой, которая плачет, зевает и закатывает глазки.

— Я читала даже про секс-кукол. Со всякими интимными подробностями, — заметила Маша Друзкина, которая считалась в их компании вольнодумкой.

— Интересно! — только и сказал Стив на этот раз необычайно коротко. — Впрочем, нас ждут братья-обезьяны и сестры-обезьянихи. Все засмеялись.

Какой смысл пересказывать самое занятное в Зоопарке! Мартышки разных пород и окрасок (зелёные, рыжие, жёлтые, чёрные и белые) скакали внутри вольеров, обтянутых со всех сторон сетками, делая вид, что зрители им глубоко безразличны. В одной из клеток содержалась весьма диковинная пара редчайших мартышек, у которых пигментация волос была строгим признаком пола: самец — в белоснежной шерсти, самочка — в густом чёрном мехе.

— Как я и Роуз! — снова сострил Стив. Бывает, что остроумие показывает крайнее возбуждение или предчувствие непредвиденного.

Наши друзья порядочно устали и хотели уже уходить, когда наткнулись на толпу зрителей, плотно облепивших клетку с семейством орангутанов. Рыжие, длиннорукие клоуны колесили по клетке, касаясь скрипаческими пальцами дощатой деки пола. Они были в рост невысокого человека, а глаза, вполне осмысленные, смотрели с искренним желанием завести беседу. И не только о бананах, связки которых свисали с верхушек гимнастических снарядов, являясь приглашением к последующим умственно-трудовым операциям: подставить лесенку, воспользоваться шестом, войти в сговор с одним из сородичей. И — достать лакомство. Особенное внимание любопытствующих (не зевак, а молодых мамаш и папаш, занятых полезной для общества педагогической деятельностью: приучением своих собственных чад к достижению сладкой цели при помощи разгадывания практических головоломок), особенное внимание любознательной толпы привлекала орангутангка, которая выделывала музыкальные трюки. Например, служительница, наверняка, студентка музыкального колледжа или начинающая диск-жокейша, затянутая в голубой комбинезон, завершавшийся бутоном жёлтой блузки, играла на киборде какую-нибудь популярную песню. Сообразительная орангутангка начинала радостно приплясывать и подавать голос, узнавая мелодии. Зрители восторженно хлопали в ладоши и подбрасывали счастливых чад. Шленские и Друзкины аплодировали тоже. Особенно Стив. Он не мог остано-

виться, даже когда толпа угомонилась и начала редеть. Он как заворожённый стоял у клетки. Музыкальная орангутангка подошла к самой решётке и помахала Стиву длиннопалой рукой. Он утверждал после, что даже улыбнулась.

…Карминный колпак абажура отбрасывал тени на лица друзей. Сидели у Шленских в гостиной. Было далеко за одиннадцать вечера. Правда, суббота, и Роуз не надо было завтра вставать чуть свет и гнать за сто миль в свой колледж. По воскресеньям Роуз заметно грустнела, так что Друзкины предпочитали встречи со Шленскими по пятницам/субботам. Они сидели в гостиной, стены которой были украшены эстампами из Бостонского музея изящных искусств. Стив спросил, кто и что будет пить, и отправился смешивать дринки. Роуз принесла сыр рокфор на фаянсовой голландской дощечке с голубыми шхунами и плюхнулась в глубокое кресло, обтянутое губчатым коричневым сукном. Боб принялся (чтобы убить паузу молчания) листать альбом красот Андалузии, откуда недавно вернулись Шленские.

Был конец сентября. Начало учебного года. Начало театрального сезона. Вчетвером они побывали на сегодняшней премьере в «Тринити»,— местном репертуарном театре, известном на всю Америку. Спектакль настолько разволновал Шленских (Роуз плакала, Стив молчал на обратном пути, сидя рядом с Бобом, который шоферил), что Друзкины, высадив Шленских около их особнячка, сами напросились в гости «на пять минут». Стив принёс дринки: для Маши Друзкиной рюмку апельсинового ликёра, для Роуз минералку со льдом, для Боба рюмку бренди, а себе — водку/мартини. Выпили за благополучное возвращение Шленских из путешествия в Европу.

— Ну как вам пьеса? — спросила Роуз в пространство между Машей и Бобом.

У неё была такая манера, от стеснительности, что ли, задать вопрос вообще, словно бы задачу всему классу:

— Ну как вам пьеса?

— Мне понравилась! — откликнулась Маша. — Динамичная, современная. И актёры играли с заводом. Особенно инженю. Роль-то небольшая, а с каким блеском сыграна: тут тебе и драма неудачницы — поэтессы, и песенка исполнена так, что за душу берёт.

— И элементы эксцентрики для полного модерна! — подхватил Боб оценку жены.

— А вы как думаете, Роуз? — спросила Маша хозяйку, но увидев, что та молчит, и не найдя в себе сил остановить спрашивание, обратилась к Стиву: — Или вы, Стив? Правда ведь, эта Бет Хьюз в роли неудачницы-поэтессы была очень хороша?

— Спасибо, — улыбнулся Стив, но как-то грустно улыбнулся: — Это наша дочь. Елизабет. Бет. Бет Хьюз — её театральное имя.

Друзкины молчали, понимая, что затронули больное.

Известно, что людям надо выговориться. Такова натура человеческая. Тяжело таить в себе хорошее и плохое. Хорошим хочется поделиться с друзьями, а от плохого защититься дружбой. Шленские искали защиты. Защиты от тяжёлой тайны, которую они несли в одиночестве. Неудивительно, что Стив, добавив бренди Бобу, и смешав себе ещё одну порцию водки/мартини (дамы отказались), начал рассказ:

— Мы ведь жили в предместье Нью-Хэйвена, на берегу океана. Бет росла весёлой здоровой девочкой. Она всегда была некрупной, но удивительно подвижной, прыгучей, отчаянной. Она была как пружинка. Постоянно выделывала на пляже всяческие трюки: крутила колесо, изображала кого-нибудь, обезьянничала. Да-да! Бет больше всего на свете любила подражать животным. Особенно обезьянам. Так и прозвали её в школе — Бет — обезьянка. Дразнили и любили одновременно. Так у детей водится. К тому же, Бет была ведущей актрисой школьного театра. Всё было бы хорошо. Разные дети бывают. По-разному развиваются. Но с нашей Бет случались крайности. Она временами заигрывалась. Бывало, после спектакля Бет никак не могла выйти из роли. Мы везли её домой, а она продолжала доигрывать, придумывая новые монологи и даже играя за других артистов. То есть, после спектакля разыгрывала продолжение спектакля, досочиняла пьесу, играя свою роль и роли других героев. Иногда эти спектакли продолжались по нескольку часов и даже дней. Тогда приходилось выводить Бет при помощи лекарств, прописанных детским психиатром… Бет поступила на театральное отделение Браунского университета. Несколько раз мы с Роуз тайком — тайком! — приезжали на спектакли с её участием. Бет противилась нашим приездам. «Вы слишком переживаете, а это выводит меня из нормального состояния!» По правде сказать, мы потеряли ориентир: что для неё нормально, а что нет. Бет закончила театральную школу и начала работать в разных театрах. Вы знаете, в Америке очень часто актёров набирают на одну пьесу. Отыграна пьеса, труппа распускается. Надо искать роль в другом театре. Она была талантлива,

да и амплуа инженю требует набора качеств, которые есть не у всякой актрисы. У нашей Бет они были. Так что ей везло. Она гастролировала по всей Америке. В Англии или даже в Австралии. Мы не виделись месяцами. Иногда по целому году. Но где бы не была Бет, она всегда приезжала на День Благодарения.

— А что же сейчас, когда известно, что она в нашем городе? Вы не можете пойти к ней за кулисы, позвонить ей, позвать к себе домой? — спросила Маша Друзкина с удивлением и болью в голосе. Болью за своих друзей Шленских. И удивлением тому, что может случаться с людьми «в этой Америке». Роуз была так тронута сочувствием Маши, что обняла её и поцеловала в щеку:

— Спасибо, милая. С этим ничего не поделаешь.

— А вы пробовали, ну, скажем, встретиться, словно бы случайно, приласкать, тронуть Бет какими-то дорогими воспоминаниями: о детстве, о доме, о школьном театре? Да вам лучше знать, что ей больше всего дорого. Пробовали?

— Пробовали и это. Тогда Бет переставала даже звонить нам или посылать короткие записочки по электронной почте, — сказала Роуз. А Стив добавил:

— Вот сегодня Бет сразу же разглядела нас в зале. Даже незаметно помахала рукой. Но это вовсе не значит, что она разрешает пойти к ней после спектакля. Это всего лишь знак, что она жива — здорова и продолжает любить нас.

Стив отправился на кухню варить кофе.

— Для всех — дикаф! — крикнула мужу вдогонку Роуз.

Боб пошёл вслед за Стивом. На кухонной стене, облицованной жёлтыми керамическими плитками, висел эстамп: обезьянка, жонглирующая шариками под звуки шарманки, ручку которой крутит девочка-циркачка в чёрном трико. Вполне традиционный эстамп, повторяющий тему бродячих циркачей. Скажем, в духе пикассовской «Девочки на шаре». Стив обратил внимание на упорный взгляд русского приятеля, который пробормотал:

— А что если?..

В действительности же Боб подумал: «А что если сегодня в театре Тринити и тогда в Зоопарке — инженю и музыкальная орангутангка? А что если?..»

Словом, под каким-то вполне достойным предлогом русский профессор Боб Друзкин снова оказался в Зоопарке. Кажется, было объ-

явление в газетах, что с на одном из маленьких островов Берингова моря поймали полярных медведей, самца и самку, необыкновенной красоты. И эта экзотическая пара доставлена в местный Зоопарк. Роуз и Маша заявили, что отправляются по магазинам одежды и обуви «экипироваться к зимнему сезону», а потом «зайдут куда-нибудь перекусить». Стив страдал приступом люмбаго и отсиживался дома. Так что причина для того, чтобы одному провести вторую половину дня в зоопарке, была у Боба Друзкина вполне весомая. Конечно же, белые медведи были только предлогом, уловкой, чтобы подтвердить или опровергнуть странную мысль («А что, если?..»), пришедшую ему в голову, когда Стив Шленский варил кофе. Тем не менее, по своей привычке к дотошному наблюдению за ходом экспериментов Боб Друзкин сначала отправился посмотреть белых медведей.

День был осенний, хмурый, но вдруг из-за ноябрьских туч выглянуло солнце. Бассейн с голубой водой и гигантскими кристаллами льдин, среди которых плавали ослепительно белые крупные звери, показался Бобу одним из чудес природы. Служитель, стоявший с ведёрком внутри ограды бассейна, через каждые пятнадцать минут (Боб заметил время и, несмотря на свой другой, главный, особенный план, следил за этими минутами), через каждые пятнадцать минут бросал рыбин, которые мгновенно исчезали в розовых пещерах медвежьих пастей. «Через каждые пятнадцать минут по рыбине! Поразительная чёткость. Экспериментальная!», — подумал Боб.

Потом он разыскал вольер с обезьянами, ту самую клетку, в которой обитали орангутаны, и начал наблюдать. Рыжие, длиннорукие обезьяны перебежками колесили по клетке, касаясь скрипаческими пальцами дощатой деки пола. Они были в рост невысокого человека, а глаза, вполне осмысленные, смотрели так, будто хотели завести беседу. И опять, как в тот раз, когда Друзкины посетили зоопарк вместе со Шленскими, особенное внимание толпы привлекала орангутангка, которая выделывала музыкальные трюки. Опять, как прежде, сообразительная обезьянка начинала радостно приплясывать и подавать голос, когда узнавала мелодию. И опять зрители восторженно хлопали в ладоши и подбрасывали счастливых чад.

Почти сформировавшаяся гипотеза буравила мозг профессора. Он решил обежать зоопарк, чтобы подтвердить догадку: слонёнок покачиванием хобота показывал результаты сложения огромных пластиковых цифр и подмигивал глазами-пуговками, то левым, то правым…

водоплавающие птицы кружили, ныряли и взмахивали крыльями в каком-то механическом порядке, как заведённые… и, наконец, музыкальная орангутангка!

Он вернулся к её клетке.

Музыкальное выступление продолжалось. Взрослые хлопали в ладоши, как дети, в то время как дети восторженно вопили. Орангутангка артистически кланялась зрителям и, как будто бы, улыбалась. «Ну, это уж слишком! Воображение разыгралось и прочее», — увещевал себя Боб Друзкин. Насмотревшись и навосхищавшись невиданной музыкантшей в клетке, группы зрителей уходили к другим занимательным животным. На смену им приходили новые — с ребятишками за руку или на плечах, а то и в колясках. Порой это были пары без детей: студент со студенткой, молодой рабочий/фермер/мастеровой с женой или подружкой, или же пожилые люди, пришедшие, чтобы подбодрить себя, отвлечься от непрерывных размышлений о визитах к врачам, таблетках или физиотерапевтических процедурах. Зоопарк возвращал их всех в беспечное состояние духа, которое бывает только и детстве и у взрослых в цирке. Ну и, конечно, как теперь, при обозревании такого множества редких зверей и птиц, среди которых встречаются необыкновенно разумные. Почти очеловеченные.

Группы зрителей приходили и уходили, а наш профессор стоял у клетки с орангутанами и наблюдал. Конечно же, размышляя при этом. Поскольку целенаправленное наблюдение и есть наиболее распространённый инструмент размышления. По крайней мере у человека науки, экспериментатора.

Осенью рано темнеет. Да и Зоопарк должен был вскоре закрываться. Боб Друзкин обнаружил, что стоит один перед клеткой для орангутанов, а самих-то обитателей давно нет. Они ушли в помещение за клеткой, где, наверняка, потеплее. Ушли со сцены за кулисы. Как в театре, когда актёры уходят за кулисы, чтобы отдохнуть. И с ними — рыжегривая музыкантша.

Боб собрался было уходить (А чего было ждать? Какие смутные надежды питали его воображение?), как из-за угла вольера, на аллее, появилась лёгкая фигурка девушки, закутанной в тёмный плащ. Девушка не увидела или сделала вид, что не увидела Боба, который стоял у дальнего угла, рядом с клеткой, где ещё недавно резвились орангутаны. Она выскользнула из-за угла вольера, примыкавшего к главной аллее, и скорой походкой, почти бегом направилась к выходу. Боб поспешил

за ней, замирая и прячась за кустами орешника и боярышника, когда ему казалось, что девушка замедляет шаг или оглядывается. Она вышла из ворот, и Боб потерял её из виду. Он бросился к выходу и успел заметить маленький жёлтый «Фольксваген», рванувшийся от стоянки в сторону хайвэя. Словно каскадёр на съёмках остросюжетного фильма, Боб вскочил в свою «Тойоту» и помчался вслед. В сумеречном свете осеннего вечера трудно было разглядеть на расстоянии цвет и форму именно той машины, которую преследовал профессор Боб Друзкин. Да и при частой смене рядов на высокой скорости любая машина могла затеряться в потоке или нырнуть в первый попавшийся экзит. Боб мчался в сторону города, полагаясь на судьбу. Надо было ехать домой. Но вместо этого он свернул с хайвэя и въехал в даунтаун.

Громадились небоскрёбы банков. Терялись в сумрачном небе островерхие крыши соборов. Вращались космическими каруселями рекламы отелей. Машины сновали вдоль главной площади города в поисках парковки. Швейцары зазывали публику поужинать, гарантируя изысканную пищу, приготовленную по старинным рецептам кулинаров Италии, Франции, Индии, Китая и Японии. Боб кружил по даунтауну впервые в жизни, не зная, куда он едет. Может быть, в глубине души он надеялся, что в одном из переулков окажется жёлтый «Фольксваген», который умчал Бет Хьюз? Он и не сомневался ни минуты, что это была она, дочь его приятелей Шленских. Но что толку было в этом знании, в этой догадке, в этой гипотезе?

Боб Друзкин был учёным, экспериментатором. Вполне понятно, что как только он предположил, что разгадал механизм, приводящий в движение зоопарк, грандиозность замысла и наглая смелость воплощённой фальшивки поразила и восхитила нашего физика: сочетание чучел животных, управляемых электроникой, и актёров, одетых в шкуры зверей. Никаких проблем с кормлением животных. Безопасность служителей. Чистота и отсутствие болезней. Пополнение Зоопарка манекенами редчайших животных, благо искусство художественной имитации при использовании пластичных материалов достигло в наши дни фантастического совершенства. И это значит, что не такое уж сумасшествие было предположить, что музыкальная обитательница орангутаньей клетки и быстроногая девушка, закутанная в тёмный плащ,— одно и то же лицо. Предположения его шли дальше, приближаясь к тому пределу, который может быть подтверждён или опровергнут реальностью. Если всё происходит в реальном мире.

Конечно, всё могло происходить в отрицательном пространстве снов и галлюцинаций. Боб Друзкин кружил в своей «Тойоте» по улицам и переулкам реального города, осматривая каждый закуток в надежде увидеть жёлтую черепашку автомобиля.

Из вполне реального домашнего мира в реальности его автомобиля позвонил его телефон, и абсолютно реальный голос его жены Маши спросил, едет ли он, Боб Друзкин в своей «Тойоте» по направлению к дому, который расположен на Ист-Сайде города, и что его вполне реально ждут с обедом:

— Бобчик, куда ты запропастился?

— Шатался по зоопарку. Еду к тебе, Машуня.

День Благодарения отмечали у Шленских. Роуз, разгорячённая готовкой и ожиданием чего-то важного, необыкновенного, которое всегда ждут по праздникам, и ради чего устраиваются праздники, сновала между кухней и столовой. Наконец, Стив голосом дворецкого объявил, что обед готов и гости приглашаются к столу. Уселись в заведённом порядке: Стив в дальнем конце стола, Роуз — напротив, поближе к кухне, Маша и Боб спиной к окну, рядом. Другая сторона стола была свободна. Однако на этот раз Друзкины заметили, что место напротив них приготовлено для кого-то: тарелки, ножи/вилки, бокал для вина.

Роуз исчезла на кухне. Стив подал сигнал (он был мастер дирижировать семейными представлениями), взмахнув руками и начав басить марш: «Тратата-тарарара-рарара-рара!» Друзкины подхватили бравурный мотив, а Боб даже начал стучать вилкой по ножу. Роуз вынесла на блюде жареную индейку, пышное золотисто-коричневое тело которой напоминало о средневековых пиршествах, отблеске костров, бородачах в тяжёлых кожаных одеждах и прочем, что не имело никакого отношения к традициям еврейских застолий, но прижилось и стало домашним праздником. Стив надел фартук, достал из деревянной коробки, которая напоминала набор хирургических инструментов средневекового хирурга, достал длинный кинжал на костяной чёрной ручке, а к нему — громадную вилку, напоминавшую трезубец, и приступил к разделыванию индейки.

Не успел Стив отсечь первый пласт от бока жертвенной птицы, покрытого аппетитной румяной корочкой, как за окном послышался шум подъехавшего автомобиля, стукнула дверца, процокали быстрые каблучки и звякнул дверной звонок. Трезубец выпал из рук Стива,

а Роуз, которая несла из кухни плошку с тушёной тыквой, замерла в улыбке свалившейся с неба радости. Оба они, хозяева праздничного обеда, бросились в гостиную открывать входную дверь. У Шленских гостиная и парадная дверь соединялись тамбуром, где стояла рогатая (ветвистая) вешалка для пальто, плащей и шляп. Так что Друзкины не увидели первых мгновений встречи тех, того или той, кто прикатил на автомобиле как раз, когда Стив отсекал первый кусок жареной индюшатины.

Но уже через минуту улыбающиеся, с особенным сиянием глаз, которые увлажнились неслыханной радостью, Роуз и Стив вернулись в столовую, ведя за руки миниатюрную прелестную девушку, которая беспрерывно улыбалась, рассказывая что-то необыкновенно занятное. Она белозубо хохотала, вскидывая тяжёлую золотистую гриву. Она сыпала именами знаменитых драматургов и названиями пьес. Она не обращала никакого внимания на изумлённо взирающих Друзкиных. Она проделывала всё это, словно столовая была сценой, а все остальные — зрителями. Нетерпеливая Маша Друзкина первой вскочила со своего стула и шагнула навстречу гостье — представиться. Боб замер, узнав мгновенно. Да, это была та самая, пробежавшая мимо него по аллее зоопарка и умчавшаяся в жёлтом «Фольксвагене». Он тоже поднялся, но единственно для того, чтобы убедиться. Напротив окна приткнулся к тротуару автомобильчик-жучок. Приехавшая была дочерью Шленских, той самой инженю Бет Хьюз, которая играла в театре «Тринити» роль молодой поэтессы.

Все эти мысли так сконцентрировались в сознании Боба Друзкина, что он не отрывал своих угольных глаз от рыжеволосой девушки. Бет усадили напротив Друзкиных. Стив откупорил бутылку бургундского, налил немного в бокал Боба и подождал, пока его русский приятель продегустировал и одобрительно кивнул: «Высший класс!»

Индейку, просидевшую в чистилище электродуховки, окружали варёные, тушёные и жареные овощи из новоанглийских огородов: тыква, бобы, картошка, морковь, брюква, помидоры, баклажаны. Кроме того, к жареной птице подано было желе из клюквы, а вместо хлеба был испечён тыквенный пирог. Хорошая еда сопутствует приятной беседе. Стали говорить о недавнем романе Сола Беллоу «Равельштейн».

— А что, если бы Равельштейн не заразился ЭЙДСом? — задал провокационный вопрос Стив. — Как тогда бы развивался сюжет романа?

— Возможно, романа и вовсе не было бы, — сказала Маша.

— Но роман был. И даже два — независимо от ЭЙДСа: роман между Равельштейном и восточным «принцем» Никки и — Равельштейном и Чиком. Два полуразвитых романа — бытовой и философский, — сказал Боб. — Дамокловом мечом сюжета была драматическая возможность того, что сам «принц» заразится. А для Чика — потерять навеки единственного (соразмерного его интеллекту) собеседника ума и сердца.

— Да, но вы забыли ещё про третий роман между молодой аспиранткой Равельштейна Розамундой и старым писателем Чиком. Разве одного этого недостаточно, чтобы стать главным сюжетом?! — воскликнула Бет, откусывая от тыквенного пирога.

— В чём же здесь катарсис трагического? — вставил словцо Стив, отхлебнув бургундского.

— Ну знаешь, мой милый, представь себе, — горячо оборвала мужа Роуз, выразительно посмотрев на Бет, а потом куда-то в потолок, что на её языке жестов, наверняка, обозначало запредельный возраст для условного партнёра дочери по воображаемой трагедии.

— Ну, если так, мой ангел…, — только и ответил Стив.

— Если так ты это себе представляешь, драгоценная матушка (от «драгоценной матушки» лицо Роуз болезненно перекосилось), если так ты поняла «Равельштейна» Сола Беллоу, то ты ровным счётом ничего не поняла. Как, впрочем, и никогда не понимала в литературе. Прости за откровенность. (Роуз превратилась в каменного Будду, не подтверждая и не оспаривая.) Именно любовь стариков к «принцу» Никки и аспирантке Розамунде, которые годятся Равельштейну и Чику во внуки, и есть квинтэссенция романа. Запретный плод сладок. Равельштейн вкушает от запретного плода, заражается и умирает. Чик же, отведав любви, отравляется, но преодолевает смерть, а, следовательно, старость, и становится бессмертным, — отчеканила свой монолог Бет.

— Вот вы как поняли роман…, — задумчиво сказал Боб.

Жёлтый «Фольксваген» Бет уже был на парковке, когда Боб Друзкин примчался к зоопарку после семинара. Ни звука не доносилось из-за ограды: ни львиного рыка, ни трубного гласа слонов, ни гомона вечерних птиц. Он окончательно поверил в свою гипотезу. Казалось бы, надо остановиться. Бог с ним, пусть всё идёт заведённым порядком. Ведь не пытается же он вторгаться в механизмы государственного

управления, которые тоже подчинены законам театра марионеток. Или в падения и взлёты биржи. «Надо принять обнаруженное как один из неизвестных мне законов социальной природы», — уговаривал себя Боб. И не мог уговорить. Он хотел увидеть Бет. Хотя бы ещё раз. Он совсем было потерял надежду, предположив, что она заметила его, сидящего в машине, и сбежала, схватив такси, юркнув в автобус, укрывшись в одном из окрестных ресторанчиков. Но вот тень мелькнула на аллее парка, лёгкий силуэт пересёк асфальт парковки, молодая женщина приблизилась к «Фольксвагену» и достала из кармана плаща ключи. Боб выскочил из «Тойоты» и крикнул:

— Бет! подождите, Бет!

Она стояла со связкой ключей в руке — миниатюрная прелестная девушка, вскидывая тяжёлую гриву волос, цвет которых был неразличим в полутьме осеннего вечера:

— Так это вы, так это вы, пытливый преследователь! А я-то было испугалась: кто это гнался за мной в прошлый раз!

— Поверьте, Бет, и я в мыслях не держал, что это вы. То есть, я никак не мог связать девушку, которая … скажем (он замялся, подбирая правильные слова), девушку, которая работает в зоопарке и в то же время служит актрисой… с дочерью моих друзей Шленских.

— Теперь всё соединилось, но от этого никому из нас не легче. А даже гораздо сложнее, — сказала Бет.

— Нам надо поговорить, — предложил Боб.

— Но не здесь же! Я не хочу, чтобы меня видели с кем-то около зоопарка. Сейчас половина шестого. До моего выхода в спектакле около двух часов. Если хотите, посидим в баре, потолкуем. Я знаю один подходящий неподалёку от театра. Не отставайте!

Они сели каждый в свою машину. Бет ехала первой. Боб следовал за ней. Они оставили машины в одном из переулков даунтауна. Как раз напротив бара, на вывеске которого были нарисованы карнавальные маски.

— Здесь нам никто не помешает, — сказала Бет.

Они заказали рюмку столичной водки для Боба, бокал вина для Бет и два эспрессо. В баре было полутемно и наигрывала джазовая музыка. Они сидели на высоких табуретах около стойки. По телевизору показывали последние известия. Сначала улицу арабского города. Кучки толкующих людей в белых рубашках. Крупный план камеры высветил автомобиль. Чёрный дым окутал улицу. Заполыхало пламя. Алая крас-

ка крови залила белые рубашки. Взвыли сирены. Появились санитары с носилками. И сразу же после репортажа из Багдада показали Шри-Ланку. Обезумевших людей, которые пытались спастись от смертоносных волн цунами. И стада слонов, почуявших опасность раньше, чем люди, и спасшихся в джунглях до того, как океанские волны захлестнули обитаемую землю.

— Скажете мне, Бет, это были вы? Рыжая музыкантша в обезьяньей клетке?

Она посмотрела на него с грустным удивлением, как будто бы увидела то, чего ожидала увидеть, но до последней минуты наделась не увидеть. Боб мгновенно определил по её переменившемуся взгляду, что он стоит на краю обрыва их ещё и не начавшихся отношений. Надо было моментально остановиться, шагнуть назад и никогда не возобновлять разговора о зоопарке. Она поняла, что он разгадал в её взгляде смертельную опасность для их нарождающейся привязанности, и успокоилась, белозубо заулыбалась, победно встряхнула медью волос. Боб махнул было бармену: «Пора повторить дринки!», но Бет ласково остановила его руку, положив на неё свою ладонь и повалив кисть его правой руки на дерево стойки:

— Мне больше нельзя. Да и вам следует возвращаться домой в приглаженном виде.

— Откуда вы знаете, сколько мне можно? И в каком виде я обычно прихожу домой?

— Потому что я угадала ваш характер. Я вообще понимаю стариков.

— Стариков?

— Ну да. Старых мужчин. Всех мужчин после пятидесяти я называю стариками.

— Покорно благодарю за старика.

— Не сердитесь и не огорчайтесь. Старики — это соль человечества. В них вся мудрость и сила людей.

— Конечно, я рад. Спасибо. Но и озадачен. Тем не менее, понятным становится ваше пристрастие к роману Сола Беллоу и, в особенности, ваш интерес к любовным линиям, соединяющим «стариков» Равельштейна и Чика с Никки и Розамунд.

— Это и есть квинтэссенция романа!

— Вы это искренне, Бет?

— Ну да! Поэтому я и не сбежала от вас сегодня, как в тот раз!

— Значит, моё дело не безнадёжное, Бет?

— Не окончательно безнадёжное, Боб, — засмеялась она.

Он тоже засмеялся. Он не знал, почему так беззаботно смеётся, как не смеялся давным-давно. Может быть, со студенческих лет, когда они весёлой ватагой вываливались из электрички на платформы подмосковных станций Снегири, Малаховка или Переделкино и шли куда-нибудь в лесную чащу, на лесную поляну, на берег озера или речки, и трепались обо всём на свете, белозубо и беззаботно хохоча во весь рот. — Не окончательно безнадёжное! Это же замечательно, Бет! Это, как в интересном эксперименте: не знаешь, получится ли, но надеешься. И счастлив надеждой!

Она кивнула ему:

— Ты хочешь, чтобы мы встретились снова, Боб?

— Очень!

— Жди меня в этом баре послезавтра в шесть часов. Хорошо?

— Замечательно, Бет!

— Если я не смогу прийти, я тебе позвоню. Дай мне свой рабочий телефон. И не пытайся искать меня в зоопарке или в «Тринити».

— Не буду, Бет.

Боб Друзкин вернулся в свою лабораторию. Там все ещё работали его аспиранты. Он позвонил домой:

— Маша, я только что вернулся с совещания у декана… Опять тягомотина из-за делёжки оборудования… Нет, не жди меня с ужином. Я задержусь.

Он заперся в кабинете. Включил кофеварку. Налил кофе в фаянсовую пузатую чашку. Отхлебнул. Куда он стремится? Чего пытается достигнуть? Зачем он подстерегал Бет? Ведь всё началось с сумасшедшей искры-догадки о том, что весь Зоопарк — это гигантская подделка, собрание подвижных чучел в сочетании с артистами, переодетыми в звериные шкуры. Отлично! Но при чём здесь Бет? То есть, абсолютно «при этом», но не правильнее ли, признав её как соучастницу беспримерной аферы, забыть навсегда. Забыть эту молоденькую и живую, как ртуть, актрису, потому что не забыть — значит быть вовлечённым в опасную историю с распутыванием тайных нитей преступной организации. Или — тоже преступно — делать вид, что ничего не знает. Он увидел Бет в зоопарке случайно. Он мог увидеть её (и увидел) в театре. Клетка Зоопарка, в которой она выделывала музыкальные номера, всего лишь случайное совпадение. Они (Шленские и Друзкины)

могли вовсе не ходить в Зоопарк, а пойти только в театр «Тринити» и там он всё равно увидел бы Бет. Именно на спектакле, в котором она играла молодую поэтессу, он — Боб Друзкин, муж и профессор, влюбился в неё как мальчишка. А во время обеда у Шленских и — сегодня — он осознал окончательно, что безумно влюблён. И ни при чём тут зоопарк со всеми его подпольными аферами! Бет сама по себе влечёт его своим хохочущим ртом и тяжело-медными волосами. Что же ему делать? Как отделить себя и свои чувства к Бет от распутывания подпольных механизмов Зоопарка искусственных зверей? Какое ему, в сущности, дело до этих махинаций! Он думает о них только в связи с Бет. Но как отделить её от зоопарка? И надо ли отделять? Ведь она счастлива. Она даже в клетке с обезьянами продолжает быть актрисой и счастлива этим. Следовательно, дело не в её причастности к преступному зоопарку, а в ней самой. Её подвижное оживлённое лицо, её смеющиеся глаза и хохочущий белозубый рот, окантованный алыми ненасытными губами, её лёгкая девичья фигура с нежными игривыми бёдрами — вот что не даёт ему покоя, будоражит его воображение, рисует неотвязные сочетания эротических картинок, вылезших из таких глубин подсознания, которые не поддаются ни самоанализу, ни самовнушению. Нет, конечно, именно она, Бет Хьюз, дочь его американских друзей Шленских, вырвала его — мужа, отца и профессора — из благополучного быта университетского города и поставила на опасное перепутье.

Через день Боб сидел в баре, дожидаясь Бет. Они договорились встретиться в шесть. Он пришёл немного раньше и заказал джин с тоником. Надо было подбодрить себя. Каждый раз, когда Боб приступал к новому опыту, он задавал себе вопрос: что я жду? Несомненно, эта история с Бет напоминала эксперимент. Необычные условия: Зоопарк и Театр. Непонятная или почти непонятная участница эксперимента Бет. Да и экспериментатор — он сам — неведомо, как поведёт себя в искусственных (по крайней мере для него) условиях. «Что я жду?» — повторил Боб свою мысль вслух. Бармен подошёл к нему:

— Повторить, сэр?

— Спасибо, чуть позже, — ответил Боб.

В это время дверь хлопнула, он услышал лёгкие цокающие шаги. Бет подбежала к нему, поцеловала его в щеку («Здравствуй, милый!») и залезла на табурет. Он взял её ладонь с длинными узкими пальцами

и поднёс к своим губам. Рука Бет пахла весенним садом. Он понимал, что начинает «тонуть», что все его рассуждения и вопросы, задаваемые самому себе, ничего не стоят по сравнению с этой желанной маленькой женщиной.

— Что-нибудь выпьешь, Бет?

— Немного вина.

Он подозвал бармена и заказал бокал «Шираза». Она отпила несколько глотков и спросила, глядя на него пронзительными зелёными глазами:

— Скажи мне Боб, ты влюблён в меня?

— Да, Бет, безумно.

— Что это значит — безумно влюблён?

— Наверно, это значит… это значит… что в тебе воплотились все женщины, которых я любил и с которыми расстался по каким-то причинам. Или о которых мечтаю, но никогда не встречу. То есть, ты вобрала в себя все мои нереализованные влюблённости.

— Подожди, подожди, Боб. Это значит, что я для тебя скорее символ, чем реальная женщина? И ты влюблён в воображение, а не в меня как таковую?

— Может быть, может быть, Бет…

— Почему?

— Потому что я никак не могу в реальности отделить тебя от тех образов, которые ты создала в театре и в Зоопарке.

— Понимаю, Боб. Но ведь и ты для меня не просто мужчина, который влечёт меня как самец и одновременно как интеллектуальный собеседник. Ты тоже играешь роли, создаёшь образы. Образ ученого-физика. Знаешь, я тайком пробралась на твою лекцию. Мне важно было увидеть тебя в этом образе. А на тебя — добропорядочного мужа — я насмотрелась вдоволь в самых разных ситуациях: на обеде у моих родителей, в Зоопарке около обезьяньей клетки, в театральном зале. А со мной ты — в образе любовника.

— Ты за мной наблюдала, Бет? — спросил Боб, ужаснувшись. Да, да, впервые во всей этой более чем таинственной ситуации, он не просто поразился, удивился, изумился. Он ужаснулся, поняв, что за ним наблюдают. А если не только Бет?

— Я — актриса. Наблюдение и воображение для меня, как уроки гимнастики для акробатов. Поэтому я и за тобой наблюдала. В Зоопарке около моей клетки, в театре, когда ты смотрел на мою игру,

на обеде у моих родителей и здесь в баре. А теперь я хочу, чтобы ты пришёл ко мне. Здесь недалеко. Я снимаю жильё в двух кварталах от театра,— она написала ему свой адрес и телефон на салфетке.— Я поеду первой, а ты садись в машину через десять минут.

Квартира Бет находилась в бетонном многоэтажном здании, которые намеренно строились владельцами недвижимости для того, чтобы сдавать налепленные как соты, квартирки, многочисленной армии молодых профессионалов, которые во множестве обитали в этом университетском и банковском городе: художникам, адвокатам, врачам, компьютерщикам, актёрам и музыкантам. Боб позвонил снизу, дверь открылась, он поднялся на третий этаж на лифте. Бет ждала его у приоткрытой двери своей квартиры. Она была одета в клетчатую мальчишечью рубашку и голубые джинсы, обтягивавшие её упругие бёдра. Боб вошёл в прихожую и остановился в нерешительности.

— Знаешь, что…

— Что? — прервал он её.

— Ты не волнуйся, Боб. Я понимаю, как это необычно для тебя. Это ведь у тебя впервые?

— Что — впервые?

— Свидание с молодой женщиной у неё дома. С женщиной, которая намного моложе тебя. Ты ведь об этом думаешь, милый?

— Даже и не знаю, о чём я думаю. Мысли смешались. У тебя есть виски?

— О, конечно! Наша театральная братия ничего другого не признаёт. После спектаклей, особенно, если представление прошло успешно, мы, как правило, идём к кому-нибудь и расслабляемся. Да, ты попросил виски! — она пошла на кухню, заталкивая туда же Боба.

Он отпивал виски мелкими глотками. Она пила красное вино. Они разговаривали. Он рассказал ей о своих родителях:

— Отец мой был детским врачом. Мать служила актрисой в Театре кукол. По русским понятиям, у нас была интеллигентная семья. Когда мне было 17 лет, отец умер от инфаркта. Это был 1953 год. В России преследовали евреев. Ты знаешь, Бет, что-нибудь о деле врачей?

— Нет, не знаю, Боб. Расскажи!

— Это был последний год жизни Сталина. Шовинистическое крыло в партии русских коммунистов решило покончить с евреями как ин-

теллектуальной прослойкой советского общества. Репрессии начались с еврейских врачей, которые лечили вождей. Врачей обвинили в подготовке убийства верхушки партии. Как раз на это время пришлась моя первая влюблённость. Девочке было пятнадцать лет. Мы жили с ней в одном доме, в центре Москвы. В одном доме, в одном подъезде, только на разных этажах. Она была похожа на тебя, Бет. Такая же хорошенькая. Её звали Лена. Она занималась гимнастикой. Иногда мы ходили с ней в кино или в кафе-мороженое. Но вот началось это дело врачей. Мой отец работал в детской поликлинике недалеко от нашего дома. Так что все дети и подростки из нашего дома были его пациентами. Был февраль. Сырость, морозы в Москве. Лена простудилась и заболела. Мой отец отправился навестить её. Он позвонил в дверь её квартиры. Ему открыл отец Лены. Он сказал моему отцу: «Уходите немедленно! Я не хочу, чтобы мою дочь лечил еврей. Я вам не верю. Вы можете погубить мою дочь!» Он сказал это и захлопнул дверь. Мой отец вернулся домой и слёг. Ему стало плохо. Вызвали скорую помощь. Но было поздно. Он прожил ещё несколько дней и умер от обширного инфаркта.

— А Лена — она узнала о том, что случилось?

— Не знаю. Может быть. Мы никогда больше с ней не разговаривали.

— Она даже не пыталась объясниться с тобой, Боб?

— Нет. Да и я бы не стал. Что-то сломалось между нами.

— Ты говоришь, что я похожа на эту девочку, на эту Лену?

— Очень!

— Это она и есть — я, которую ты встретил через много лет, чтобы твоя мечта реализовалась.

Она села к нему на колени, стала целовать его, обхватив шею любовника своими руками, которые сначала были упрятаны в закатанные рукава полотняной рубашки в зеленую клетку, а потом начали убегать, все больше и больше открывая руки. Он расстегнул три белых пуговки клетчатой рубашки и освободил её руки и плечи, а потом и груди с розовыми летящими сосками. Она сползала, расстёгивая его брюки, стягивая его трусы и освобождая для своих рук и губ его ликующую мужскую плоть.

Они встречались больше месяца. Именно встречались: тайком, назначая встречи в тех уголках города, куда никак не могли забрес-

ти ни знакомые, ни родственники. Дело шло к Рождеству. Город был украшен гирляндами огней, и они бродили между светящимися деревьями в те вечера, когда Бет была свободна от театра.

Однажды Боб спросил:

— Знаешь, любимая, о чём я мечтаю?

— О чём?

— Уехать с тобой на один из островов Карибского моря и жить свободно, не думая, что мы кого-то обманываем. Надоело таиться.

— Что же мы там будем делать, милый?

— Я узнавал: на многих островах есть колледжи и даже университеты. Меня возьмут. Я буду преподавать физику и ставить эксперименты.

— А я?

— Ты будешь моей женой, Бет.

— Ты серьёзно, Боб?

— Абсолютно! Я не могу больше вести двойную жизнь. Играть роль любящего мужа и в тот же день быть с тобой. Может быть, тебе на моём месте было бы легче. Ведь ты — актриса! — он произнёс эти неосторожные слова и ужаснулся сказанному.

Они сидели в индийском ресторане в самом сердце даунтауна. За окном взревел зелёный автобус с размашистой надписью вдоль корпуса: *Peter Pan*. Он произнёс эти слова и отдал бы всё на свете, чтобы они были заглушены рёвом уходящего с остановки автобуса. Но Бет услышала.

— По-твоему, милый, нам, актёрам, привычно лгать и притворяться?

— Вовсе нет! Ты не так меня поняла, Бет, я неловко выразился. Прости, ради бога!

— Ты что же, считаешь, что и с тобой я разыгрывала чью-то роль?

— Да нет, прости. Я люблю тебя, Бет.

— Боб, мне нужно побыть одной. Прощай, — Бет выбежала из бара на улицу.

Боб оставил деньги на столике и бросился за ней. Но она исчезла. Дома у неё никого не было. Во всяком случае, никто не отзывался на звонок из подъезда, не открывал дверь. Он кружил по городу, останавливал машину и звонил ей по мобильному телефону. Бет не отзывалась. Он оставил машину и пошёл к театру. Представление начиналось в восемь. Оставалось два часа. Хлынул ледяной декабрьский дождь. Надо было уйти, переждать, но Боб продолжал стоять на углу,

чтобы не пропустить Бет, наблюдая за служебным входом. Он промок и продрог. Зрители давно ушли смотреть спектакль, а Боб стоял на углу около театра, надеясь увидеть свою возлюбленную…

Он приехал домой, сбросил мокрую одежду, и ничего не рассказав Маше, улёгся на диване в своём кабинете. Его знобило. В голове кружился дикий калейдоскоп, картинки которого были составлены из разнообразных химер: волкорыб, тигрозубров, слонопантер и обезьяноудавов. Чаще всего приходила рыжая обезьянка с туловищем и хвостом удава. Она ласкала Боба длинными пальцами скрипача, а потом душила сильным хоботоподобным хвостом.

Он провалялся с тяжелейшей пневмонией около двух недель. Маша уходила в университет читать лекции по русской музыке двадцатого столетия (Скрябин, Стравинский, Рахманинов, Шостакович, Прокофьев, Шнитке, Денисов, Губайдулина), и Боб звонил Бет. Никто не отвечал на звонки. Шленские навестили его однажды, но были весьма сдержанны. Он не решился спросить о Бет.

Когда врач разрешил ему вернуться в лабораторию, был январь. Ночью выпал снег. Снегоочистители гудели, фыркали и посыпали улицы песком и солью. Около двух (он знал, что репетиции уже идут) он поехал в театр. Служебный ход был закрыт, и Боб позвонил. Ему открыла толстая охранница в меховой белой телогрейке, вдруг напомнившая ему толстых тёток, с заспанными рязанскими щеками, на которых отпечатались грубые узоры их шерстяных платков. Толстых заспанных тёток, дежуривших в бесконечных проходных театральной Москвы. Только эта была американская тётка. Он спросил её, нельзя ли вызвать Бет Хьюз. Она ответила, что с репетиции никого не вызывают. Он сказал, что случай исключительный, связанный с болезнью. Она закрыла дверь и ушла. Он терпеливо ждал. Наконец, охранница привела бойкого молодого человека, который представился помощником режиссёра. Боб назвался и показал свой университетский пропуск.

— Подождите, подождите минутку. Так вы — профессор Боб Друзкин? — спросил помощник режиссёра.

— Да, — ответил Боб. — Это именно я.

— Подождите, подождите, — повторил молодой помощник режиссёра.

Он вернулся через несколько минут. В руках у него была запечатанная картонная коробка.

— Это для вас. Бет больше не служит в нашем театре. Это она просила передать вам.

— Где она теперь? Куда она уехала?» — спросил Боб. Ответа не последовало.

Боб домчался до лаборатории, закрылся в кабинете и открыл коробку. Там лежал какой-то свёрток, а на нём письмо.

Он прочитал: «Поверь, Боб, я любила тебя. Но я актриса. Прощай, милый. И не пытайся разгадывать тайны нашего ремесла. Твоя Бет».

В целлофановом пакете лежала оранжевая шкура, сработанная из искусственного меха и повторяющая силуэт орангутана.

Провиденс 2005; Бостон 2021

Текст подготовил Максим Д. Шраер

ОБ АВТОРЕ

Давид Шраер-Петров *родился в Ленинграде в 1936 году, эмигрировал в США в 1987 году. Поэт, прозаик, мемуарист, драматург и ученый-медик. Автор более 25 книг, среди которых «Герберт и Нэлли», «Невские стихи», литературные воспоминания «Водка с пирожными».*

В Москве в 2021 году вышла его трагикомедия «Вакцина. Эд Теннер».

В настоящее время живёт в Бостоне.

Джейкоб ЛЕВИН

МОЙ ДОБРЫЙ МАКС ИЗ ФЛОССЕНБЮРГА

«Евреи развязали эту войну, и они дорого заплатят нам за это, сказал фюрер»

Фрау Фогельзанг, *уборщица*

Из-под неплотно прикрытой двери уборной выползла большая пчела — нечастая гостья с полей и лугов, окружавших лагерь. Она переползла через полоску тусклого электрического света и уже собиралась покинуть блок и улететь, когда «цугангенер» (новичок, сошедший с ума от увиденного — лагерный жаргон, прим. ред.) по кличке Макс Мусульманин (так на лагерном жаргоне называли доходяг) ловко накрыл её железной миской и ногтями вырвал у неё жало. Затем он быстро огляделся по сторонам и съел её.

Администрации лагеря не нравились заключённые, евшие кузнечиков, пчёл и прочих насекомых, которые залетали в уборные блоков. Замеченных расстреливали на месте — во избежание дизентерии и других инфекций. Поэтому Макс ел пчёл крайне осторожно — на рассвете, если очень сильно урчало в желудке и все ещё спали. Когда он жевал их мохнатые лапки и брюшко, мёд и сладкая ароматная цветочная пыльца приятно таяли у него во рту. Это был животворный сахар.

Через полчаса нужно было строиться на утреннюю проверку. Ночью ему приснилась хорошая весть: его жена и дети благополучно добрались до Швеции.

Небольшой крематорий лагеря уже проснулся и понемногу начинал дымить: по утрам сжигали дистрофиков. «Высокая смертность удлинит очередь в крематорий, а вместе с этим увеличатся мои шансы на жизнь», — думал Макс.

Утром, если ничто не помешает, Макс должен был в первый раз приступить к должности сортировщика одежды в блоке, где хранились вещи узников, отправленных в газовую камеру. Эту работу ему уда-

лось получить благодаря знакомому чеху, охраннику из Богемии, вместо недавно «вылетевшего в трубу крематория» другого дистрофика. Когда-то Макс был акушером и принимал роды у жены охранника.

По правде говоря, скоро и Максу пора было собираться в крематорий — он уже весил менее 40 килограммов, но пока что многие ему завидовали — ему везло. Опытные заключённые считали, что в карманах детей, отправленных в газовую камеру, можно найти конфеты…

В это раннее время помощнику коменданта лагеря, шутцхавтлагерфюреру Гансу Готу тоже не спалось. Он сидел за письменным столом в своём кабинете и проверял списки временных обитателей лагеря Флоссенбюрг. Он был ответственным за сортировку людей и за отбор заложников для расстрелов, которые случались каждый день из-за побегов и других нарушений лагерной дисциплины. Работа была скучной, но кому-то нужно было делать и это. Больных, худых и старых, не подходящих для выполнения работ по обработке гранита, нужно было «обновлять», а газовая камера от перегрузки уже нуждалась в ремонте. Газ просачивался наружу, и вокруг камеры повсюду валялись дохлые хомячки и мышки.

Ганс Гот знал, что от одного его взгляда заключённые с больным сердцем падали на землю замертво, но это обстоятельство его не забавляло. Как пресыщенный властью средневековый сатрап, он не обращал внимания на эти мелочи.

Сейчас он сидел в кресле и в поисках подлежащих уничтожению евреев просматривал список назначенных на постоянные работы заключённых. Эту операцию он называл «контрольный выстрел в голову».

Около сомнительных имён и фамилий он ставил карандашом звёздочку.

Пфайфер, Макс…

Пфальцер, Иоганн…

Пфефферкорн, Ариэль…

Пфорцхаймер, Виктор…

Около имени «Макс Пфайфер» он поставил вторую звёздочку — проверка показала совершенно неожиданное. Гот был не просто земляком и одногодком этого заключённого: оба родились в 1904 году в Богемии, на самой границе с Германией, в городке Егер или, как

его называли славяне, Хеб. Более того, Ганс родился недалеко от дома Макса, в тесной квартире, которую занимала семья каменщика Энгельберта Гота, его отца. Макс был ещё и сыном подрядчика, у которого работал его отец. Когда Ганс был подростком (это было до экономической депрессии и наступившей вслед гиперинфляции) отец Макса, Борух Пфайфер, уволил Энгельберта Гота. Он сделал это без особого сожаления, поскольку Гот обладал вспыльчивым характером, ненавидел евреев, был посредственным каменщиком и крепко выпивал. Позже Борух за неуплату выселил и всю их семью, так как квартира тоже принадлежала ему. Семья Готов переехала в жильё дешевле и хуже.

Теперь Ганс припомнит ему всё. Это будет триумф! Этого уже более чем достаточно для того, чтобы несчастный заключённый умер мучительной смертью.

В раннем детстве Ганс не раз дрался с Максом. Потом их пути разошлись. Ганс, вступив в НСДАП, сделал карьеру, став помощником коменданта лагеря, а еврей Макс стал акушером и, наверняка, как все бывшие врачи, теперь ел насекомых в надежде получить побольше протеина. Протеин был нужен ему, чтобы отдалить приближающуюся дистрофию, которая может ускорить его очередь в газовую камеру. Конечно же, вечно голодный полусумасшедший Макс Пфайфер не сможет предположить, что всесильный шутцхафтлагерфюрер Ганс Гот, который теперь для него значит больше Бога, и есть тот самый Ганс из его детства. А Ганс теперь ест деликатесы, пьёт шампанское и сервирует его стол молодая уборщица служебных квартир для офицеров фрау Фогельзанг. Без сомнений, почти дистрофик Макс, не дожидаясь смерти, умер бы от страха сразу, если бы узнал, что теперь «его задница» принадлежит Гансу Готу. Но тогда удовольствия своей медленной и мучительной смертью помощнику коменданта он бы не доставил.

Ганс знал, что самые страшные муки — это муки голода. Можно было просто пристрелить Макса, но это было бы бездарно — как зарезать курицу, несущую золотые яйца. Ведь медленная смерть Макса Пфайфера обещала Гансу Готу массу разных удовольствий. Все в лагере знали, что психологические пытки были его слабостью.

Ганс решил, что на этот раз он сначала накормит этого обезумевшего от голода еврея, пусть сознание вернётся к нему, а потом будет ясно, что лучше — постепенно заморить его голодом, сначала позабавиться с ним или уничтожить сразу.

Понемногу помощник коменданта лагеря от этих мыслей возбудился и почувствовал азарт и аппетит. Он понял, что готов к завтраку.

— Сейчас без двадцати шесть. Принесёте мне завтрак, а после завтрака приведёте ко мне заключённого № 14991, из четвёртого блока. Согласно плану, он спит почти у самой уборной,— крикнул Гот стоящему в коридоре дежурному.

Когда Макс услыхал, что его хочет видеть помощник коменданта, он принял это за глупую шутку и рассеянно улыбнулся вестовому. Но когда вестовой приказал ему помыть в паху и подмышками, чтобы избавиться от вони, и газовым ключом открыл для него запретный, крепко завинченный водопроводный кран, Макс заподозрил неладное. Пока конвоир вёл его по ещё спящему браку к выходу, Макс думал: «Если убьют, то пусть лучше после завтрака. Хорошо бы сначала поесть. Ведь завтрак уже привезли».

По дороге знакомый заключённый, лежащий на нарах, на идиш попросил Макса отдать ему новую арестантскую шапочку взамен своей — старой и истёртой.

— Если случится, что тебе она опять понадобится, я обязательно верну,— пообещал он.

Когда Макс на дрожащих ногах предстал перед сидящим в кресле шутцхафтлагерфюрером, он понял, что именно так выглядит его смерть. Но тот вдруг встал, улыбнулся, подошёл и обнял Макса за плечи.

— Ты меня не узнаёшь, Макс? Я твой сосед из Егера! Помнишь Ганса? Мой отец работал у твоего. Помнишь, как мы с тобой вместе удили рыбу в Огрже? Садись. Ты не голоден? — и он усадил Макса на стул.— Дежурный! Принеси ещё один чай! А у меня найдётся свежая булочка…

Макс ничего не понимал. Он пришёл в себя только после того, как закончил есть булочку и сказал: «Danke».

— Wunderbar,— сказал Ганс.

Они сидели друг против друга. Ганс открыто и добродушно улыбался, вспоминая их детство. Постепенно Макс немного осмелел и стал делать вид, что ему это интересно. Он совершенно не помнил жизнь в Егере. Узнать в помощнике коменданта лагеря своего друга детства, он, как ни пытался, не смог. Возможно, это было неправдой. От постоянного голода его ум помутился, а память стёрлась. Кроме того, прошло больше тридцати лет. Сколько всего произошло за это время…

Освобождённый от работы самим помощником коменданта, уставший и ошеломлённый Макс добрался до своего блока и лёг. Он с трудом вспомнил, что помощник коменданта приказал ему завтра утром взять в каптёрке всё, что требуется уборщику: ведро, тряпки, губку, скребок и к двенадцати дня явиться к нему обедать.

Теперь «приятель из детства» Макс вместе с Гансом будут сидеть в его служебной квартире за обеденным столом друг против друга. Прислуживать им будет очаровательная уборщица фрау Фогельзанг. А ведро, тряпки, губка и скребок Максу будут нужны для того, чтобы у заключённых не возникало вопросов. Освобождение от других работ ему выдаст сам Гот. Он возьмёт Макса, своего друга детства, к себе в качестве уборщика и помощника фрау Фогельзанг. А пока они будут вместе вспоминать «былую дружбу» и играть в шахматы.

— Но работать тебе, Макс, теперь больше не придётся, — напомнил Ганс и дружески погладил его по костлявой спине. — Ведь согласно существующему у нас правилу, никто не имеет права работать уборщиком в комендатуре. Все наши заключённые, кроме вспомогательных служб, должны работать на гранитных каменоломнях, но для тебя как для друга моего детства я сделаю исключение.

На другой день, после утреннего «аппеля», Макс обзавёлся ведром, метлой, тряпками, скребком и всем прочим и робко переступил порог комендатуры. Навстречу ему уже спешил его любезный друг детства. Он опять легко обнял его и меж ними состоялся важный разговор.

Прежде всего Ганс не советовал Максу рассказывать кому-либо об их встречах. У помощника коменданта не может быть любимчиков. Иначе он не сможет ничего сделать для Макса, который уже на пороге дистрофии и одной ногой стоит в крематории.

Согласно правилам, заведённым в лагере Флоссенбюрг, выполнение распоряжений, отданных администрацией, никогда не проверялось. Зачем? За невыполнение любого распоряжения полагался расстрел на месте.

Ровно в двенадцать Ганс Гот закончил писать, встал из-за стола, вытер пальцы от чернил и вместе с Максом по длинному коридору направился в служебную квартиру. Фрау Фогельзанг уже сидела за накрытым столом в ожидании своего любовника.

На следующий день, после утреннего «аппеля», Макс обзавёлся ведром, метлой, тряпками, скребком и всем прочим и отправился в комендатуру.

— Знакомься — это мой друг детства Макс Пфайфер, — представил его Ганс Гот. Макс успел заметить, что на фрау Фогельзанг это не произвело никакого впечатления. Как будто обедать с заключёнными было ежедневной обязанностью помощника коменданта лагеря.

На обед были густой гороховый суп с копчёностями, сосиски с капустой, крупные маслины с косточками, баварское пиво. На десерт — вишнёвый штрудель. Во время обеда Ганс украдкой наблюдал за Максом. Но тот, околдованный и поглощённый такой вкусной едой, зная, что это может быть последняя еда перед его смертью, этого не заметил. Душевного разговора пока не получилось.

После обеда фрау Фогельзанг негромко пукнула и начала убирать со стола. Ганс поковырял во рту зубочисткой и предложил Максу сигару. От пива Макса сильно тошнило и кружилась голова. Он отказался от сигары.

С непривычки от съеденного такого безумного для него количества еды и выпитого пива, Макс почувствовал, что вот-вот умрёт. Он ослабел, и ему не хотелось двигаться. Если Ганс собирается пристрелить его, то лучше сделать это сейчас. Как врач Макс знал, что для доходяг переедание чревато гибелью. Но ничего с собой сделать не мог. Однако это ещё не была смерть. Макс не умер. Ганс заботливо помог ему добраться до дивана и прилечь.

Неужели это не изуверская шутка и Ганс действительно пожалел его? — родилось в сумеречном сознании Макса.

Ганс укрыл его шёлковой попонкой. Макс не заметил в его лице никакой брезгливости, какую испытывали по отношению к евреям офицеры и охранники. Одно то, что Ганс пригласил его обедать, говорило о невиданном в лагере.

Ганс тихо сказал:

— Вздремни. Прости меня, у евреев нелёгкая жизнь, но не я это придумал. Я сделаю всё, чтобы поставить тебя на ноги…

«А может он — гомосексуалист? — подумал Макс. — Хотя… какому гомосексуалисту нужна такая заезженная, полусумасшедшая кляча, как я?».

Загипнотизированный происходящим и измученный сытным обедом, заключённый Макс Пфайфер, по прозвищу Мусульманин, безмятежно заснул на диване. Гот, зевая, читал доставленную из Берлина газету «Фолькише Беобахтер».

Неожиданно напольные часы с гирями пробили три раза, и это разбудило Макса. Он вскочил с дивана, вытянулся по стойке «смирно» и по всей форме доложил свой номер, имя и фамилию. Фрау Фогельзанг и Ганс Гот одновременно засмеялись.

Личная жизнь помощника коменданта лагеря Ганса Гота совсем не была безоблачной и отнюдь не изобиловала одними только радостями. Недавно его уборщица сообщила, что, кажется, беременна от него. Это нужно сохранить в тайне от всех и особенно от коменданта лагеря. Ганс Гот и фрау Фогельзанг были разведёнными, чистокровными арийцами и «Фатерланд» ждал от них пополнения.

Трое сыновей Ганса от первого брака, жившие со своей матерью отдельно от него, подрастали и требовали денег. Его личные секреты про делишки с драгоценностями, найденными после экзекуции евреев в газовой камере, похоже, становились известны. В «предбаннике» над каждой вешалкой с никому не нужным номером, «чтобы не дай Бог после лёгкого душа не перепутать одежду», Гот приказал столяру соорудить полочки, для удобств обречённых. Но в полочках был секрет — довольно широкая щель на дне, которая стоящему на полу была не видна. В этой щели легко могли поместиться золотые кольца, запонки, броши, редкие монеты. Столяр, который сделал эту работу, давно «вылетел в трубу», и об этих тайниках почти никто не знал. А все несчастные жертвы, которым никогда не суждено было вернуться из «душевой», ничего не подозревая, дружно прятали свои ценности в одно-единственное пригодное место, будучи уверенными, что этот тайник известен только им, и они скоро вернутся. О том, чтобы другого места для сохранения ценностей не было, заранее позаботился столяр шутцхафтлагерфюрера. Таким образом, унтерофицер Шварц, который проверял раздевалку между экзекуциями, пока команда заключённых через другие двери крюками вытаскивала трупы, мог очень быстро собрать ценности. Ключи от их жилья, дешёвые безделушки и пфенниги он оставлял «рейху».

Беда была только в одном. Об этом секрете знал ещё один человек — престарелый вольнонаёмный католический пастор отец Маркус. Его нельзя было отправить в газовую камеру или расстрелять. Никто не помнил, откуда он взялся и как появился в лагере. Но он был очень стар, и Гот с нетерпением ждал его смерти.

Заключённый Макс Пфайфер вернулся в блок № 4 несколько успокоенным. Он старался думать, что ему невероятно повезло. Однако

верить нацисту, члену НСДАП, помощнику коменданта лагеря, было наивно. Макс был добрым, честным и несколько бесхитростным, но уж глупым он не был.

На другой день в двенадцать часов немного отдохнувший Макс опять стоял перед Гансом.

— Ты умеешь играть в шахматы? — спросил Ганс.

— Раньше умел, но теперь забыл, как ходят фигуры.

— Ничего, вспомнишь, я покажу, — улыбнулся Ганс. — А пока мы идём обедать…

Макс вместе со всеми заткнул салфетку за воротник.

Сначала они опять ели греческие маслины и запивали баварским пивом, потом были сосиски с капустой и суп из воловьих хвостов. Такого вкусного супа он никогда раньше не ел. На десерт, как и в прошлый раз, был штрудель.

В шахматной игре Ганс был не силён, и немного осмелевший Макс почувствовал, что может легко обыграть Ганса, но он вовремя спохватился и проиграл партию. Выигрывать было опасно. У Ганса может накопиться раздражение.

— Играй в полную силу, Макс! — довольно резко сказал Ганс.

Макс понимал: надо убедить его, что лучше он играть не умеет. И он проиграл ещё два раза подряд. Риск был большим. По окончании «турнира» Ганс сказал:

— Не волнуйся, Макс, у тебя неплохо получается. Но если ты будешь хитрить, я обижусь.

Макс оказался в тяжёлой ситуации, но выхода уже не было. Обида Ганса может обернуться чем угодно: расстрелом, газовой камерой, голодной смертью. Жизнь Макса опять оказалась на чашечках весов.

Но вдруг Ганс сказал:

— Я был неправ и не учёл, что твоя жизнь куда тяжелее моей. Сейчас ты, конечно, не можешь играть в шахматы со мной на равных. Я должен заботиться о тебе ещё лучше. Я понимаю, тебя мучит мысль о том, что тебя убьют и сожгут в крематории. Но я не допущу этого.

Макс не ожидал такого благородства. Слёзы брызнули из его глаз. Какое счастье, что он встретил этого доброго старого знакомого!

Уже три дня помощник коменданта лагеря относился к нему почти как к равному. Большего Макс и желать не мог. Ведь не мог Ганс и вправду по-тихому отпустить его на волю. Но Макс слышал, что один раз комендант из Дахау отпустил своего учителя-еврея. Эту глу-

пость заключённые любили повторять друг другу. Эта история скорее всего была лечением для их воспалённых умов, судорожно цеплявшихся за жизнь. Хотя… кто знает — возможно, в этой истории не было большого подвоха.

— Не плачь, мой бедный Макс, — говорил Гот и гладил его по тощей спине. — Мы ещё увидим лучшие времена. Вот только фюрер закончит испытания сверхсекретного сверхмощного оружия…

Макс тёр заплаканные глаза и согласно кивал…

С этих пор Макс начал чувствовать себя всё лучше и лучше. Через неделю фрау Фогельзанг перестала общаться с ним сквозь зубы и рассказала, что у неё в деревне живёт родственник, мишлинге второй степени — муж её кузины. (Немец, у которого одним из предков был еврей — *прим.ред.*).

— Его сначала забрали в лагерь, но его жена, моя кузина, написала письмо Магде Геббельс, что он крещёный, никогда не посещал еврейских собраний в синагоге, и Магда определила его как чистокровного арийца. Его освободили. Лучше бы она этого не делала, — сказала фрау Фогельзанг.

Макс впервые улыбнулся и сказал:

— Разве для мишлинге второй степени это решение несправедливо?

Но фрау Фогельзанг заметила:

— Справедливость по отношению к евреям? Мишлинге второй степени всё равно остаётся евреем. Фюрер писал, что даже одна тридцать вторая еврейской крови делает человека евреем! Название «мишлинге второй степени» ничего не меняет. «Евреи развязали войну, и они дорого нам заплатят за это» — это слова фюрера, а он знал, что говорил!

Ганс Гот получил от своей любовницы фрау Фогельзанг сообщение о том, что самое худшее подтвердились и она действительно беременна. Он очень расстроился. Заводить детей сейчас, когда русские наступают и скоро уже будут в Польше — самое плохое время. Страна ждёт от фюрера секретного сверхоружия, но он почему-то медлит…

Ганс Гот хорошо подумал, взвесил все «за» и «против» и принял решение. Он спросил у Макса:

— Ты, кажется, был акушером?

— Да, был, — ответил Макс.

— Может статься, понадобится твоя помощь, а пока ничего никому не говори…

«Нужно прервать чью-то беременность», — решил Макс и не ошибся…

С тех пор Макс был окружён ещё большей заботой. Он стал приходить на обед к Гансу совсем без страха, даже с некоторым предвкушением удовольствия. Поскольку он помнил старые времена, когда евреев ещё не преследовали по национальному признаку, он почувствовал себя почти полноправным членом немецкого общества. Он был нужен этому обществу, а нужных людей никогда не уничтожают. Игра в шахматы с помощником коменданта стала ему не в тягость. У него появился азарт, и один раз он даже позволил себе выиграть у Ганса в шахматы. Это было несложно. К удивлению Макса, ничего не случилось. Напротив, Ганс даже обрадовался этому. С двенадцати дня и до пяти Макс чувствовал себя младшим членом семьи помощника коменданта Ганса Гота. С той разницей, что Макс носил полосатую одежду, а не мундир офицера SS.

Когда Ганс сообщил фрау Фогельзанг, что нашёл решение их совместной проблемы, она не поверила и спросила:

— Ты уже нашёл врача? Так быстро? То он?

— Еврей Макс. Он акушер.

— Неужели!? Но как ты можешь полагаться на еврея? Ты хочешь, чтобы о нас узнал весь лагерь?

— Я обо всём подумал. Я раздобуду всё необходимое для Макса и будем ждать. Мы сделаем аборт перед самым Рождеством. А как только ты почувствуешь себя лучше и начнёшь вставать, я отведу Макса поближе к крематорию и застрелю его «при оказании сопротивления», его подберут, и через два часа он «вылетит в трубу». Он уже начинает мне надоедать. Я позволил ему зайти слишком далеко, пора вернуть его к реальности. Люблю наблюдать за евреем, когда он начинает понимать, что это — финал его жизни и он больше никогда не будет есть фаршированную рыбу по субботам. Я застрелю его с удовольствием, но сообщу ему о его смерти за три дня, а все эти три дня он будет по-прежнему надеяться на чудо, обедать с нами, пить пиво, отдыхать на моём диване после обеда и спать в своём блоке, конечно, если это у него получится. Мы же будем вести себя с ним вежливо.

— Зачем ты решил его измучить перед смертью? Застрели его, этого будет достаточно.

— Нет, дорогая, не забывай, ведь кроме того, что он еврей, он украл у меня детство.

— Тебя не пугает, что в Рождество все празднуют появление еврейского младенца, а ты собираешься убить Макса. Он ведь тоже еврей… Ты же знаешь, что экзекуции евреев запрещены на Рождество.

— Знаю, но я это сделаю немного раньше. Честно говоря, я думал, что в тебе больше атеизма. Нельзя быть такой впечатлительной. Макс Пфайфер — всего лишь один из евреев. В этом году мы пропустили только через крематорий 14450 евреев. Это не считая расстрелянных, тех, которые пока лежат в ямах и ждут своей очереди.

Макс в это время лежал в блоке на нарах и решал очень важный для себя вопрос. Поскольку ему было приказано никому не говорить о таком чуде, как приём пищи у помощника коменданта, он изо всех сил, сколько мог, молчал. Но теперь, когда появилась надежда, он осмелел и перестал так панически всего бояться. После долгих раздумий он решил открыться своему соседу по нарам, старому лагернику, литератору из Мюнхена, писавшему пьесы. Это было нелёгкое решение. Сосед весил ещё меньше, чем Макс, и мог не понять его, ибо постоянно думал о газовой камере.

Макс положил в трубчатую ручку от алюминиевого скрёбка половину недоеденной сосиски и тайно пронёс в блок.

Пока сосед сосредоточенно рассматривал угощение, Макс рассказывал ему историю знакомства с помощником коменданта. Когда сосед, лёжа на деревянных нарах, блаженно и задумчиво закатив глаза, жевал подарок, Макс сказал:

— Эту сосиску я украл со стола помощника коменданта. Ты понимаешь, что за это полагается?

— Расстрел, — безразлично ответил сосед и продолжал жевать.

— Но я не боюсь его, я ему нужен.

— Ты наивен, Макс. Это плохой признак, значит, он убьёт тебя очень скоро.

— Почему ты так считаешь?

— Я драматург и мне открыты некоторые тайны, неизвестные даже психиатрам.

— Что же мне делать?

— Продолжай обедать с помощником коменданта. Ты ничего не в состоянии изменить. У тебя появился шанс умереть сытым. Может быть, ты принесёшь мне ту, вторую, половину сосиски?

— Нет, это были объедки.

— Может быть, есть что-нибудь другое? — с надеждой спросил сосед.

— Если смогу-принесу, но это опасно, — сказал Макс и задумался. Сосед отвернулся.

Нет, непохоже, что Ганс врёт. Просто, он очень сентиментален. Ему дорога память о детстве. Но расхолаживаться нельзя, плохое может случиться скорее, чем хорошее, — думал Макс.

Сосед опять повернулся к нему и сказал:

— Ты угостил меня, а я за это научу тебя искусству наблюдения за самим собой со стороны. Представь себе, что ты уже умер, у тебя больше нет тела, у тебя ничего не болит, и всё тебе безразлично. Ты умер, потому что у тебя не было никакого способа изменить свою судьбу и сохранить свою жизнь. Ты превращён в дым. Ведь ты был абсолютно бессилен. Я правильно говорю?

— Допустим…

— Не «допустим», а «был абсолютно бессилен».

— Хорошо, я был бессилен…

— Но на самом деле ты не умер, а тайно наблюдаешь за происходящим с тобой и никого не боишься. Всё, что они сделают с твоим телом, к тебе никакого отношения не имеет. Твоё тело больше не твоё…

Макс прервал соседа.

— Зачем мне твои сказки? Ведь сам ты уже давно живёшь в газовой камере.

— Да, ты прав, — сказал сосед со вздохом.

Между тем у администрации лагеря наступила предрождественская неделя, и Макс принёс в комендатуру свой Рождественский подарок. В блоке он тайно выменял на пайку хлеба фигурку воина Вермахта. Её выскоблил из большой славянской берцовой кости острым обломком стекла польский еврей.

— Это не еврейская кость, Ганс, — сказал Макс. — Можешь не беспокоиться.

— Вижу, вижу, проходи и садись, — сказал Ганс и поставил фигурку на письменный стол. — У меня к тебе дело.

— Слушаю.

— Ты готов прервать беременность фрау Фогельзанг?

— Когда прикажешь?

— В этой большой коробке бутылка с эфиром, расширители и все необходимые для аборта инструменты. Можешь гордиться, это бывшая собственность знаменитого волшебника, доктора Менгеле из Биркенау. Проверь, всё ли здесь есть. А потом мы с тобой будем пить пиво…

Макс решил, что настал благоприятный момент для откровенного разговора и спросил Ганса:

— Скажи правду, Ганс, что ты намерен делать со мной в будущем?

Ганс усмехнулся.

— Мне не спалось, и я как раз думал об этом сегодня всю ночь Я освобожу тебя из лагеря. Выслушай мой план. У тебя на складе одежды есть знакомый охранник. Мне всё известно. Подбери себе одежду получше. Можешь сложить её у меня. Я отправлю в газовую камеру одного чеха, он давно меня раздражает. Он вылетит в трубу сверх плана. Тебя я тоже отправлю в газовую камеру, но ты переоденешься у меня и выйдешь отсюда. Я проведу тебя через вахту, отдам его документы тебе и выпишу пропуск. Твоё имя будет Томашек. Ты ещё не забыл чешский язык? Я дам тебе сто рейхсмарок, больше не могу, извини. А дальше — как сумеешь. Это всё, что я могу для тебя сделать. Только будь очень осторожен. Я не хочу из-за тебя угодить на Восточный фронт. Встретимся после войны… Ты всё понял?

— Да, но Томашек — это трубочист из крематория, и он живой…

— Они однофамильцы, — не растерялся Ганс. — Но помни, если тебя поймают, тебя застрелят. Будь крайне осторожен…

Если бы Макс был не таким наивным и доверчивым, он бы заметил, что этот план побега был чересчур простым. Нервы Макса были на пределе. От лагерного ужаса и постоянного дыхания смерти он плохо соображал… Поэтому не заметил, что Ганс едва сдерживает смех. Он упал на колени, схватил руку помощника коменданта и осыпал её поцелуями.

— Остановись, Макс, мы же друзья!

Но Макс не слышал, он обливался слезами благодарности…

Аборт у фрау Фогельзанг прошёл без осложнений. Она лежала на кровати в спальне помощника коменданта и слушала монотонный, как жужжание мухи, картавый рассказ Макса о том, как они с Гансом

в детстве ловили рыбу. Макс держал её за запястье, чтобы было удобно считать пульс. Ей ещё было больно, но она держала себя в руках, как подобает арийской женщине.

«Когда уже Ганс пристрелит его? Как надоел этот еврей! — думала фрау Фогельзанг. — Но пусть ещё немного посидит на краю кровати. Мало ли что ей может понадобиться».

Явился Ганс и осведомился:

— Как прошла процедура? Как здоровье фрау Фогельзанг?

— Отлично, Ганс, она — мужественная женщина, настоящая немка, — ответил за неё еврей Макс, довольный своей работой. — Всё, что нужно ей принимать и делать, я написал на листке.

— Спасибо, Макс, ты настоящий товарищ, я рад, что в тебе не ошибся. Я горжусь тобой. Так и должно было случиться. Если хочешь идти в свой блок, то иди. Увидимся завтра…

— Если будет необходимо, пошлёшь за мной вестового, — тоном бывалого доктора сказал Макс и ушёл.

Он осторожно шёл вдоль колючей проволоки, которая была под напряжением, мимо бараков, мимо вышек и мурлыкал себе под нос немецкую новогоднюю песенку: «O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blatter…»

Предстоящая свобода уже начала опьянять его.

В блоке его сосед по нарам слева, бывший типографский наборщик из Вормса, вдруг ни с того ни с сего сказал Максу:

— Ты поправляешься со скоростью звука, стал круглый и неприличный, как шар, это может не понравиться другим. Они — живые скелеты. Может, принесёшь и мне чего-нибудь?

Это были шантаж и угроза. В другое время Макс нашёл бы, что ответить, но сейчас, когда вот-вот может произойти чудо и он окажется на свободе, надо промолчать. На другой день, он позволил себе немного опоздать и несколько позже двенадцати явился в комендатуру. Как всегда, он тщательно вытер ноги, снял арестантскую шапочку и, предъявив пропуск, вошёл к Гансу. Тот сидел и молча писал, не обращая внимания на Макса.

— Как здоровье фрау Фогельзанг? — осведомился Макс.

— Прекрасно. А теперь послушай, Макс… Ты постоянно упускаешь из вида очень важную подробность наших отношений. Ты забыл, что ты еврей, отец которого украл моё детство. И теперь я вынужден тебя пристрелить.

Макс сначала не понял. Но через мгновение вспомнил, что говорил ему писатель в блоке.

— Ты думаешь, что за всё это я должен заботиться о тебе, кормить тебя, думать, как бы тебе избежать справедливого возмездия и помочь тебе совершить побег из лагеря? Тебе известно, что в мои обязанности входит в случае побега одного заключённого отобрать и опустить в бункер десять заложников. Там они должны будут умереть голодной смертью. А ты, грязный еврей, стоишь передо мной и ждёшь сытного обеда?! Потом ты уляжешься на мой диван и заснёшь?! Ты этого ждёшь? Отвечай! — и Ганс ударил Макса линейкой по лицу. — Отвечай!

Макс даже не пытался увернуться.

— Я ни о чём не просил, герр шутцхафтлагерфюрер. Это был ваш каприз.

— Так! Моё решение будет следующим: дарую тебе три дня жизни. Через три дня я отведу тебя за крематорий и там выстрелю в твой еврейский затылок!

— Значит, до этого к вам больше не появляться? — как во сне спросил Макс.

— Нет, ты будешь каждый день являться ко мне, играть со мной в шахматы, обедать у меня и между нами всё будет по-прежнему. И так будет продолжаться ещё три дня, до тех пор, пока я не убью тебя, грязный еврей! А пока… дорогой Макс, возьми своё ведро, тряпки и стрелок, и мы вместе с тобой пойдём обедать. Сегодня на обед фрау Фогельзанг подаст «руммертопф» с сюрпризом. Он будет плотно закрыт крышкой. Но я скажу тебе по секрету, что будет внутри. Там будет утка, запечённая с яблоками! Это будет «кунштюк»!

Макс опять сидел за столом напротив Ганса, но на этот раз дрожал мелкой дрожью и его знобило. Он уже чувствовал одновременно свинец в затылке, могильный холод и жар печи крематория. А Ганс, как ни в чём ни бывало, говорил ему:

— Подай, пожалуйста, соль, — и Макс подавал.

Пистолет в жёлтой кобуре был у помощника коменданта всегда на боку. Поэтому Макс про себя повторял слова молитвы «Шма Исроэль!».

— Скажи, дорогой, — обратился к нему после сытного обеда Ганс, — Иисус Христос действительно был евреем и носил пейсы, как твой отец? Это правда?

— Да, правда.

— Расскажи мне об этом побольше. Постарайся не думать о том, что с тобой произойдёт через три дня. У нас с тобой ещё есть время.

— Да, да, есть, конечно… Иисус Христос был евреем, а христианская теологическая концепция возникла в результате спора между фарисеями и саддукеями. Вначале это был наш внутренний спор… Но этот спор был присвоен другими народами, которым понравилась его литературная обработка.

— Забавно, забавно. Значит, другие народы в очередной раз обобрали евреев?

— Да, к сожалению, так получилось… Поэтому наша Тора и стала основой всех авраамических религий.

— Забавно, мой друг, забавно,— повторил Ганс,— но на этот раз фюрер доведёт своё дело до конца, и претензии евреев прекратятся раз и на всегда.

— Да, да, конечно,— подтвердил Макс. Его мысли находились далеко, в другой реальности. Он отчётливо слышал позади затылка щелчок пистолета, вслед за которым должна наступить вечность.

Когда вечером он забирался на свои нары, сосед писатель, едва взглянув на него, спросил:

— Всё? Finita la Commedia?

— Да, похоже, что так,— ответил Макс.

В эту ночь спать ему не пришлось. Первый его день почти уже прошёл, но необходимо было удлинить его за счёт ночи.

К утру измученный Макс почувствовал, что неизвестность убьёт его раньше, чем шутцхафтлагерфюрер. В лагере, кроме осуждённых на смерть от голода, больше одного дня никто не томился в ожидании смерти… А ведь многие новички, отправленные в газовую камеру, даже не догадывались, что смерть ждёт их сразу за дверьми раздевалки.

На следующий день Макс едва дождался встречи с Гансом. Он жадно и бесцеремонно всматривался в непроницаемое лицо помощника коменданта. Он искал типичные признаки биполярного расстройства — так он определил состояние психики Ганса. Тот догадался и сказал:

— Дорогой Макс, не торопи события, я здоров и ничего не забыл, твоя жизнь закончится завтра, как я обещал, а сейчас мы будем обедать. Возьми салфетку и заткни за воротничок,

Макс покорно взял салфетку. Его знобило. Желание жить то исчезало, то с новой силой возникало опять. Он хотел попросить у всесиль-

ного шутцхафтлагерфюрера продлить его жизнь хоть бы ещё на один день, но каждый раз, как только он хотел это сделать, непослушный язык прилипал к гортани. Единственное, что ему не изменило, это аппетит. Он ел нервно, глотая большие куски, почти не соблюдая правила приличия, не вполне сознавая, что делает.

Вдруг Ганс прервал обед, поднял руку и будто приготовившись сказать что-то очень важное, обратился к Маску:

— Дорогой Макс, я хочу в присутствии фрау Фогельзанг ещё раз поблагодарить тебя за сделанную работу.

Макс замер. Ганс вышел из-за стола, вернулся с бутылкой вина и продолжил:

— Я хочу выпить за моего друга детства Макса.

Все трое встали и дружно произнесли:

— Prosit! (Тост-пожелание здоровья и долгих лет жизни — лат., *прим. ред.*).

Все выпили. Фрау Фогельзанг, привыкшая к чудачествам своего любовника, даже не взглянула на него.

— Жаль, что завтра нам придётся расстаться с тобой навсегда, мой добрый Макс, но, к сожалению, откладывать твою казнь даже на один день никак нельзя. Потому что послезавтра я уже не смогу с тобой увидеться.С утра я буду в Берлине, меня вызывают на улицу Принца Альбрехта, в гестапо. По секрету скажу тебе, меня должны представить к награде. Полагаю, меня хочет видеть штурмбанфюрер SS доктор Эмиль Берндорф из отдела превентивного заключения IVC 2. Но к вечеру я уже буду дома.

Фрау Фогельзанг, скучая, смотрела в окно. Ганс достал зубочистку и добавил:

— Советую тебе сегодня вечером побеседовать с раввином. Он спит в твоём блоке на втором ярусе около входных дверей. Но ты, наверное, не хуже меня это знаешь… Спокойной ночи, Макс. Завтра у тебя очень ответственный день. Постарайся хорошо выспаться…

Всю ночь Макс пытался соорудить петлю из обрывков арестантской робы. Но его непослушные руки дрожали так сильно, что у него ничего не получилось.

Когда утром в бараке открыли двери для утренней проверки, он выбежал голый по пояс и бросился на проволоку.

— Стой, идиот! — крикнул Максу «капо». Но было поздно…

Через несколько минут после самоубийства Макса Пфайфера у дверей комендатуры остановился чёрный автомобиль класса «Люкс» с берлинскими номерами. Это неожиданно приехали важные следователи из гестапо. Ганса вывели в наручниках на запястьях и усадили на заднее сиденье. Автомобиль оставил за собой облачко сизого дыма и скрылся за воротами лагеря. Часовой опустил шлагбаум. Но Макс этого так никогда не увидел. Он не дожил до развязки совсем немного.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Прообразом одного из героев этого рассказа стал помощник коменданта лагеря Флоссенбюрг Карл Фрич, известный своей крайне изощрённой жестокостью. Он первый — из любопытства — испытал действие «циклона В» на шестистах русских военнопленных.

На сей раз доставленный в гестапо благодаря информации, полученной от вольнонаёмного католического священника отца Маркуса, Карл Фрич был обвинён в системном присваивании денег и драгоценностей, принадлежащих Рейху. После этого престарелый отец Маркус, за свою ветхость и нежелание умирать прозванный «Derewige Jude» («Вечный Жид» — *прим. ред.*) — бесследно исчез.

Первого мая, когда разоружённые пленные охранники концлагеря под охраной огромных мужиков из американской МР — военной полиции сидели на майской траве в ожидании еды, кто-то из охранников сказал:

— Агасфер до сих пор обретается где-то среди нас, чтобы тайно справлять своё еврейское правосудие.

Карл Фрич избежал отправки на Восточный фронт, но был разжалован в рядовые и отправлен в штрафные войска. Второе мая 1945 года он встретил в Берлине. После взятия Рейхстага попал в плен, где был опознан и тихо заколот приставным штыком. Это сделал солдат с печальными чёрными глазами. Всё, что запомнили свидетели, это то, что солдат ничем не отличался от других.

Нью-Йорк, 2020

ОБ АВТОРЕ

Джейкоб Левин *эмигрировал из Риги в Нью-Йорк около 40 лет назад. По образованию — инженер по обработке металлов. Широко известен как эксперт по средневековому оружию и как дизайнер и изготовитель художественного оружия и миниатюрных изделий, механизмов из металла и различных драгоценных материалов.*

Немало лет пишет прозу. Основная тема его произведений — Холокост и судьбы людей в период и после оккупации Прибалтики. Книги, изданные в США: «Удо и странные предпочтения Боргманов», «Встреча в нью-йоркском сабвее», «Encounter in the New York Subway» (на английском). Готовится к выходу его книга на французском и русском языке под условным названием «Ньюмен», а также сборник его рассказов на русском языке.

Джейкоб Левин — постоянный автор журнала «Времена».

Валерий СКОБЛО

ИЗ СТАРЫХ И НОВЫХ СТИХОВ

Жизнь проходит от встречи до встречи.
Если сможешь смолчать — промолчи.
Одиночкой и «сульфою» лечат
От тревоги на сердце врачи.

Ветер страхом набух и позором,
Даже он не касается нас,
Знает, видно, что мы под надзором
Незаметных и пристальных глаз.

Если голос отняли, о Боже,
Сохрани мою память и боль —
Дай запомнить мне лица прохожих
И бумаге доверить позволь.

И любовь, и надежда, и вера
Обожгут окровавленный рот…
У молчания тоже есть мера,
И я знаю, что время придёт.

* * *

Смотрю — и мне уже не горько.
Я улыбаюсь. Разве только
В душе саднит слегка.
Чуть слышно тарахтит моторка.
С холма любого и пригорка
Видна река.

Причин отчаиваться нету.
Я улыбаюсь. Сигарету
Держу в руке.
Любовь мелькнёт, как свет в тоннеле.
Как славно жить без всякой цели,
Под стать реке.

Жить без иллюзий, только честно…
Мне и в любой толпе не тесно,
А одному
И безнадёжнее, и легче
Принять любой удар на плечи.
И я приму.

А миг — в другое измеренье
Шагнуть, оставив слух и зренье,
И жизнь впридачу, —
Я угадаю без ошибки.
Мне скулы сводит от улыбки…
Я слёз не прячу.

* * *

Потому что судьба
не способна на жалость и милость,
никогда не проси,
чтобы что-то назад возвратилось.

Догорая вдали,
осыпаясь на землю золою,
чем становится —
спросишь ты — то, что случилось с тобою?

Даже если твой голос
сорвёт меня с вечного круга,
только тенью вернусь,
только так и возможно, подруга.

Не зови — только тенью,
и палец у губ, и — молчанье,
подгоняемый ветром…
И не повторится прощанье.

Только так и сумею
припасть к твоему изголовью.
Ты за мною
прошепчешь со страхом: «Конечно, любовью…»

Никогда, никогда
ничего не даётся нам дважды…
Только может ли быть,
чтобы всё не вернулось однажды?..

* * *

Где бы я ни был, в каком бы пекле,
В какой бы клетке не выл от боли,
Даже если полезу в петлю,
Не попрошу поменять судьбою
С кем-то другим и начать сначала
Или убрать меня вовсе с круга.
Как бы душа от мук ни кричала,
Не предадим мы с нею друг друга.
Пусть мне осталось совсем немного,
Главную заповедь не нарушу,
Ибо, хотя я не верю в Бога,
Я знаю, что значит — продать душу.

* * *

Та женщина, которую любил
давным-давно и, кажется, напрасно,
живёт теперь в Париже,
у неё семья, и всё — прекрасно.

Я счастлив за неё. Она бывает здесь
с детьми и мужем в августе на даче.
Не совпади француз, «разрядка» и любовь,
могло быть всё иначе.

Не то, чтобы жилось ей без забот,
заботы есть, но, скажем осторожно,
их уровень существенно иной,
хотя со стороны судить довольно сложно.

И пусть любовь к той женщине прошла
лет семь назад, когда в кино я вижу
Париж и всё такое, я грущу,
и всё такое… И тоскую по Парижу.

Что, впрочем, точно связано не с ней,
но и не с тем, что мне живётся туго,
поскольку при желании и я
мог оказаться там, где бывшая подруга.

Я счастлив за неё, что мне не повезло
и что другой ей оказался ближе…
И счастлив за себя, что я несчастлив здесь.
…Что я несчастлив здесь, а не в Париже.

* * *

Чему душа нас учит,
Приобретая опыт,—
Тому, что этот опыт
Совсем напрасно добыт —
Не стоило стараться,
И всё это пустое —
Он ничего не стоит,
А мудрость изначальна,
Как это ни печально.
…Как гусеница грушу,
Высасывают душу
Тоска и дождь осенний,
И нет от них спасенья.
А потому и встречи,
И расставанья наши
Немного прибавляют
И убавляют мало
К тому, что изначала
Душа о мире знала.
…Но обнажится ясно
Никем не нанесённый,
До времени и срока
Таившийся узор…
И путь наш одинокий
Пойдёт все круче, круче
Туда, где только тучи
Приковывают взор.

* * *

Прилипла к нёбу и горчит
фруктовая ириска…
Мне ведом гибельный восторг
отчаянья и риска,
Когда в толпе, плечом к плечу —
день светел, дали чисты —
Кричим омоновцам в лицо
короткое: фашисты!
Я знаю: правды в этом нет,
и даже больше —
Передо мной иной пример:
и Чехии, и Польши.
И тот февральский ветерок
и холодок по коже
Могли, казалось, подсказать,
на что это похоже.
Но ты пойди — скажи теперь
вскипевшему народу,
Что сжатою в кулак рукой
не удержать свободу,
И лишь божественный глагол
и сладостные звуки…
Но в многом знанье счастья нет,
и мы сцепляем руки.

* * *

По тем, кто ушли, устроим поминки,
Без слов… под осенним стоя дождём,
Но не прольём ни единой слезинки,
Поодиночке за ними уйдём.

В этом, конечно же, много печали,
Но страха и горечи в этом нет.
Души ушедших приходят ночами,
Когда им дневной не мешает свет.

Скользит судьба, точно фильм по экрану,
Из малых складывается штрихов…
А то, про что шепчут они — не стану,
Совсем это даже не для стихов.

* * *

Каждый из нас достоин суда и казни
В нашей жизни, сколь бы кратко она ни длилась.
Дьявол поэтому нас манит и дразнит
И воплощает божественную справедливость.

Ну, не казни, так точно тюрьмы без срока.
Грешны не только поступком, но всяким вздохом.
Разбираться с каждым — одна лишь морока,
Наверно, поэтому проще разом и чохом.

Потому-то, видать, неизбежна кара:
Армагеддон, война… что-то в этом же роде.
На фоне предстоящего нам кошмара
Бессмысленно думать о добровольном уходе.

* * *

Если ты не умеешь
прожить в этой нищей стране,
Чуть присыпанной снегом,
вмерзающей в зимнюю стужу,
Если трудно дышать
в обступившей тебя тишине,
Значит, время настало
проситься отсюда наружу.

Если необратимо
и жутко пустеет вокруг,
Так что вещи и те
ждут — не могут дождаться отправки,
И тебе не дано
знать, чем жив твой уехавший друг,
Значит, нужно и вправду
готовить анкеты и справки.

Если ты здесь чужой
на последнем похмельном пиру
И сосчитаны все
расставанья, обиды и вины…
Чёрт-те что ты бормочешь
на высекшем слёзы ветру,
В свой окопчик вгрызаясь
средь вымерзшей русской равнины.

* * *

Ни первым среди равных, ни последним…
Я вовсе не хочу быть среди равных.
Ни задним не желаю, ни передним,
Ни в гуще, ни одним из самых главных.

И в очередь, поверьте мне, не встану,
Ведь даже крайним мне стоять не лестно.
Я не примкну к аристократов клану,
Мне кажется всё это неуместно.

Но и к Бабёфу не пойду, пожалуй —
Не надо мне ни равенства, ни братства.
Лишь за глоток свободы самый малый…
Да нету сил за эту тему браться.

ОБ АВТОРЕ

Валерий Скобло *родился в Ленинграде в 1947 г. Закончил матмех ЛГУ. Научные труды в области прикладной математики, радиофизики, оптики.*

Сборники стихов «Взгляд в темноту» (СПб, 1992), «Записки вашего современника» (СПб, 2011), «О воде и воле» (СПб, 2015), «За тайной печатью» (СПб, 2017).

Стихи, проза, публицистика публиковались в российской и зарубежной (Англия, Беларусь, Болгария, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Канада, Казахстан, США, Украина, Финляндия, Франция, Эстония и др.) литературной периодике.

Лауреат премии им. Анны Ахматовой (М., 2012), финалист международных конкурсов стихотворного перевода «С севера на восток» (Хельсинки, 2013 и 2016), дипломант литературной премии им. А.А. Ахматовой (СПб, 2015), шорт-лист международной премии им. Э. Хемингуэя (Торонто, 2019).

Живёт в Санкт-Петербурге.

Виктор НОРД

ДЕД И «ИСПАНКА»

Глава из книги

ОТ АВТОРА

Это — лишь отрывок из готовящейся к изданию на русском книги, и как часто бывает, он требует краткого предисловия, так сказать, введения в рассказ, чтобы заранее ответить читателю на могущие возникнуть у него недоуменные вопросы.

Спешу пояснить. Дело в том, что вся история доктора и его жены — рассказывается от лица их внука — как ряд подслушанных им «взрослых» разговоров, воспоминаний знакомых, сплетен посторонних, ответов самих персонажей на его по-детски бестактные вопросы и, наконец, случайно обнаруженных внуком совсем недавно писем и документов, оставшихся после этой странной пары.

Без такого пояснения любого читателя, конечно бы, удивило, отчего вдруг рассказчик вздумал называть персонажей своей истории *дедом* и *бабкой* — хотя оба были в то время далеко не старыми людьми и о будущих внуках вряд ли задумывались.

Справка:

Испанский грипп *или* ***«испанка»*** *был, вероятней всего, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших. Эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 год; во всём мире было заражено не менее 550 миллионов человек (около 30% населения планеты). Число умерших оценивают от 17 млн. до 50–100 млн. человек или 0,9–5,3% населения Земли. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны. Считается, что развитию пандемии способствовали тяготы*

войны — антисанитария, плохое питание, скученность военных лагерей и лагерей беженцев.

Несмотря на то, что первые больные появились в начале 1918 года в США, грипп получил название «испанский». Причиной этого считают то обстоятельство, что военная цензура участвующих в Первой мировой войне стран не допускала сообщений о начавшейся в армии и среди населения эпидемии. Нейтральная Испания первой из европейских стран публично объявила о пандемии заболевания в мае-июне 1918 года, отсюда и название.

Поезд пришлось ждать целую вечность. Стены в крошечном зале ожидания были прошиты насквозь пулемётом; отовсюду тянуло холодом, печка не грела, и когда ночь подошла к концу, бабка принялась тихонько вздыхать поначалу, а потом даже и чуть слышно подвывать: она замёрзла, и ей давно уже хотелось по-маленькому.

— Сквозн*И*к, — сказала она и всхлипнула. По-русски бабка так и не выучилась правильно говорить, она забавно, чисто по-киевски, коверкала самые простые слова: *кастрУля, фонарЧик, гаршЧок*.

— Тс-шш! — зашипел на неё дед. — Сиди и терпи — понятно? Научись терпеть.

В создавшейся ситуации молодой женщине выйти на платформу и присесть по нужде было равно приглашению к групповому изнасилованию. На соседнем пути стоял эшелон с новобранцами; требуя паровоза, они с вечера ещё грозились поднять «бузу» на полустанке, а потом раздобыли где-то спирту, и теперь с каждым часом их матерщина становилась всё громче и злобнее. Охрана деда — четыре штыка, восемь гранат, три сабли — даже и не пыталась скрывать, что *в случáе чего*, защитой они бабке не будут. За жизнь врача бойцы отвечали головой, но кому ж охота была подставлять башку за его восемнадцатилетнюю докторшу? Оставалось ждать и молчать.

Под самое утро приполз, наконец, маневровый Ь («ерька») и пыхтя-надрываясь, утащил воинский состав подальше на запасные пути. Ожидавшие в зале выбежали на тёмный перрон, часовые встали спиной друг к другу в каре и примкнули штыки — точь-в-точь караул у памятника Героям Шипки. Внутрь каре вошёл дед и тщательно обрызгал квадрат между бойцами карболовой кислотой из склянки,

потом махнул рукой жене: иди, можно, мол. Бабка шмыгнула в центр квадрата — фельдшер посветил ей фонариком — приподняла полу шубки, присела и с наслаждением облегчилась. Когда она, счастливая, убежала назад в зал, мужчины последовали её примеру, придерживая свои трехлинейки. Им было легче, с края платформы они мочились вниз прямо на рельсы, не боясь потревожить ни пьяных новобранцев, ни их тифозных вшей, густо усеявших гнилые доски перрона.

Вскоре вернулся «ерька» и приволок за собой тяжёлый шестиосный штабной вагон с надписью на боку, свидетельствующую, что это поезд Красного Креста**.** Морячок — начальник охраны несколько смущённо извинился перед дедом за долгое ожидание: в кубовой вагона по недосмотру обнаружился *кадавер* — труп молоденькой милосердной сестрицы, и весь вагон пришлось заново обрабатывать карболкой, а кубовую — и раствором сулемы, а потом ещё проветривать ядовитые испарения. Когда завёрнутое в рогожу тело санитары пронесли мимо и уложили на платформу, дед неожиданно потребовал, чтоб ему показали лицо умершей. Бойцы, ворча, подчинились и отвернули край рогожи. Дед натянул поплотнее пропитанную вонючим фенолом маску и поправил пенсне. Из вагона принесли спиртово-калильную лампу.

— Так. Закрывайте,— приказал он через секунду, и начал тщательно протирать спиртом свои стёкла.— Знаете что, Порхунов,— обратился дед к фельдшеру,— возьмите-ка у неё… э…*un pris de sang*, кровь там из уголка рта, возьмите мазок из ноздрей, и пока едем, приготовьте мне хорошие препараты — на просвет чтобы. А я на какой-нибудь остановке гляну в стёклышко. Да поосторожнее там, возьмите перчатки, фенол: девушка-то — *новопреставленная*, ещё тёплая, и это не просто тиф…нет, нет, нет…это не просто тиф…

Когда за ним приехали накануне вечером, дед подумал, что это был просто частный вызов к больному. Но знакомый шофёр, жену которого дед избавил как-то от мастита, шёпотом намекнул, что дорога может оказаться дальней и долгой, и лучше бы взять с собой смену белья и что-нибудь из продуктов. Увидев охрану — пятеро верховых и ещё двоих в пароконной бричке, дед заупрямился и заявил начальнику, что без жены он не двинется с места, а когда узнал, что речь идёт о поездке по железной дороге, потребовал точно сообщить цель вызова и пункт назначения. Начальник охраны знал только общее направление маршрута — северокавказское, и даже от кого вышел вызов, он мог

объяснить лишь туманно, не предъявляя мандата, что, мол, из штаба некоей Народно-Революционной армии, остальное — военная тайна.

Зелёные? Красные? Ингуши? Осетины? Мгновенно сообразив, что речь идёт о вспышке фронтовой эпидемии, дед велел жене без лишних вопросов срочно собираться в дорогу, а начальнику — ехать за помощником, фельдшером Порхуновым и двумя его санитарами, и, если те станут упираться, мобилизовать их без лишних слов. Возражения были бесполезны: по тону было понятно, что упрямый доктор выедет из дома лишь на своих условиях, а старшему по охране было настрого приказано доставить его *свежьем-живьем*, то есть целым, невредимым и в рабочем состоянии.

«Смит. 44-й» начальника оказал ожидаемый эффект, и через сорок минут фельдшер Порхунов с помощниками уже загружали в авто тщательно упакованные в стружку бутыли — креозол, зелёное мыло, карболку. Юная малоопытная бабка как умела приготовила два баула: тёплое бельё, калоши деда и свои ботики. Тюки конники приторочили к сёдлам, а в придачу она принесла им ещё мешочек фунта с три рису, и отдельно — бережно завёрнутые в одеяла два фаянсовых ночных горшка; с завистливым восхищением бойцы приняли их за пивные немецкие кружки. Деду было ясно, что работать придётся в самом центре смертельной опасности; пользоваться общими клозетами он не собирался, да и бабке бы не позволил.

Когда всё уже было готово, начальник запечатал сургучом докторскую квартиру и прилепил свирепую бумажку «Не вскрывать! Собственность Республики!» с двумя мохнато расплывшимися печатями, так что не понять было, какой именно республике она принадлежит. Дед вышел последним и уселся в перегруженный *Остин*, прежде поставив жене на колени свой потёртый докторский саквояж. Жёлтый полированный сундучок с главной своей драгоценностью — цейссовским микроскопом он ни на секунду не выпускал из рук. Убедившись, что бабка плотно уселась и держит саквояж крепко, дед напомнил ей о склянке с йодом внутри и дал знак начальнику трогаться. Кавалькада двинулась вдоль чёрных спящих домов — автомобиль, бричка, конник впереди, два по сторонам и один замыкающий. Дед заметил, что копыта лошадей были плотно обмотаны тряпками, чтоб не так стучали по городской брусчатке.

Ехали боковыми улочками, в полной темноте пересекли мост, и только у самой черты города *начохран* объявил, что в поезд сядут

не на станции, но его подадут на разъезд сразу после депо Дарницы. «Подадут!»… — хмыкнул про себя дед, — ну и почёт, *merde,* прямо *persona grata.* — В беде теперь, должно быть, был целый армейский корпус. А то и фронт…

И откуда только узнали о его докторстве биохимии в Лозанне — ни в одной бумаге по-русски эту степень свою он не упоминал…

Не успели загрузиться в вагон, как к нему спереди прицепили ещё две теплушки, и в одну из них конники, спешившись, стали заводить лошадей. «Овечка»-паровоз подошёл, толкая перед собой открытую платформу с рельсами и шпалами. Бричку, закинув назад оглобли, завели на платформу и закрепили проволокой. Невесть откуда появился пулемёт, и его тоже закрепили на самой бричке. А шофёр распрощался со всеми и с радостным облегчением укатил: его дело, очевидно, было лишь доставить деда к салон-вагону. Наконец, проверили буксы и состав тронулся. Один из людей, ехавших в авто, оказался проводником, специально прикреплённым к этому вагону, и он обещал не только хорошенько его протопить, но и в ближайшем *депе* раздобыть приводной ремень, присоединить к *динаме* и весь вагон обеспечить электричеством. Дед молча кивнул в ответ.

С каждой секундной он мрачнел всё более. Его настроение не на шутку разозлило начальника, он объяснил это чёрной неблагодарностью врача, явно зажравшегося барина: лишь недавно вагон возил самого начальника царского штаба Януковича, и к нему, небось, и за версту не подпустили бы какого-то еврейского доктора *Гольдберга*! Прежде чем приставить к деду часового, чтоб не вздумал удрать, начохраны решил всё же прямо спросить, в чём дело — и вопрос разрешился просто. Дед, оказывается, заметил, что поезд прошёл через северный семафор разъезда, а Владикавказское направление лежало от Дарницы к юго-востоку. Последнее, куда деду хотелось бы попасть, это на Урал или в Сибирь: в Киеве его знали, а на севере никакие охранные мандаты не помогли бы ему избежать мобилизации в части *КОМУЧ* (Народная армия — одно из первых формирований антибольшевистских войск на востоке России во время Гражданской войны — *авт.),* а то и похуже… Начальник охраны с облегчением рассмеялся. Их тащили в Лиски, там надо было прицепить ещё вагоны, и ехать всё равно придётся кружным путём — через Миллерово на Шахты, потом прорваться на Новочеркасск и в объезд занятого белыми Росто-

ва — на Тихорецкую. Короче никак не выходит: в степях — безвластие, бандитизм, и потом наскоро починенные деревянные мосты просто не выдержат тяжёлый поезд.

Дед несколько успокоился, хотя и чувствовал, что начохран не договаривает, лукавит — но решил подождать до Лисок. На это у него были свои соображения. Мосты не выдержат штабной вагон… о да, как же! так и поверил…Его просто увозили подальше от Киева. В городе упорно ходили слухи, что в районе Дарницы какие-то повстанцы похитили у немцев не то броневагон, не то целый поезд. Дед был теперь почти уверен, что вспышка эпидемии поразила именно красных, и их на доктора *навела* его сокурсница, приват-доцент княгиня Гедройц, *красная лесбиянка*: она одна знала о его второй степени — доктора биохимии, в дополнение к доктору медицины.

Роскошный салон-вагон состоял из двух изолированных отделений: генеральского и штабного, для свиты. Он считался *полубронированным*: там можно было спастись от ружейного огня, легши на пол. Устроив бабку в двойное купе с умывальником, дед вытребовал у начальника ещё и маленькую одноместную кабину себе для работы. Комната совещаний оказалась вакантной, и туда на мягкие диваны начохран охотно переехал сам, уступив своё купе фельдшеру с его людьми. Напоследок дед настоял, чтобы дверь, отделявшая его отделение от общего, где расположилась охрана, была всегда заперта наглухо и протиралась карболкой. Убедившись, что требования выполнены, дед перенёс в рабочее купе микроскоп, попросил фельдшера принести туда и распаковать его короб с лабораторной посудой, после чего заперся и не выходил оттуда всю дорогу до станции Лиски.

Поезд прошёл сквозь забитые эшелонами перегоны как нож сквозь масло, без единой остановки. У начохраны очевидно были связи в самой верхушке *Викжеля (Всероссийского исполнительного комитета железнодорожного профсоюза* — Авт.), так что к концу следующего дня они были уже в Лисках. Там дед и убедился в справедливости своих догадок: первым делом к ним пригнали уродливое серое чудовище, напоминавшее сарай на колёсах. Это, как оказалось, был бронированный *холодный* паровоз. Между ним и открытой платформой со шпалами прицепили ещё одного монстра: мотоброневагон с надписью «Заамурецъ», с двумя орудийными башнями по бокам и дырками для ружей и пулемётов вдоль низкого каземата. Стало очевидным, что доставка на фронт врача была только малой частью зада-

ния вежливого морячка, представившегося доктору лишь начальником охраны. Впрочем, теперь он отвечал на вопросы гораздо охотнее и подробнее, назвался и по фамилии: Белокопытов, но должность свою звал по-прежнему: начохран. Объяснил, что имеется в виду начальник боевого охранения эшелона, а идут они на помощь Одиннадцатой армии красных. Стало также понятно, отчего был выбран окольный путь: не просто из-за усиленного полотна, но главное, чтобы уйти подальше от *Варты* Скоропадского и, главное, от немцев. Предстояло прорываться от Тихорецкой в Армавир, потом свернуть в направлении станицы Святой Крест, к отступающей Одиннадцатой. Эшелон теперь состоял из двух составов. Впереди ехали те самые новобранцы, которых начохран обманом *забрил* под Киевом в красные войска, выдав себя за *чёрных,* повстанцев-анархистов. Впрочем, после обильной горячей кормёжки в Лисках, двойного английского сухого пайка, реквизированного там же на складе, и двух вёдер разведённого спирта, комитет всех пяти теплушек постановил принять сторону красных — при условии довольствия регулярным питанием и выдачи прочной обуви.

После Россоши поезд стал медленно пробираться на юг, останавливаясь поначалу чуть не на каждом разъезде. Дед заперся в своём тесном купе, задёрнув шторы, снял пенсне и просидел там до в полумраке до самого Миллерова, охватив колени своими длинными пальцами и глядя в пустоту. Подходила к двери бабка, предлагала ему чашку рису или чай — он суховато попросил оставить его в покое. Белокопытов *на всякий случáй* приставил к двери его закутка часового с кавалерийским карабином, но дед вовсе не помышлял о побеге. Ему не давала покоя одна и та же мысль, то, что он на своём, не вполне разговорном русском называл про себя *положением* — и эта мысль жгла его и мешала думать о других, более срочных и насущных делах. Дед страстно любил медицину, однако терпеть не мог свою практику земского врача, эту клиническую подёнщину, всеядность, без которой не выжить было медику в это сумасшедшее время. Он мечтал об экспериментах, хорошо оборудованной лаборатории, грамотно приготовленных препаратах, о возможности клинических проверок своих *положений*. Профессор его, *Сезар Ру*, прочил ему большое будущее в области ранней диагностики; ещё студентом дед осмеливался перепроверять даже постулаты Коха; в Лозанне его диссерта-

цию по биохимии высоко оценил сам приват-доцент Хавкин, остановивший в Индии эпидемию чумы. Вместо этого доктор Гольдберг должен был теперь заниматься фурункулами, поносами, колюще-режущими ранениями, тифом, припадками — побочными эффектами сабельного удара; в лучшем случае, венерическими заболеваниями — и всё это с одной целью: как можно скорей вернуть боевых конников в строй. И для чего? Лишь затем, чтобы вскоре получить их назад искалеченными, изуродованными, контуженными, не годными к функциям нормального человеческого существования… В отрядах батьки Махно ему уже давно разъяснили, что *навить ичирь на сраци — ито вже не всадник, а гамно*, так что — работай, *ликар*, получать будешь! Не то…

Не то!…Доктор ненавидел свои официальные должности, все эти разноцветные мандаты, часто подписанные всесильными главкомами, а то и главами правительств — и его двусмысленная позиция земского врача платила ему тем же: в любое время суток его мог вытащить из постели любой желающий, и под вежливым стволом револьвера убедить нанести визит на дому какому-нибудь опившемуся самогоном родственнику. И никакой, самый свирепый мандат не мог служить доктору ни защитой от насилия, ни даже помехой ему.

А между тем, доктор на самом деле страстно любил медицину — но её особую область, тогда ещё только начавшую оформляться в отдельную науку — микробиологию.

…Это чувство было знакомо ему ещё с ранней юности, оно было острым, почти физическим, как изжога или головокружение. Ему казалось, что в такие моменты он вот-вот уловит, схватит за хвост некую закономерность, дотоле неведомую исследователям, какое-то неизученное взаимодействие между различными живыми организмами. Он верил в существование бесконечной гармонии биологической среды, и он чувствовал, что вот-вот найдёт ещё одно звено в цепи этой великой гармонии, обнаружит ещё один новый, таинственный алгоритм взаимосвязи — и взаимозависимости — живых организмов в микромире. Чаще всего это портило доктору настроение, ввергало в тоску, так как он отдавал себе отчёт в том, что никакой возможности проверить свои *положения*-догадки экспериментально, пользуясь современными методами исследований, сейчас не существовало. Его гипотезы были обречены на года оставаться лишь подозрениями, умозрительными конструкциями, пустыми видениями, замками в облаках.

Европейская цивилизация корчилась в конвульсиях, рушился вековой порядок, вокруг царили хаос и смерть — а достижения научных изысканий лишь удесятеряли эффект этой необъяснимой, безжалостной страсти к уничтожению живой природы.

Миру было не до тщательных дорогих исследований, не сулящих немедленных результатов: нынче вопрос состоял в том, как бы остаться в живых, как физически уцелеть в мировой бойне — и никто пока не был в состоянии ответить на этот вопрос…

Дед не верил в самозарождение заболеваний. Теория эволюции, которой слепо поклонялось большинство тогдашних научных и ненаучных авторитетов, лишь упорядочивала ранее накопленные наблюдения, детально описывала *как*, но не давала ответ на вопрос *почему*. Для деда она была полезным, но отнюдь не универсальным инструментом. Дед не доверял неизбежности прогресса, он допускал возможность жутких ошибок природы, кульбитов и отклонений естественного отбора — святая святых тогдашней биологии, и его инстинкт был прежде всего — подвергать сомнению общепринятое и очевидное. Трудный и неуживчивый его характер был лишь бледным отголоском страстей, кипевших внутри жадной до всего необычного и необъяснимого души, его интеллекта прирождённого исследователя.

Он нутром чувствовал, что новая болезнь, уже поразившая целый отряд бойцов, не была просто лёгочной разновидностью тифа, как утверждали армейские медики. Пневмония? Ещё утром здоровый крестьянин, уже перенёсший сыпняк и даже возвратный тиф, мог вдруг почувствовать лёгкое недомоганье, напоминавшее простуду, затем начать кашлять с обильным выделением мокроты, а к середине ночи уже испытать приступы удушья. Но отчего так стремительно развивающаяся? Лица умерших были иссиня-багровыми, с характерным искажением черт, напоминавшим лица повешенных. Патологоанатом Пожариский из Ростова описывал десятки погибших пациентов, захлебнувшихся в собственной крови, что не совпадало с принятой диагностикой инфлуэнцы. Отчего она поражает молодых людей, но щадит стариков и детей? Французское издание «Ланцета» склонялось к тому, что это — особое заболевание и вызвано оно *палочкой Пфайффера-Афанасьева*, но этот возбудитель был мало изучен, и настоящего клинического подтверждения пока представлено не было. Поэтому дед подозревал, что кто-то просто обвинил эту легко наблюдаемую бациллу наугад, от отчаяния, обнаружив её среди бесчислен-

ного множества других микроорганизмов в крови, лимфе и тканях пациентов. Во всех войсках на территории России свирепствовал тиф — сыпной, брюшной, возвратный, и медики всех оттенков — зелёные, чёрные, красные и белые, спешили любой *небоевой* смертельный исход объяснить тифом, часто даже в истории болезни не затрудняясь уточнить, каким именно — и это особенно злило въедливого доктора. Обвинять коллег в небрежности и некомпетентности было глупо: такого масштаба поражений просто не было описано в истории войн, полевых врачей не хватало, и никто из них не мог похвастаться ни достаточным практическим опытом, ни испытанными методами диагностики. За бациллу Пфайффера хватались как за последнюю надежду нащупать любое, хотя бы временное, чисто практическое средство сопротивления катастрофе: потери на поле боя уже не шли ни в какое сравнение с жертвами инфекции.

Их эшелон останавливался теперь часто и стоял подолгу, так что дед в дневное время мог проводить часы напролёт, не отрываясь от микроскопа. Фельдшер Порхунов аккуратно приносил всё новые препараты от здоровых и недавно умерших, и под диктовку деда тщательно каталогизировал результаты. Перед ними катился тот самый состав с новобранцами, и недавно заболевших в душных теплушках там хватало для взятия проб с избытком. С наступлением темноты можно было, погасив свет, приоткрыть плотную штору и выглянуть в окно; чем ближе к Ставрополью, тем длиннее становились ряды тел, выложенные на обгорелых платформах в ожидании захоронения. Когда до Пятигорска остались, наконец, последние перегоны, доктор с обычной своей скрупулёзностью проверил записи. Сомнений теперь быть не могло: бацилла Пфайффера-Афанасьева первичным возбудителем новой болезни не являлась; в одних и тех же количествах она присутствовала в организмах и здоровых, и недавно заболевших, и даже умерших уже как неделю больных. По сравнению с возбудителями того же тифа в препаратах палочка вела себя вполне пассивно, не размножаясь быстрей обычного, мало реагировала на изменения биосреды в лучшую или худшую сторону.

Ещё под Дарницей, едва глянув на багровое лицо задохнувшейся при приступе кашля *сестрицы*, доктор заподозрил слабую форму инфлуэнцы, но ведущую к осложнению — пневмонии, необычно агрессивной. Теперь он готов был к разговору с военными медиками, да хоть с самим Главкомом, вызвавшим его в Пятигорск.

В Минводах он вышел, наконец, из своего добровольного заточения и попросил сначала приготовить ему хорошенько вымыться, а потом, если можно, дать поесть что-нибудь горячее. Начохран Белокопытов почесал висок, вздохнул, но велел проводнику прочистить систему и нагреть воду для душа в купе-люкс. Уголь был на вес золота, паровозы давно уже *ходили на дровах*, но доктор сейчас был важнее, а куб салон-вагона можно было протапливать только антрацитной крошкой.

Пока в баке кипятилось его бельё и дезинфицировался *опасный* рабочий халат, бабка принесла мужу миску круто сваренной пшённой каши с сахарином, и он с аппетитом прикончил её в момент. Бабка обрадовалась: теперь с дедом можно было поболтать, не боясь нарваться на ледяные односложные ответы. Новости были в основном хорошими: они прорвались к Армавиру без серьёзных происшествий; начохран раздобыл для них керосинку *«Грец»* и на её конфорке можно было теперь прогревать и обеззараживать пайковый хлеб. Однако охрана доложила и о досадной случайности: во время небольшой перестрелки (которую за своим микроскопом дед попросту не заметил) шальная пуля угодила прямо в бутыль медицински чистого спирта, и всё её содержимое в момент пролилось сквозь щелястый пол. О том, что предъявляя в доказательство отбитое горлышко с притёртой пробкой внутри, казаки охраны блудливо прятали глаза и старались не дышать в сторону бабки и начохрана, она решила рассказать мужу как-нибудь в другой раз. Но он не обратил и внимания — так был доволен итогами своих наблюдений. Теперь предстояло только убедить командование отрядить его в Ростов на осеннюю встречу эпидемиологов. Там доктор сделает своё сообщение; там будет академик Введенский; он тоже не верит в роковую первичную роль палочки Пфайффера, и кто знает, может, совместными усилиями им удастся разработать хоть сколько-нибудь эффективный контроль над вспышками новой болезни.

«Что ж, — сказал Белокопытов, — совещание — дело хорошее, ехать вам туда надо, отправим. Вот отобьём Ростов недельки через две — тотчас и пошлём». Деда это заявление ничуть не обескуражило. Среди множества разноцветных мандатов была у него припрятана и бумажка за подписью Деникина — и среди медиков Добрармии имя его было известно хорошо.

«*Временный перечень мер, рекомендуемых в армии для контроля вспышек эпидемии и предотвращения таковых в будущем*» приготовлен был дедом мастерски. Ознакомление с ним не должно было отнять

у занятых командиров более десяти минут, и понятен он был любому непрофессионалу. Так учили деда когда-то в Швейцарии: помогая пациенту самому сделать выбор, описывать рекомендуемые меры следовало коротко, исключительно простыми, общедоступными выражениями.

Вёрст за пять до Пятигорска простояли два с половиной часа: все подъездные пути были забиты воинскими составами, бронеплатформами и санитарными поездами с умирающими или уже умершими от «испанки». Даже ко всему привыкший начохран как-то притих и только вздыхал, почёсывая свой шрам на виске. Прождали ещё мучительные сорок минут, пока он докладывал Главковерху о прибытии новобранцев, медиков и бронепоезда.

Зато последующие события стали разворачиваться с нарастающей быстротой, и счёт пошёл уже не на недели, но на дни и часы.Принимать доктора с его советами главковерх Сорокин не стал. Вместо этого салон-вагон со всеми его пассажирами тут же прицепили к другому локомотиву и под охраной срочно отправили в район Армавира. Одиннадцатой, гнувшейся под ударами деникинцев, не могли помочь уже ни четыре роты невооружённых, необученных новобранцев, ни «холодный» — ни воды, ни угля, ни боезапаса — бронепоезд. Одно, что ещё могло оказаться полезным, это прибытие эпидемиолога, но главковерху Сорокину было сейчас не до медиков.

Одиннадцатая армия держалась из последних сил, её надо было сохранить любой ценой, а в боевом состоянии находилось меньше половины бойцов: остальные в жару и в бреду валялись в обозах, в госпиталях и просто на прелой соломе в теплушках. Утром только треть пехотинцев едва сумели поднять в контратаку под Ставрополем, она провалилась, и надежда Сорокина была на активность Таманской армии. Отношения с ней были, однако, сложными, её командиры неохотно подчинялись решениям Реввоенсовета.

Выступления таманцев в направлении станицы Невинномысской ожидали ещё вчера, но они по какой-то причине медлили, ставя весь район обороны под угрозу окружения и полного разгрома. Белокопытову было приказано выяснить причину промедлений и любой ценой убедить таманцев срочно продвигаться в указанном направлении.

Медиков Белокопытов решил взять с собой, ибо девать их все равно было некуда, а одной из причин задержки он подозревал все ту же вспышку болезни.

И не ошибся. Командарм Матвеев, узнав, что привезли доктора, прежде всех иных дел затребовал его к себе.

На станции Курганная два салон-вагона, темно-синий и чёрный, поставили параллельно друг другу на соседних путях. В сопровождении начохрана доктор перешёл в вагон командующего. Их конвой остановили у входа в тамбур, но оставили при оружии, только велели отомкнуть штыки. Командарм, огромного роста, настоящий морской волк в полосатом тельнике и клешах, уже ожидал их в своём оперативном отсеке. На зелёном сукне стола лежал непременный маузер в своём деревянном ящике-прикладе. «Не курю, — предупредил матрос, после чего молча пожал руку доктору, а потом — Белокопытову. Сели к столу.

— Подозреваю измену, — с места в карьер начал командарм. — Планирую боевой поход, а в третьей и второй колонне выходят из строя люди. Один за другим — лица синюшные, вроде только с петли, пить не просят, а задыхаются. Раньше такого не замечалось: утром здоровый боец, а к вечеру наганом не поднять, лучше убейте, просит.

— Кто начсан? Можно его пригласить? — коротко спросил дед.

— Погоди. Тифозные ведь, они в жару мечутся, тронешь — горячо; лихорадочных — всегда трясёт, а тот — вроде и не горячий, думаешь так себе, труса празднует. А середь ночи глядишь, захрипел браток — и нет его, хоронить пора.

— А может, всё же начсана сперва…

— С начсанармами такая история, — снова перебил Матвеев, — за месяц-два сменил четырёх. И новый каждый всё валит на прежних, те бегут, трибунала боятся, дезертируют. А положение всё хужее, живой силы на ногах — половина, а то и меньше. Настоящий доктор — на всю армию один. Остальные — фельдшеры, без полевого опыта, так себе…

— Этот доктор — Аполлонников у вас? Знаю, он костоправ отличный. Но кто клиникой у вас занимается?

— Чего?

— Кто не раненых, а заболевших осматривает? Обстукивает их, обслушивает, щупает им пульс, знаете, отсылает в лазарет?

— А-а, как судовой лекарь вроде? Так бы и говорил. Неделько Ваня, военфельдшер, о нём речь. Он у нас армейскими госпиталями заведует. И многие бойцы пишут на него, жалуются; спирт вот невесть куда пропадает и морфий — его и подозреваю. Только меж нами — молчок! Узнаю, что языки развязали — худо вам будет.

Дед поглядел на командарма. Белокопытов едва доставал тому до плеча, а одеты оба были похоже, только разные надписи на бескозырках. Матвеев, типичный *братишка,* горой возвышался над столом, огромное лицо его было открытым, обветренным, грубым — вполне революционным; Белокопытов с его лисьей мордочкой был из тех, о ком говорят: *морячок*, но и он сидел у стола с важным видом. Цену себе он знал, им восхищались: никто в армии лучше него не владел русским «Смитом».

— Вот скажи, может ли вообще — может ли вражеский лекарь такой саботаж сделать, чтоб бойцов губить, а вроде как для лечения?

Дед усмехнулся.

— В вашем случае — нет. Лучший вред вашему делу — это просто сидеть такому медику сложа руки и ожидать, пока антисанитарные условия жизни сами начнут косить людей сотнями.

— А вы? Сам бы ты что делал на походе, доктор?

Дед молча полез в саквояж и вытащил сшитые суровой ниткой плотные листы дорогой *«оперативной для донесений»* бумаги.

— Вот: рекомендации, требования полевой санитарии и гигиены при опасности вспышек инфекционных заболеваний.

— Погоди. Ин…инфекционных, это каких? Заразных, что ли?

— Совершенно верно. Если есть минут десять у вас — ознакомьтесь, если угодно.

Морской волк вдруг слегка покраснел, как юная институтка.

— А может… ты лучше читай? А я если что не ясно будет, спрошу? Полагаю, так шибче дело пойдёт. Жаль, начштаба моего нету, он-то — сухопутный, ушлый такой…

Дед надел пенсне, но едва лишь закончил преамбулу и чтение первых пунктов, как Матвеев остановил его.

— Всё, — сказал он, — всё верно! Дальше не надо. Дальше будет всё, что я сколько раз им говорил, я знаю! Армия измотана, больна, голодает. Ей переформировываться надо и на Царицын уходить, это любому видно и без стёкол.

Он встал и надел через плечо ящик своего маузера. Встреча была окончена. На выходе из вагона он пожал руки обоим посетителям.

— Донесли мне, вы тут с семьёй прибыли? Я на *Реввоенсовет* должен в Пятигорск, всё им там выдам! Дак я велю, чтоб круп вам дали здесь, жиров. И сахару колотого полфунта — от меня лично. Не обессудьте, пировать особенно не приходится.

Вечером, перед тем как командарм таманцев Матвеев отбыл в своём вагоне в Пятигорск, с доктором встретился зам, командующий Первой колонной Ковтюх, и молча внимательно выслушал его советы. Принесли продукты, воду и угольную крошку для кипятильника.

А к полуночи салон-вагон доктора оцепили бойцы охранения таманцев с примкнутыми штыками; доктору объявили, что он находится под арестом и должен, не покидая своего отсека, ожидать решения Реввоенсовета Северо-Кавказской Республики. Контрразведка Первой колонны не шутила. Для деда требовали расстрела за политический саботаж: «*внесение под видом лечебных советов расстройства в единые ряды революционной Таманской армии*».

Всю ночь, пока дед был заперт в своём купе, по вагону в одном халате, простоволосая, бродила бабка, что-то бормотала себе под нос и умоляла каждого, кто попадался ей, раздобыть ей каких-то перьев.

Санитары и охрана внутри вагона были разоружены, но официально не арестованы. Белокопытову даже оставили его «Смит» под слово революционера, что он головой отвечает за доктора и сам его будет стеречь. Начохран согласился на условия, так как зная конвоиров-таманцев, опасался самосуда.

Бабке разрешили с дедом увидеться, принести ему поесть и кипячёной воды, так как понимали, что часы его сочтены. Ей даже позволили разговаривать с мужем через дверь, но ни ему, ни бабке было не до этого. Было видно, что она помешалась: требовала достать ей настоящую, непременно настоящую восковую, свечу, соль и куриные перья. На её серое застывшее лицо смотреть было жутко, и проводник решил поискать у себя в служебном отделении; он первым узнал, что деда расстреляют, как только вернётся из Пятигорска командарм Матвеев с утверждённым Реввовенсоветом приговором.

С коммутатора своей щитовой проводник вечером подключился к полевой линии и подслушал разговор между командармом и его замом Ковтюхом, командиром Первой колонны. Тот был уверен и настаивал, что доктора подослали враги — ибо доктор требовал неслыханное: пленных нижних чинов немедля отпускать по домам! А своих гражданских, беженцев, держать на пять, а лучше десять вёрст от боевых порядков! Это было покушением на святая святых Таманской армии: семьи бойцов на марше всегда держались прямо за ними, и это

поднимало мораль в частях, а самих родственников оберегало от нападений вооружённых мародёров. Беженцев теперь набралось тысяч за тридцать, их и так уже требовалось охранять отдельно, а в армии оставалось по пятнадцати патронов на бойца. Матвеев, как это часто бывает с мелочно упрямыми людьми, быстро внял доводам Ковтюха, легко отказался от своего прежнего мнения и приказал взять доктора под арест. Командарм, впрочем, и без того с большим трудом доверял *сухопутным, особо со стёклами на носу*.

Покидать вагон дозволялось только по нужде и только под конвоем.

В подушках вагона оказались только гусиные перья, они не годились обезумевшей бабке. Проводник нашёл у себя в щитовой восковой огарок и старую австрийскую охотничью шляпу с петушиным пером. Труднее всего оказалось с солью: её удалось выменять у охраны на тройное количество чёрного чаю.

Ранним утром вагон ярко осветили два автомобильных прожектора, по узкому коридору протопали сапоги, дверь купе с грохотом отодвинулась, и кто-то хриплым голосом приказал деду: «Выходи!»

Белокопытов взвёл курок — пока жив, он не собирался отдавать медика на расправу без письменного распоряжения РВС. Бабка не вышла из своего купе, лишь настежь раздвинула двери и свечой подожгла перья. Завоняло палёным, будто *смалили* гуся. Бросив в пламя щепотку соли, безумица громко взвыла: «*Чемче! Патла! Лупта! Шупта!*» Деда подвели и остановили у её купе; он молча снял, спрятал в футляр своё пенсне и протянул бабке. Даже не взглянув на него, та принялась ворожить с удвоенной страстью, причитая и вскрикивая. Конвоиры, суеверные мужики, терпеливо ждали, пока она закончит свои заклинания, но она не успокоилась, пока не повторила дважды: *«Однота, двота, трота, чемче, патла, лупта, шупта, джэвер, башна, джа!»*

Наступила тяжёлая, смертельная пауза.

Только тогда в полной тишине старший конвоир деликатно кашлянул и обратился к деду: «Так что, товарыщу дохторе, зараз вам возможно соединиться з вашей законной супругою, покушать чем Бог послал и продолжать верную службу нашему делу рыволюцыи».

Обернувшись к Белокопытову с его взведённым револьвером, старший вытащил мандат с печатью и старательно зачитал важную бумагу:

«Реввоенсовета СевКавРеспублики особым решением от октября одиннадцатого, сэ гэ: Матвеев Иван Иваныч, командующий Таманской армии, от должности отстранён и приговаривается к расстрелу за неподчинение боевому приказу Главнокомандующего, каковой приведён в исполнение. На чём основываясь, решением Эр-вэ-эсЭс-кэ-эр медвоенспец доктор Гольдберг Мэ Эм от аресту с благодарностью за службу освобождается».

Быстрее всех оценил неожиданный оборот событий начохран. Он знал Сорокина и выполнял его поручения, когда тот ещё командовал отрядом в сто пятьдесят казаков. И он понимал, как близко сейчас от них всех, пассажиров салон-вагона, всё ещё ходит кругами Костлявая, ждёт, сволочь, после осечки, другого своего шанса. Поэтому, возвратив конвою оружие и приказав всем лечь на пол и оставаться внутри, Белокопытов помчался на дрезине в депо.

Верный «Смит» не подвёл его и на этот раз, и через час реквизированная у таманцев «Овечка» уже оттаскивала их, пыхтя, подальше от Курганной, подальше от смерти.

Сорокина и его людей в Таманской армии ненавидели тяжёлой крестьянской ненавистью. О расправе с ним мечтали долго и терпеливо.

Пропасть взаимного недоверия между красными командирами и их частями была чудовищной, каждый подозревал в измене каждого. Как ни странно, тон этому задавали не сами военные, а новорождённые гражданские правительства. Своим правительствам, впрочем, командиры тоже не доверяли.

Главковерху Сорокину недавно исполнилось тридцать четыре года. Настоящий самородок, милостью Божьей он был создан для военной карьеры. Наскоро, за три месяца прошедший всего лишь школу прапорщиков, он обладал уникальным военным чутьём: сочетанием осторожности, дерзости, расчёта и — что немало — военной удачи. Он чувствовал пределы возможностей своих бойцов и никогда не требовал от них ничего большего. Но главное — он знал цену манёвру. В этой смертельной схватке, без сплошных линий фронта, без бетонных укреплений, рождалась доктрина новой войны, непрерывно движущейся войны на колёсах, войны охватов, моментальных концентрированных ударов и рейдов по тылам. Одним из первых такую новую войну оценил сам генерал Людендорф и дал ей название: блицкриг.

Всего одиннадцать месяцев назад никто не слыхал о Сорокине — мало ли казацких отрядов носилось по степям Северного Кавказа среди возникавших, как грибы после дождя, разных республик: Черноморская Советская, Советская Кубанская, Терская…

В своей статье о войсках Северного Кавказа Наркомвоенмор Троцкий даже не упомянул его фамилии. Но четвёртого августа 1918 года ВЦИК РСФСР утвердил решение республиканского правительства: кубанский хорунжий Иван Лукич Сорокин был назначен Главнокомандующим всеми вооружёнными силами Северо-Кавказской республики, и под его началом оказалось около 125 тысяч бойцов и командиров.

Можно только представить, какую бурю злобных страстей это вызвало среди многих, кто знал его, и тем более, среди тех, кто никогда прежде о нём не слыхал. Удивительно, но именно это обстоятельство помогло доктору найти общий язык с Главковерхом. Чем-то неуловимым тот напоминал он любимого дедом Наполеона, во всяком случае, так, как он выведен был в пьесе «Маленький капрал». Разговаривать оказалось легко, и вскоре Сорокин попросил Белокопытова оставить их вдвоём и приказать принести чаю и сухарей, что было явным признаком доверия.

Доктор и сам привык ещё со студенческих лет к ревнивой враждебности своих однокашников. Его не любили за равнодушие к спорту, за суховатую аккуратность в занятиях, даже за интерес к нему слабого пола. По понятиям братства *Гамма Тэта Ипсилон* дамам должны были нравиться спортсмены: гребцы, боксёры и теннисисты, а не долговязые близорукие педанты, над которыми полагалось подшучивать… Каждая удавшаяся работа, каждая похвала известного профессора, приносила моему деду всё новых недоброжелателей.

Разговор затянулся на целый час, хотя планировалось не более двадцати минут: Сорокин возвращался в Пятигорск с фронта и назначил встречу на глухом разъезде на полпути от Армавира; туда, к его бронепоезду, и подогнали салон-вагон с доктором. Резонно предположив, что молния дважды в один пень не ударяет, дед решил отбросить свои обычные немногословие и осторожность. Его прямота и темперамент сразу же подкупили Сорокина, и тот стал подробно расспрашивать о шансах обуздать эпидемию. Всё ещё возбуждённый недавней близостью смерти, как от инфекции, так и от *Homo Sapiens*, доктор, не выбирая выражений, выложил все свои тяжёлые дорожные

впечатления, после чего вытащил «Перечень рекомендаций». Быстро пролистав его, Сорокин вызвал вестового и коротко приказал: «К барышням в пишмаш, восемь копий, немедленно».

Отдав вестовому лист, Сорокин перегнулся через стол, чтобы пожать деду руку: «Благодарю, доктор, очень полезная работа, честная, коротко и без трёпа. Принимаю к исполнению; не зря, выходит, за вами штаб-вагон высылали. Мне охрана докладывала уже, что весь путь сюда к нам вы опыты делали, даже у мёртвых брали пробы».

Потом откинулся на спинку кресла, отбросив полы черкески, заложил ногу на ногу и доверительным тоном сказал:

— Я ведь тоже медиком был, не знали? Два года военфельдшером это всё же кой-чего значит! Совет ваш беженцев обовшивевших держать подале от боевых частей — я ведь ещё когда такими же словами оформил, приказом Военревкома. Да разве эти… послушают… Вот и дождались: не белые нас убивают, а голод и вши! Неожиданно он достал из стола бутылку с иностранной этикеткой:

— Вы как, обедали уже сегодня иль нет?

Доктор жестом отказался от угощения.

— Ну, глядите, мне-то нельзя, я ещё всю ночь над картами спину ломать буду — а вот вам… Эта мужик-баба Гедройчиха мне ведь о вас по секрету сообщила: любимый, говорит, коньяк его *Мартель*, за него доктор душу отдаст. А тут как раз военпреда-француза запас подвернулся, реквизировали — и вот вам в подарок!»

Рука с бутылкой повисла над столом и доктору ничего не оставалось, кроме как взять её.

— А курить — курите? Папиросой могу угостить, настоящей турецкой, хотите?

— Нет, спасибо. Курю очень редко сигару — и не затягиваюсь…

— Этого не имею. Попадалась одна недавно, так её начштаба себе в трубку накрошил. Я и не попробовал…

— Если не секрет, скажите, откуда вы знаете Веру Гедройц?

— Ее-то? Так она ж главой Санинспекции сюда прикатила, с мандатом от самого Семашко. Она и рекомендовала вас: эпидемия, говорит, идёт — разыщите доктора Гольдберга в Киеве, может, он подскажет, что делать. Она и сигару ту оставила: сама курит их одна за одной…, — он усмехнулся. — Говорит басом — чудно́, прямо Шаляпин, обувь армейскую носит, обмотки, галифе. Я ей: а правда, говорю, доктор, что вы — княгиня? А она мне: «Ну и что ж, княгиня? Кака́ барыня

ни будь, а всё равно её е…ть», — и показывает грубо так, аж мне стыдно стало — ну мужик, настоящий мужик…

Раздался стук в дверь, их беседу прервали. Принесли копии «Перечня Рекомендаций», адъютант что-то зашептал Сорокину на ухо. Лицо Главковерха потемнело, и он стал заканчивать беседу.

— Что ж, спасибо, доктор. Остались бы с нами — мы вот-вот Ставрополь будем брать, а?

Доктор молча покачал головой.

— Ну тогда пускай Белокопытов и доставит вас откуда привёз, в целости-сохранности. Вы ему счёт не забудьте за ваши труды представить — а мы уж постараемся не обидеть, хорошо? Рад был знакомству.

Сорокин вышел из-за стола и протянул руку.

Доктор кашлянул и тихо спросил:

— Скажите… А нельзя ли вместо Киева к Ростову нас подвезти? А оттуда мы уж сами доберёмся — там на Киев поезда ещё ходят …

— Ростов? Вам что, жизнь надоела? Там же кадеты, белые сейчас!

— Я — гражданское лицо. И при мне мандат, выданный в Женеве. Полномочия члена швейцарского Красного Креста.

Сорокин пожал плечами:

— Ну, как знаете, на ваш страх… Что у вас там, родня, что ли, осталась?

— Там сейчас готовится съезд медиков по борьбе с «испанкой», академик Введенский обещал приехать. Это важно.

— А, понял… Знаете что, езжайте-ка пока со мной в Пятигорск, пусть прицепят вагон. А там решим, как вас получше в Ростов отправить. У меня всё.

Разговор был окончен к общему удовлетворению. Белокопытов сиял. Он проникся глубокой симпатией к деду, его восхитило независимое поведение доктора при аресте; колючий его характер он принял за храбрость, и Главковерху он дал о докторе самые лестные отзывы.

Через день после прибытии в Пятигорск деда ещё раз вызвали в вагон к Главковерху. Там в приёмной ждал его Белокопытов, чтобы объявить решение командующего. В Ростов доктора на мотодрезине доставляет начохран с конвоем. Там через своих людей его поселят в гостинице «Эльдорадо» на время съезда и обеспечат питанием. По окончании съезда ночью его на автомобиле заберёт все тот же

Белокопытов обратно в Пятигорск — а оттуда уже, в том же салон-вагоне, вместе с женой и фельдшером Порхуновым, отвезёт домой в Киев. Выехать в Ростов можно — да хоть через полчаса.

Это был царски щедрый план, и Белокопытов ожидал от доктора изъявлений радости и признания. Но тот только коротко поблагодарил и сообщил, что без жены никуда не поедет. Пришлось снова проситься в салон к Сорокину.

Командующий стоял сутулой спиной ко входу и не оборачиваясь, дал знак вошедшим садиться. Он отдавал какие-то распоряжения в трубку полевого телефона, затем обернулся к ним и устало спросил:

— Что теперь?

Дед опешил. Главковерха было не узнать, это был другой человек. Глаза, обведённые синими кругами, глубоко запали в глазницы и болезненно блестели, волосы прилипли к мокрому лбу; ему было душно, и черкеску он сбросил на пол, прямо под стол.

— Не хочет без жены ехать, — коротко ответил начохран.

— Ты всё ему объяснил?

— Не всё. Просит выслушать его.

На столе над жёлтой кожаной сумкой вспыхнула лампочка, запищал один из полевых телефонов. Сорокин снова отвернулся, взял трубку и стал слушать. Потом спросил только: «Кто ещё сумел скрыться? « И получив односложный ответ, медленно дал отбой. Всё ещё держа мёртвую трубку в руке, он начал говорить тихо, с трудом, не глядя на доктора.

— В Ростов вам нужно будет прибыть завтра и всего на три дня. Я отдам распоряжения… — Он замолчал, набирая воздух, и паузой воспользовался дед:

— Простите, но жену я оставить не могу. Её состояние…

— А если под мою личную ответственность? Или того лучше — Екатерины, моей жены? Меня сейчас на съезд ЦИК вызывают, так что могу пока поселить её у себя, или на попечении Екатерины Исидоровны в «Бристоле», номер люкс.

— Простите, никак невозможно, за ней требуется уход…

Снова вспыхнул лампочка.

— Список! Мне нужен их полный список, — сказал Сорокин в ожившую трубку, — чтоб с указанием имен-отчеств-псевдонимов-должностей. И чтоб без всяких сокращений, командарм-комбриг, полностью нужно, понял? Отбой. — Потом, наконец, взглянул прямо

в лицо доктора, словно просверлил его болезненно расширенными зрачками.

— Значит, с концами — никак?

— Сожалею.

Главковерх с шумом вобрал в лёгкие воздух и не мигая, больными пронзительными глазами упёрся в деда.

— А может, есть у вас какая-то тайная на это причина? — уже совсем тихо и с преувеличенным сочувствием спросил он.

— Если и есть, — громко и дерзко ответил тот, — и если тайная — к чему об этом упоминать?

— О, тогда я вас ещё хотел бы спросить, — Сорокин уселся на стол и позади себя опёрся ладонями о заляпанную чернилами поверхность. — Хотел бы спросить…, отчего вам всем кажется, что вы других можете обвести вокруг пальца? Отчего ваш брат вечно думает, что он самый умный, умнее всех?

— У меня братьев нет, — не совсем впопад ответил дед. — Оба они перешли в лучший мир ещё в прошлом году, во время второго киевского погрома.

Сорокин сполз со стола, близко подошёл к долговязому деду и глядя снизу вверх, стал говорить совсем уже шёпотом, свистя шипящими, и переходя на «ты».

— Погромом прикрываешься? Я вас всех насквозь вижу, и ещё на аршин под ногами у вас! — Сорокина затрясло, бешено побелели глаза, голова стала запрокидываться назад.

— Обстановку разнюхал, объехал расположения, а теперь жену боишься оставить в залог? Продать нас собрался, контра?

— У вас нервы ни к чёрту, командующий, вам нужен простой отдых, сон. Ни морфий, ни тем более, кокаин вам совсем ни к чему сейчас!

— Матвееву глупую башку задурил, думаешь со мной выйдет? Дудки! Казак — это те не матрос-горлодёр. У казака… сволочь… с казаком шутить… — Сорокину стало совсем нехорошо. Белокопытов подскочил, подсадил на стул, и главком перевёл дыхание.

— Вот мой приказ, начохран: доктора — под арест и чтоб живым мне был и при сознании! Штаб-вагон не отцеплять, все они едут в Невинку со мной на съезд. Там уж я весь материал представлю, на всю их шайку. И как съезд решит…

— А может, прежде самим разобраться, а? Что он, съезд, нас умнее что ль? — робко возразил Белокопытов.

— Тихо здесь! Как съезд решит, так и будет. Кого следует, я уже сам… разобрал. Ерусалимские… вишь… командовать на Кубани прибыли!.. К исполнению!

В наступившей тишине дед ухмыльнулся:

— *Merde*… Вот тебе, бабушка, и Наполеон.

Не глянув в его сторону, Сорокин, чуть пошатываясь, ушёл к себе в купе и задвинул дверцу.

Ни дед, ни начохран ещё не знали о том, что произошло сразу по прибытии бронепоезда в Пятигорск.

Не успел поезд Главковерха остановиться, как он в приступе ярости вызвал авто и ворвался прямо на совещание Реввоенсовета. На фронте царил хаос, неразбериха, ему передали два приказа от РВС, отправленные прямо в войска через его голову. Его, Главковерха, даже не считали нужным об этом известить, и кто?! Штатские, инородцы, сроду не державшие винтовки в руках! Он швырнул на стол председателя извещение об отставке, тот разозлился, смял бумагу и швырнул её назад в Главковерха. Ни уговоры, ни объяснения не помогли — Сорокин в бешенстве покинул совещание, хлопнув дверью.

Наутро по его приказу были арестованы четыре члена Реввоенсовета по обвинению в измене и заговоре. Конвоиры расстреляли их по дороге в тюрьму. Все четверо оказались евреями, занимавшими высшие посты в правительстве: председатель ЦИК Рубин, секретарь крайкома РКП(б) Крайний (Шнейдерман), председатель фронтовой ЧК Рожанский, уполномоченный ЦИК по продовольствию Дунаевский. Пятого, главу Республиканской ЧК Власова, бежавшего в Минводы, обнаружили там и пристрелили на месте.

Прокламации-Обращения Главковерха к населению тоном своим и стилем оставляли мало сомнений в чувствах и намерениях Сорокина: он твёрдо решил убрать инородцев вон из совдепов СевКавРеспублики. Современный читатель легко узнает здесь знакомые нотки: такой стиль с тех пор использовался советской властью не раз и не два:

«К товарищам красноармейцам и гражданам
Северо-Кавказской Социалистической Республики.

21 октября раскрыт заговор против Советской власти, армии и трудового народа, устроенный членами Центрального Исполни-

тельного Комитета: (следует перечисление изменников с точным указанием их еврейских отчеств и псевдонимов*), **которые расстреляны мною как предатели…***

Обращение завершалось так:

…В то время как доблестные солдаты революции проливали свою драгоценную кровь за лучшую участь трудящихся, боролись с капиталистами, буржуями и врагами трудовых масс, эти шкурники запасались материалами на костюмы, пальто, из помещённой ниже описи вещей, найденных в комнатах заговорщиков, граждане увидят, до какой предусмотрительности дошли эти шкурники. Чего только нет у них про запас, вплоть до керосина и верёвок!»

Остальные члены ЦИК еврейского происхождения успели скрыться и избежали расправы. Ими в подполье решено было созвать экстренный съезд ЦИК подальше от Пятигорска, где всё ещё свирепствовал сорокинский террор.

В станице Невинномысской на 27-е октября был назначен 2-й Чрезвычайный съезд ЦИК Советов, высший орган власти СевКавРеспублики. Сорокин согласился прибыть на него с доказательствами вины казнённых.

Не то чекистами, не то ещё кем-то было сделано всё, чтоб он на съезд опоздал.

Перед рассветом бронепоезд Главковерха, притушив огни, остановился у Курсавки, на полпути от станицы Невинномысской. Дальше путь был разобран. Охрана спрыгнула с подножек паровоза, взяла наизготовку, бойцы направились к телеграфной будке. Телеграфист донёс, что ночью внезапной атакой деникинцы вклинились между Армавиром и станицей, и съезд закрылся ввиду опасности для жизни делегатов. Для доктора это означало — конец.

Жизнь его теперь зависела только от воли Сорокина. Белокопытов, верный его морячок, действительно хорошо знал бешеную натуру своего начальника. Дело пахло керосином. Дело было — табак. Дело было — швах.

Начохран прошёл вдоль тускло освещённого коридора, постучался в купе жены арестованного — там было темно, но она даже и не ложилась — и глухо сказал:

— Ворожи, докторша. Самое оно время теперь — ворожить.

Белокопытов спал крепко и не узнал, что ещё раньше, глубокой ночью, состав на минуту задержался перед семафором, и Сорокину передали телеграмму:

«Военная срочная. Из Невинки.
Всем, всем Революционным войскам, Совдепам и гражданам.

ПРИКАЗ
2-й Чрезвычайный съезд Советов Северного Кавказа и представителей революционной Красной Армии объявляет бывшего командующего Сорокина, как изменника и предателя Советской власти и революции, вне закона и приказывает немедленно арестовать его и доставить в Невинномысскую для гласного народного суда. Почте и телеграфу не выполнять никаких приказов Сорокина. Исполнять, проводить в жизнь приказы только за подписью следующих членов: Председателя Реввоенсовета тов. Полуяна и нового Главкома тов. Федько. Второй Чрезвычайный съезд Советов Северного Кавказа».

Узнав о решении съезда, Сорокин ни минуты не теряя, сошёл с поезда и в сопровождении конной охраны, весь путь следовавшей за составом, верхами направился прямо в Ставрополь, только что отбитый войсками у белых. Там он надеялся на встречу с оркестром, рапорт командующего взявшей город Таманской армии и его чествование как главкома-победителя — ведь победителей, как известно, не судят.

Вместо этого Сорокина попытались прямо на месте арестовать: приказ Съезда пришёл в армию часом ранее. Сперва упустили и его, и конвой, но вскоре догнали и окружили всю группу на пятнадцатой версте от города. Бывший Главковерх при аресте сопротивления не оказал, и его отвезли в ставропольскую тюрьму. Там, во время оформлении в тюремной канцелярии, Сорокина застрелил один из командиров таманского полка, желая отомстить за смерть своего командарма Матвеева.

Весть об аресте Сорокина принёс в опустевший поезд телеграфист как раз к завершению бабкиной ворожбы. Машинисты принялись разводить пары, но в салон-вагоне бабка не спешила закончить свои заклинания, напротив, стала бормотать ещё энергичнее. Теперь



на блюдце Петри, взятого в лаборатории деда, перед ней дрожало синее пламя подожжённого спирта. На дне блюдца лежала обшитая белой тканью цинковая пуговица; несмотря на протесты, начохран по бабкиной просьбе срезал её у деда с кальсон. В коридоре возле купе наблюдали её действия любопытствующие обитатели вагона.

Вдруг бабка замолчала, задула пламя и резко выпрямилась. «Всё. Его больше нет. Нет среди живых. Можете привести доктора сюда,— властно сказала она, прижав пальцем пуговицу — и это прозвучало почти как команда.

Деда держали в отделении проводника, и тот привёл его к бабкиному купе. Без очков, в чёрном тулупе, с головы до ног вымазанный сажей, он напоминал не то гигантского трубочиста, не то оперного чёрта. Проводник признался, что при остановке скрыл деда в угольном ящике: там хоть было и холодно, зато люк сброса открывался прямо на пути, и можно было уйти — *в случáе чего*.

— Не подходить ко мне! — вскричал дед.— Горячего чаю. Потом — горячей воды мыться, зелёного мыла. В тулупе полно вшей! Но прежде всего — горшок! Слышишь, Ида? прежде всего в купе ко мне — la vase de nuit, ночной горшок!

— От человек — кремéнь! — воскликнул Белокопытов, видавший виды морячок-начохран, и оглянулся — разделить свой восторг с присутствующими.— С того свету, можно сказать, вернувшись дважды — и ничто его не берёт, как с гуся ему вода! Эй, доктор, на службу возьмёшь? Я ведь тоже мертвяков не боюсь, *кадаверов* этих, а?

* * *

Если кому-либо из читателей покажется, что автор этой истории насочинял, заврался, перехватил — отсылаю его к архивам Таманской армии, к истории этих «Железных потоков» и «Стальных дивизий», разбитых Деникиным вместе с 11-й Красной Северо-Кавказской армией спустя два месяца после описываемых событий. А на самом

деле, просто уничтоженных «испанкой» и тифом, ибо на съезд врачей доктор не попал и советам его так никто и не внял.

Все имена реальных участников сохранены, оставлены без изменений, как есть.

Единственное, что автор, правды ради, пожелал бы добавить к своему рассказу, это разве что тайну доктора, чуть не стоившую ему жизни. Она состояла в том, что бабка, жена его, восемнадцати лет от роду, в те дни была на шестом месяце, ожидая второго ребёнка. Коего она вскоре успешно родила, на два месяца прежде положенного срока. Вопреки опасениям, мальчик Яша оказался крепким, прожил благополучно до 97 лет, заведя к концу жизни бурный роман с сиделкой, бывшей моложе его на двадцать четыре года.

За первым ребёнком, девочкой, рождённой бабкой годом раньше, присматривала в тот роковой месяц добрейшая старушка, соседка по площадке. Девочку звали Женька — позднее Евгения Михайловна Ростова — и автору этой истории она приходится матерью.

ОБ АВТОРЕ

Виктор Норд *— режиссёр и сценарист. Ему было девятнадцать лет, когда по его репортажу был сделан документальный фильм «Ночной вокзал».*

Это помогло ему поступить в Институт кинематографии на факультет режиссуры. В 1973 году В. Норд уехал в Израиль. Первой его работой там стали военные репортажи для Си-Би-Эс и документальный фильм «Третий день войны» («Война судного дня» 1973 г.) Главную роль в его художественном фильме «Сад» (1977) сыграла молодая американская актриса Мелани Гриффит, что положило начало её успешной карьере в кино.

С 1982 года Виктор живёт и работает в Нью-Йорке. Его работы представлялись на фестивалях — Канны, Сан-Франциско, Торонто, Таормин. В 2014 году в Москве был издан его роман «Непредвиденные последствия» — первая большая работа, опубликованная на русском языке.

Постоянный автор журнала «Времена».

Евгений КИСИН

ВО ВРЕМЕНА КОРОНАВИРУСА

Всемирно известный пианист Евгений Кисин 10 октября отмечает юбилей — 50 лет

ОТ РЕДАКЦИИ:

Десять лет назад газета «Нью-Йорк таймс» назвала статью о нём: «Все признаки гения». И вот юбилей, которому предшествовал достаточно долгий, мучительный период отмены концертов музыканта ввиду пандемии.

Он не терял времени даром — занятия музыкой, чтение, общение с друзьями по *WhatsApp* и другим каналам интернета, обширная переписка…

Мы публикуем фрагмент дневника Евгения Кисина. Первые записи в дневнике он сделал в марте прошлого года, когда коронавирус уже вовсю гулял по планете, рождая страхи и неумелые попытки борьбы с ним. Именно эти первые дневниковые страницы, любезно предоставленные автором, мы выбрали для публикации.

Отмечу, что журнал «ВРЕМЕНА» связывают с пианистом тесные творческие отношения. Кисин, как известно, самостоятельно выучил идиш и блестяще им владеет, пишет прозу, публицистику и сочиняет стихи на еврейском языке. Наш журнал стал первым изданием, несколько лет назад опубликовавшим рассказы Евгения на русском в переводе с идиш. И вот теперь — фрагмент дневника.

Меня в тексте более всего поражает, лучше сказать — изумляет широта и разносторонность интересов выдающегося музыканта. Сколько же книг самой разной тематики: художественных, философских, публицистических, мемуарных он прочёл за эти меся-



цы! Они находили отклик в его душе, рождали любопытные, глубокие мысли. И, разумеется, углублённое изучение новых произведений, оттачивание нюансов исполнения, которое любители классики наконец-то услышат на его сольных концертах (надеюсь, гастроли Кисина по миру вскоре возобновятся…)

В дневнике даются сноски, поясняется, о ком идёт речь, так что у читателей не возникнет проблем с восприятием текста. Единственно, автор «зашифровывает» жену, называя её К. Впрочем, секрета нет — это Карина Арзуманова, подруга детства Евгения, на которой он сравнительно недавно женился и переехал жить к ней в Прагу. И ещё. Кисин не скрывает, что имеет проблемы со сном, это его тревожит и говорит он об этом открыто, не стесняясь.

Надеюсь, вы, друзья, с интересом прочтёте фрагмент дневника, немало почерпнёте для себя.

Пользуясь приятной возможностью, хочу сердечно поздравить Евгения Кисина с 50-летием и пожелать здоровья, благополучия, радости творчества.

Давид Гай, главный редактор журнала

12 МАРТА 2020

Сегодня гулял больше пяти часов, прошагал двадцать три с половиной километра. На обратном пути, уже подходя к дому, вдруг подумал: а что, если начать вести дневник? Ганс-Дитер и Линда[1] только что сообщили, что наши концерты с Рене Флеминг[2] в Мюнхене, Дрездене и Каламазу, запланированные на 22-е и 25-е марта и 15-е апреля, отменяются (Линда написала, что, возможно, это не послед-

[1] Ганс-Дитер Гёрэ и Линда Петрикова — немецкий и американский импресарио.

[2] Флеминг, Рене — известная американская певица.

няя отмена). Чехия недавно закрыла границы с тринадцатью странами, Америка на месяц запретила въезд из Европы (кроме Британии), так что придётся много дней провести дома, и теперь у меня гораздо больше свободного времени, чем было до сих пор. Главное, чтобы эти меры и правда помогли людям защититься от вируса… Зато, надеюсь, наконец-то смогу привести в порядок свой сон.

Все-таки Трамп — конченый придурок: из Европы въезд в Америку запретил, а из Китая — пожалуйста! И какой смысл делать исключение для Британии? Ведь через неё можно попасть в Америку из любой европейской страны. Из Праги, например, нет прямых рейсов в Нью-Йорк, поэтому мы летаем туда именно через Лондон. Ну, что Трамп не слишком умный, это давно не секрет, но наши «трамписты» не перестают меня удивлять…

13 МАРТА

Вчера лёг спать около часу ночи, быстро заснул, встал днём в четверть двенадцатого. Три часа погулял, прошагал четырнадцать с половиной километров, вернулся домой, заснул и потом весь вечер чувствовал себя нехорошо. Но, может, именно такие многокилометровые прогулки приведут мой сон в порядок?

На час зашла Мария.[3] Во время прогулки и после сеанса с Марией слушал записи квартетов Бетховена в исполнении Квартета имени Альбана Берга. Все-таки они были лучшим квартетом своего поколения! Потом дочитал эссе Альфреда[4] о Сталине. Как же хорошо, что я встретился и познакомился с автором! Хоть бы вся эта история с вирусом поскорее закончилась, очень хочется поехать в Будапешт (с Кариночкой!) и опять повидаться с Альфредом и Маршей![5]

Прочитал первую часть его эссе об Александре Втором.

14 МАРТА

Сегодня годовщина смерти бабушки Рахиль. Помянули, выпили немного вина. Уже тридцать два года… На старых фотографиях она

[3] Мария — физиотерапевт Кисина.

[4] Рибер, Альфред — историк, профессор Центрально-Европейского университета в Будапеште.

[5] Зейферт, Марша — его жена, тоже историк и профессор Центрально-Европейского университета.

выглядит крепкой, сильной, но я помню её уже старенькой, слабой. Видно, тяжёлая жизнь ей здоровья не прибавила.

Долго не мог уснуть, хотя с вечера ужасно хотел спать. Под утро проснулся, опять долго не мог уснуть и встал почти в полдень.

К. показала в «Фейсбуке» фотографию: совершенно пустая площадь Святого Марка в Венеции. И видео, как итальянцы поют на балконах.

Навестили Зарочку. На обратном пути зашли в русский магазин за продуктами. Присмотрел там несколько интересных книг, завтра куплю.

Сегодня прошёл почти тринадцать километров. Во время прогулки долго сидел на скамейке на Ольшанском кладбище (позавчера гулял по Новому еврейскому кладбищу, все аллеи там исходил); приятно было сидеть под ласковым солнцем. Мама этого не понимает, ведь в её возрасте любые кладбища вызывают совершенно другие ассоциации… Дай бог ей прожить ещё хотя бы пару десятков лет!

Из Оксфорда прилетел Ника. По закону он теперь должен две недели сидеть в карантине.

Народу на улицах очень мало. Некоторые рестораны через окно торгуют навынос.

Перечитал (впервые за много лет) «Пир во время чумы», полистал ноты Кюи,[6] посмотрел отрывки из фильма Захарова.[7]

Ника рассказал про споры со своими левыми однокашниками, которые хотят добиться, чтобы правым политикам запретили выступать в Oxford Union. Молодец! Объяснил нам, чем различаются gender и sex, и рассказал, что у них в Оксфорде дискутируют, бывает ли сексизм только по отношению к женщинам или по отношению к мужчинам тоже.

Дочитал статью Альфреда об Александре Втором.

К. показала в «Фейсбуке» замечательную песню о коронавирусе: сочинили и спели её грузинские студенты, которые застряли в Италии. Браво! Великолепная песня в грузинском национальном стиле, и поют прекрасно!

---

[6] Кюи, Цезарь (1835–1918) — русский композитор и военный инженер

[7] Захаров, Марк (1933–2019) — советский и российский режиссёр театра и кино.

Объявили, что завтра в Италии будет всеобщая молитва за избавление от эпидемии: с балконов прочитают «Патер ностер» и «Аве Мария».

15 МАРТА

Сегодня спал хорошо.

Странное чувство: обычно хочется быть ближе к людям, чтобы помогать друг другу, а сейчас надо поступать как раз наоборот, чтобы помогать и себе, и другим…

Оказалось, в русском магазине книги дают бесплатно. Взял много книг, мне дали для них картонную коробку. Пока ждал у магазина К. на машине, подъехала машина побольше нашей, молодая пара выгрузила из неё полные ящики продуктов и занесла в дом.

Рональдо заявил, что переоборудует два своих четырехзвездочных отеля в больницы. Браво, Рональдо!

Были с К. у тёти Марины. Зарочка тоже пришла; поспорили с ней, всё ли в природе совершенно или нет (в связи с обрезанием и т.д.). Потом гулял, прошагал девятнадцать с половиной километров. Видел человека около машины с открытым багажником, а там — огромное количество рулонов туалетной бумаги. Хотя Бабиш призвал народ не скупать весь товар в магазинах, всё равно скупают… Нашёл зелёную горку, не обозначенную на карте в айфоне, прогулялся по ней. Позже, когда уже стемнело, впервые в жизни зашёл в Парк Витков, где находятся памятник Яну Жижке и Мемориал памяти павших героев.

Перед сном зашёл к своим, принёс книги маме и Аллочке, они выбрали себе довольно много. Вслух читал маме и Анне Павловне «Миль пардон, мадам!» Шукшина[8] (они раньше не знали этого рассказа).

Весь день ждали сообщения от правительства, которое заседало с четырёх дня до половины двенадцатого вечера, решало, вводить полный карантин или нет. Решили ввести карантин на восемь дней: можно будет выходить из дома только на работу, за продуктами, в аптеку, по неотложным семейным делам, чтобы помочь родным. Разрешается гулять в парках и лесах, но рекомендуется соблюдать дистанцию два метра.

[8] Шукшин, Василий (1929–1974) — советский актёр, режиссёр, писатель.

Перед сном читал предисловие ко второму изданию «Что такое история» Э. Х. Карра.[9] Не знал, что в то время у британских интеллектуалов были такие апокалиптические настроения.

16 МАРТА

Снова спал хорошо.

В Америке и в Британии с коронавирусом полный бардак. Из Италии сообщают, что «согласно предварительным планам на будущую фазу кризиса, жертвы коронавируса, которым больше восьмидесяти лет, а также наиболее уязвимые могут быть оставлены умирать». Какой кошмар…

Подписал обращение против «конституционного переворота» и отослал своим единомышленникам в Москву.

Ходили с К. за продуктами, потом гулял в Ригровых садах. На обратном пути по просьбе К. зашёл в русский магазин купить гречки, но там только рассмеялись: нет гречки, все спрашивают. Может, завезут завтра, может, в четверг. Зато на полке появился второй том «Пословиц русского народа» В. И. Даля[10] (вчера был только первый), который я взял бесплатно. Прошёл в целом больше десяти километров.

На улицах и в парке народу не меньше, чем вчера, но ведь сегодня будний день, так что карантин, конечно, держит людей дома. Много машин. К сожалению, далеко не все люди стараются соблюдать двухметровую дистанцию.

Читал Карра.

17 МАРТА

Опять хорошо спал. Видно, долгие прогулки и правда помогают! Гулял в Ригровых садах. Когда вышел из дома, увидел слегка сюрреалистическую картину: почти пустые улицы, и большинство людей — в масках. Сюрреалистическое впечатление нарушал только шум машин. Конечно, скучно гулять по такому небольшому парку, без конца наматывать одинаковые круги. К. предложила завтра поехать в Летну.

---

[9] Карр, Эдвард Халлетт (1892–1982) — британский историк, политолог, дипломат.

[10] Даль, Владимир (1801–1872) — русский писатель, этнограф, лексикограф.

С К. и Марьяшей ходили по магазинам, покупали продукты себе и нашим мамам. В русский магазин сегодня днём завезли гречку. Сказали, есть новые книги, но их ещё не успели выгрузить.

Немного поработал, учил сонату Берга.[11] Перед сном читал Карра: перечитал то, что прочитал вчера, плюс ещё несколько страниц. Такой текст надо читать медленно и по нескольку раз. Интересны сомнения Карра относительно роли религии в жизни простых людей в Средние века. Насчёт мифа о важности религии для русских крестьян, который якобы разрушила революция 1917 года, он, конечно, неправ: на самом деле этот миф ещё семьюдесятью годами раньше развеял Белинский в знаменитом письме Гоголю. Сейчас это письмо особенно актуально в связи с поправками в Российской конституции…

18 МАРТА

Опять спал хорошо! Уже не помню, когда в последний раз хорошо спал несколько ночей подряд!

Учил сонату Берга, пьесы Хренникова[12] и 24-й этюд Шопена. С К. и Аллочкой ездили в Летну. Машин на улицах много, а людей почти нет. С завтрашнего дня нельзя будет выходить из дома без маски, хотя и сегодня большинство людей в масках. К. сама сшила несколько. На двери нашего дома висит объявление: пожилым людям предлагают помощь в доставке продуктов.

19 МАРТА

Проснулся раньше, чем обычно, но чувствовал себя выспавшимся.

Наконец-то до Трампа дошло, что надо что-то делать, и он объявил войну невидимому врагу. Ну, посмотрим… А в Италии, хотя все сидят дома, каждый день заражается 3500 человек.

Прошагал по Летне одиннадцать километров. Почти все люди в масках. Сегодня в Чехии за полдня заболело 122 человека.

Работал. Подсократил свою статью о толерантности и гомосексуализме, выложил в интернет и разослал друзьям. Катя ответила, что готова подписаться под каждым словом.

---

[11] Берг, Альбан (1885–1935) — австрийский композитор и музыкальный критик.

[12] Хренников, Тихон (1913–2007) — русский, советский композитор, пианист и общественный деятель.

20 МАРТА

Спал неплохо. В начале четвёртого начался дождь, поэтому прошагал всего семь с половиной километров, сначала по Вышеграду, потом по Летне. В Вышеграде красиво, но маловато места для прогулок. Вечером работал.

Здесь, в Чехии, уже почти тысяча заболевших… А в Италии умерло больше людей, чем в Китае…

Читал предисловие И. Луппола[13] к первому тому сочинений Дидро, изданных в Советском Союзе в 1935-м. Прочитал также статью о самом Лупполе. Да, именно потому что он был человеком независимых, с поправкой на то время, взглядов (за что потом поплатился жизнью), читать его нескучно и сейчас.

21 МАРТА

Спал очень даже неплохо.

Гулял по Летне, прошёл примерно четырнадцать километров. Народу очень мало, и все в масках. Сегодня было холодно и пасмурно, погода соответствовала общей обстановке.

Заместитель министра здравоохранения, председатель Центрального кризисного штаба Роман Примула заявил, что на данный момент удалось уменьшить темпы роста числа заболевших в стране с 46% до 30%, но придётся носить маски ещё не один месяц. А в Италии 53000 заболевших, и вчера умерло 793 человека… Сегодня наконец-то прилетел из Китая украинский самолёт с масками и защитными костюмами; на следующей неделе он опять сделает пару рейсов туда и обратно. Летел самолёт сложным путём, чтобы не оказаться в российском воздушном пространстве (через Индию и т.д.). Теперь хотя бы есть чем снабдить больницы.

Кажется, я понемногу осваиваю сонату Берга.

Опять читал Луппола. Действительно интересно!

22 МАРТА

Заснул не сразу. Проснулся под утро и опять долго не мог заснуть…

Гулял в Летне больше трёх часов, прошёл пятнадцать с лишним километров. Сегодня было солнечно, недолго шёл снежок, но я видел

[13] Луппол, Иван (1896–1943) — русский и советский философ, литературовед.

снежинки только в воздухе и на своей куртке, на земле — нет. Народу опять мало, и все в масках.

Сегодня первый смертельный случай в Праге: мужчина, девяносто пять лет. Правительство не исключает возможности закрыть границы на полгода.

Заболел Доминго…[14]

Теперь работаю только над 24-м этюдом Шопена. Да, я должен его (и 22-й этюд тоже) выучить сейчас, потом просто физически не смогу.

К. нашла несколько статей о том, что в результате эпидемии чумы в своё время произошёл скачок в развитии медицины, улучшились условия жизни, труда и т.д.

Перед сном опять немного почитал Карра.

23 МАРТА

Спал хорошо, встал раньше обычного. Нога перестала болеть.

Ездили с К. по магазинам за продуктами для себя и наших мам.

Почти три с половиной часа гулял по Летне, нашагал километров пятнадцать.

Рене предложила сделать видеозапись шубертовской «Аве Мария» (чтобы каждый из нас исполнил свою партию, а потом соединить обе записи) и выложить в интернет на разделённом экране. К. попросит Женечку, чтобы он меня записал. Я подготовил свою партию.

Перед сном читал Карра.

24 МАРТА

Сегодня спал прекрасно.

Разговаривал по «ватсапу» с врачом, которая научила меня упражнению, чтобы снимать напряжение; она прислала мне видео с инструкциями на русском.

Опять прошёл по Летне больше пятнадцати километров.

«Дойче граммофон» предложил принять участие в их проекте: они просят своих артистов сыграть что-нибудь и записать на видео, чтобы в следующую субботу выложить записи в интернет (это будет международный день музыки). Начал готовить 6-й полонез Шопена.

Женя записал меня на видео с «Аве Мария».

[14] Доминго, Пласидо (1941) — испанский певец и дирижёр.

25 МАРТА

Спал хуже, потому что не смог снова заснуть, после того как проснулся рано утром…

Сегодня день рождения Бартока и годовщина смерти Дебюсси… Барток (а также Григ) — прекрасный пример того, что можно любить свой народ, развивать его национальную культуру и в то же время быть человеком прогрессивных интернационалистических взглядов. Будучи венгерским национальным композитором (лучшим!), он был женат на еврейке и бежал с ней от венгерских фашистов в Америку, где умер в бедности.

Прочитал интересную статью Юваля Харари[15] в «Файненшл таймс» о возможных политических последствиях пандемии: контроль над населением и т.д.

Не выспался, так что гулять было трудно, поэтому сегодня прошёл меньше, двенадцать с небольшим километров. Уже стало странно видеть человека без маски. Один прохожий в парке меня узнал, спросил, импровизирую ли я иногда на фортепиано, сказал, что хотел бы взять у меня интервью, когда закончится пандемия. Дал ему электронный адрес. Судя по акценту, англичанин.

Вчера Трамп заявил, что, возможно, через три недели он отменит все карантинные меры, потому что они могут подорвать экономику страны. Ну да, разумеется, экономика для него важнее, чем человеческая жизнь… А тем временем в штате Нью-Йорк заразилось двадцать пять тысяч, и, по оценкам представителей власти, количество заболевших будет удваиваться каждые три дня. Губернатор Куомо объяснил, что штату понадобится не менее тридцати тысяч вентиляторов, а сейчас в больницах штата Нью-Йорк их только семь тысяч.

В Италии кошмар продолжается…

С. написала мне: «Биби занимается кризисом вместе с гурскими раввинами, которые говорят, что Мессия придёт после Пейсаха — «И придёт Искупитель Сиона». Так сказал министр здравоохранения». И ещё о Нетаньяху: «Он каждый день инструкции меняет, а люди теряют уверенность в завтрашнем дне, потому что без работы остаются. С другой стороны, не хватает тестов и респираторов. И нехватка респираторов, и вообще ужасное состояние системы

[15] Харари, Юваль Ной (1976) — историк, писатель, профессор Еврейского университета в Иерусалиме.

здравоохранения — это результат многолетней политики кабинета Биби. Отчёт государственных инспекторов за 2019 год, опубликованный на прошлой неделе, совершенно ясно показал, что Израиль и его система здравоохранения не готовы к пандемии. Кто бы сомневался! Из-за конфликтов с преподавателями до сих пор не ввели дистанционного обучения. У меня обе дочки и зять работают в клинике Ихилов в Тель-Авиве. Что делается в больницах, словами не описать. Слушать смешно, когда Биби говорит, что «Моссад» получил тесты благодаря его, Биби, большим связям, но только тесты это не те, которые нужны больницам, они совершенно бесполезны. И это только один пример. Это правда, что Биби не несёт ответственности за пандемию, но, по мнению экспертов, справляется с кризисом он очень плохо».

А наши правые «русские» израильтяне всё время пересылают мне (и друг другу) статьи о том, какой ужасный Верховный суд Израиля и что там уже царит диктатура Верховного суда, который подло преследует безвинного Биби…

26 МАРТА

Спал хорошо. Часто просыпался, но быстро опять засыпал…

Сегодня годовщина смерти Бетховена и Уитмена…[16] Просто невероятно, какой гигантский путь проделал Бетховен в своём творчестве! Думаю, в этом смысле с ним можно сравнить только Скрябина. И как изменилось фортепиано за время жизни Бетховена! А ведь для него и его современников этот процесс выглядел совершенно естественно… Да, тогда было другое время.

Три часа гулял по Летне, прошагал больше тринадцати с половиной километров. Видел, как работает ассенизатор: из биотуалетов — через шланг, прикреплённый к грузовику.

Получил письмо от Мартина:[17] в этом году фестиваль в Вербье будет отменён.

Человек, которого я встретил вчера, прислал вопросы и видео, на котором он говорит, как важно учить детей играть/петь по слуху и импровизировать. Его зовут Джереми Чепмен. Кажется, я где-то уже слышал это имя…

---

[16] Уитмен, Уолт (1819–1892) — американский поэт и публицист.

[17] Мартин Энгстрём — художественный руководитель музыкального фестиваля в Вербье.

Женя и К. записали меня на видео: полонез Шопена для «Дойче граммофон» и «Первое знакомство» Якушенко[18] для «Стейнвея».

Анне-Софи Муттер[19] и Акунин[20] заразились коронавирусом…

Довёл этюд Шопена до настоящего темпа! Ещё не на 100% совершенно, но больше чем на 90. Как ни странно, этот этюд легче играть обеими руками, чем каждой отдельно.

27 МАРТА

Поспал часов семь. Хотелось бы побольше, но долго не мог заснуть. Потом всё-таки заснул. Во сне слышал, как пою Сонату для скрипки № 3 Грига, и фантазировал: играю кому-то фрагменты этой сонаты и говорю: «Ну, и кто сейчас может написать такое?!» Утром впервые за много лет послушал эту сонату в исполнении Крейслера и Рахманинова. Конечно, играют они гениально, но, на мой вкус, было бы лучше играть вторую тему первой части нежнее. Мне снилось, что, играя самое начало второй части, я говорю, что эта музыка — как цветок, который раскрывается под снегом ранней весной (никогда раньше об этом не думал; эта мысль пришла мне в голову впервые, и именно сегодня во сне).

Подробно ответил на вопросы Чепмена.

Интересная новость: Ганц объединился с Нетаньяху. Лапид проклинает его за это, «Кахоль-лаван» раскололась. Борис Джонсон заразился коронавирусом.

В Пражском зоопарке родился слонёнок. Я сразу вспомнил старый анекдот: «Хаим, ты слышал? В зоопарке родился слонёнок». — «А евреям за это что-нибудь будет?»

Мэр Праги дал семьдесят два часа на то, чтобы освободили здание, где находится огромный бордель, и собирается поселить там бездомных, чтобы не разносили инфекцию (это прекрасное историческое здание, принадлежащее государству). Хозяева борделя протестуют, объясняя, что в таком случае шестьсот девушек, которые там работают, останутся без крыши над головой.

Гулял по Летне, прошагал больше девяти километров. Сегодня было тепло и солнечно. Вечером проработал всю программу (кроме

[18] Якушенко, Игорь (1932–1999) — советский композитор, пианист и педагог.

[19] Муттер, Анне-Софи (1963) — немецкая скрипачка.

[20] Акунин, Борис (1956) — русский писатель, учёный, переводчик.

полонеза) и 24-й этюд. Попробовал поиграть «Нимрода» Элгара (думал исполнить его как последний бис после новой программы) — нет, на фортепиано он звучит нехорошо!

Сегодня день рождения Ростроповича, а также тридцать шесть лет, с тех пор как я дебютировал двумя концертами Шопена в Большом зале Московской консерватории. Это был один из важнейших дней в моей жизни, но больше мне запомнились подробности не того, а следующего дня, когда Ляля, дочь нашей учительницы математики Татьяны Ильиничны Расс-Серебряной, ныне, к несчастью, покойной, объяснила мне, что мы живём в антисемитском государстве, и не всё, что пишут в газетах, правда. Было это в Звенигороде, куда мы поехали на несколько дней, чтобы (как мне объяснили через много лет) я не видел всей шумихи после моего дебюта. Тогда Анне Павловне позвонили из какой-то высокой инстанции и «пригласили» меня сыграть вторую и третью часть 3-го («пионерского») концерта Кабалевского в Кремле на гала-концерте в честь дня рождения Ленина. Я категорически заявил, что играть не буду. Все бросились растолковывать мне (безуспешно), что отказываться нельзя, и когда мы с Лялей остались в комнате одни, она сказала: «Тебя будут лишать сцены! Ты еврей, козёл отпущения!» — и объяснила, в какой стране мы живём.

Через несколько лет я описал этот инцидент (разумеется, выдумав другие обстоятельства) в рассказе «На родной чужбине», где у всех без исключения персонажей есть реальные прототипы. Кстати, история с концертом Кабалевского имела занятное продолжение. Я начал разучивать это произведение, но через десять дней Анне Павловне снова позвонили из той же инстанции и сказали, что играть Кабалевского не надо. «Почему?» — спросила Анна Павловна и в ответ услышала: «Ну, Анна Павловна, это же плохая музыка!» — «А что, десять дней назад вы не знали, что это плохая музыка?» — «Да, но мы думали, что сам Кабалевский будет дирижировать, и это было бы так хорошо: маститый музыкант и юное дарование! Но Кабалевский заболел и слёг в больницу, поэтому раз Женя недавно играл концерты Шопена, пусть теперь сыграет финал его 1-го концерта!» Ещё через пару дней опять позвонили Анне Павловне и сказали, что финал 1-го концерта Шопена чуть-чуть длинноват, поэтому я должен сыграть финал 2-го шопеновского концерта…

Незадолго до смерти Кабалевского я познакомился с ним в Доме творчества композиторов «Руза», и мы там очень хорошо общались.

Я показал ему несколько своих произведений. Сыграли две партии в шахматы, он выиграл первую, я вторую. В первой партии я зевнул ладью, и когда доиграли, Дмитрий Борисович сказал: «Мой сын, очень хороший шахматист, говорит, что после такого зевка надо сразу сдаваться, иначе противник поймёт, что ты рассчитываешь на его ошибку». Я до сих пор храню тетрадь, в которую я записал обе партии, и под ними стоят подписи Кабалевского.

Тогда (в конце декабря 1986-го) был его день рождения, и я специально написал и подарил ему джазовые вариации на тему его знаменитой песни «То берёзка, то рябина». Мама боялась, что он воспримет это как пародию, но ему вариации явно понравились, и он попросил меня сыграть их и записать на кассету, на другой стороне которой была записана его Соната для виолончели в исполнении Ростроповича.

28 МАРТА

Спал хорошо.

Сегодня опять было тепло и солнечно. Прошагал по Летне километров пятнадцать. Когда гулял, вдруг вспомнил… В начале «Швейка»[21] упоминается некий Фердинанд, который собирал собачье дерьмо. Больше ста лет прошло, а в Праге собачье дерьмо до сих пор повсюду! И каждый день на тех же самых местах… Но, несмотря на это, я всё равно очень люблю Прагу — и «Швейка» тоже. Иногда думаю: если бы я жил тогда же, когда Гашек, я бы тоже стал коммунистом?..

Написал первые восемь тактов новой песни на стихи Блока («На весеннем пути в теремок…»).

Сегодня день рождения Рудольфа Сёркина,[22] а также годовщины Мусоргского и Рахманинова…

Может быть, если бы я не родился и не вырос в России, русская музыка не была бы мне так близка. После Листа (хронологически) мои самые любимые композиторы — русские: Мусоргский, Рахманинов, Чайковский, даже Бородин мне ближе, чем Вагнер и Брамс, не говоря уже о Брукнере и Малере. То же самое с музыкой XX века: Прокофьев и Шостакович мне дороже, чем Шёнберг, Берг, Барток и Хинде-

[21] Швейк — главный герой романа Ярослава Гашека (1883–1923) «Похождения бравого солдата Швейка».

[22] Сёркин, Рудольф (1903–1991) — пианист и педагог.

мит. А если бы мои детство и юность прошли в Италии, я бы, наверно, очень любил итальянскую оперу, к которой я совершенно равнодушен (кроме Россини и «Отелло»).

Сёркин… В 1985-м я впервые услышал в записи его исполнение «Фореллен»-квинтета Шуберта. Тогда я разучивал его для концертов с «Виртуозами Москвы»,[23] и Спиваков[24] дал Анне Павловне иностранную пластинку Сёркина. Помню, мне понравилось, как Сёркин играет прелестную вторую тему первой части. Через пару лет на музыкальном фестивале в Шлезвиг-Гольштейне я познакомился с одним из тамошних меломанов (уже не помню, кто это был, он немного говорил по-русски), и он подарил мне несколько кассет, на которых, помимо прочего, были концерты Мендельсона в чудесном исполнении Сёркина. Ещё через год, когда Ганс-Дитер[25] возил меня на своей машине из Мюнхена в Цюрих и из Цюриха в Зальцбург, он всё время крутил компакт-диски, среди которых была сёркинская запись ля-мажорной сонаты Шуберта, и она произвела на меня сильное впечатление. После этого я стал покупать записи Сёркина во время поездок за границу и когда совсем покинул Россию… Хорошо охарактеризовал игру Сёркина Гарольд Шонберг[26] в своей книге о великих пианистах: «Благородство, идеализм, поиск истины». Я не мог бы сказать лучше; это не просто музыковедческая, но философская характеристика, в точности передающая суть искусства Сёркина.

Есть две записи концертов Сёркина, где он играет прелюдии Шопена (я очень удивился, когда их нашёл, не знал, что Сёркин играл Шопена в поздний период своей жизни): одна запись 1969 года в «Карнеги-холле», другая — десятью годами позже в Токио. Нью-йоркская запись — ничего особенного: исполнитель явно не шопенист, это не его музыка. Японское исполнение — не сравнить: ясно, что он действительно «искал истину», погружался в эту музыку. Конечно, за те десять лет он не стал шопенистом, но хоть это и не подлинно романтическое исполнение (как, например, у Корто,[27] Арге-

[23] «Виртуозы Москвы» — камерный оркестр, созданный Владимиром Спиваковым в 1979 г.

[24] Спиваков, Владимир (1944) — скрипач, педагог, дирижёр.

[25] Гёре, Ганс-Дитер — импресарио Кисина в Германии и Австрии.

[26] Шонберг, Гарольд (1915–2003) — американский музыкальный критик и журналист.

[27] Корто, Альфред (1877–1962) — швейцарский пианист, педагог, дирижёр.

рих[28] и других), очевидно, что играет настоящий, большой музыкант, для (и у) которого каждая нота говорит, каждая нота полна смысла — как и в его прекрасных знаменитых записях Моцарта, Бетховена, Шуберта, Брамса. Да, всю жизнь Сёркин искал — и находил. Настоящий, преданный служитель музыки…

Что-то я всё сильнее кашляю в последние дни. Неужели тоже подхватил коронавирус?..

…Нет, я ни тогда, ни до сих пор, к счастью, не заболел.

Перевод с идиш Исроэля Некрасова
(Россия, г. Санкт-Петербург)

[28] Аргерих, Марта (1941) — аргентинская пианистка.

Геннадий МИХЛИН

ЛИРИКА

Опять

В бытовщине увяз, прозевал всё на свете,
Укатила весна в разноцветной карете.
Где капель, где подснежники, дурь полуночная?..
Будто весть получил я с пометкою: «Срочная».

Догоняя весну, улечу я на Север,
Где весенней иллюзии след не потерян.
Попытаюсь осмыслить, познать воскрешение.
Жаль, опять подведёт меня воображение.

Меж зимою и летом я чувства израню
И опять удивлюсь неосознанной гранью —
Каждым кустиком, каждой увижу травинкою,
Укатила весна, а была невидимкою.

Значит, снова мне в путь, ещё дальше на Север,
Только там не растёт ни кустарник, ни клевер,
Там весна чуть живая во льдинах усталости…
До прозренья опять не дойти самой малости.

Тайга

Навеяно финской природой
Сопки, покрытые девственным лесом,
Камни, обильно поросшие мхом.
Кто-то в суровом миру́ поднебесном
смело с котомкой бредёт напролом.

Путник чужой, как видать, издалёка.
Кто, окаянный, заглянет сюда?
С Запада, Юга он или с Востока?
Что его гонит? Любовь — не беда!

Знает ли этот бесстрашный бродяга,
страстно гоним неизбывной мечтой,
что ожидает его не награда,
что никогда не вернётся домой.

Шелесты — будто бы кто-то талдычит
голосом вкрадчивым свой приговор,
то ли какие-то птицы курлычат,
то ли колдуньи словесный узор.

Словно расступятся ели и сосны,
солнце пробьётся, мелькнёт синева…
Эти глаза! Эти кущи как космы,
будто ресницы — осока-трава.

В этих глубоких глазах лучезарных
очень легко невзначай утонуть.
И незаметно в пучине коварной
тихо закончится тягостный путь.

Осень

В хельсинкских парках — законы баллистики,
осень жонглирует, это не мистика!
Буря играет последними листьями,
напоминая исконную истину:

юность со старостью кружатся парами,
радости в жизни вальсируют с драмами.
Ветер осенний сердитыми шквалами
всех награждает шальными ударами.

Листья упавшие — это уставшая
жёлтая бывшая зелень вчерашняя…
Утки, призывы природы проспавшие,
ориентиры на юг потерявшие…

Дождь ручейками, извилистой линией,
А в магазинах огни, изобилие,
Песни поют телефоны мобильные,
Просит прохожий кого-то: «Пойми меня…»

Мечутся души в путях и распутицах,
где же та печка, к которой притулятся?
Судьбы людские, как карты тасуются,
пересекаются так же, как улицы.

Лик городской светофорами мается,
чьи-то глаза нам навстречу бросаются,
но никогда больше не повстречаются,
нравится это нам или не нравится.

Сентиментальное время затмения —
площадь, видения как наваждения.
Здесь Александр, и в бронза-творении
память, история, предубеждения…

Время уходит — природой так велено,
Русь как империя Русью потеряна…
Звёздами падает тихо, растерянно
первый снежок на погон Маннергейма.

* * *

В стране весёлых чудаков
и с виду мрачных юмористов,
не пробуждаемся от снов
про лидеров кристально чистых.

ГУЛАГ и СЛОН — всё небылица…
Вожди-тираны? — клевета!
В поклонах низких первым лицам
живёт святая простота.

Страна традициями дышит,
стиль жизни непоколебим:
нам лозунг заменяет мысли,
что делаем, то и хотим.

Чуть власть — так вождь и узурпатор.
Урок про грабли учим вновь:

чем кровожаднее диктатор,
тем крепче подданных любовь.

Стихи о море

В природе будто всё устало,
толкнулся сейнер о причал…
«Моряк, ты слишком долго плавал…»
На берегу закончен бал!

Гонимый болью и смятеньем,
я забреду в ближайший бар.
И там напьюсь без наслажденья,
чтобы смягчить судьбы удар.

В том заведенье дымном, пьяном
угрюмы лица — не друзья,
сосед дремучий со стаканом —
видать, такой же, как и я.

И вот, случайный собеседник
умом окажется — Сократ!
И будут гениальны бредни,
и станет ясно: он — как брат.

Зажгутся фонари и будут
лучиться, вспарывая темь,
Сократ мне аргументов груду
добротных, цепких как репей,

вдруг выскажет. А я поверю,
что всё прекрасно — дай-то Бог!
Не надо всуе хлопать дверью
и убегать, не чуя ног.

Как будто так, да вот при этом
горшки не склею всё равно.
Салют, Сократ! Твоим советам
последовать мне не дано.

* * *

Инеем крыши строений мороз
посеребрил по-хозяйски умело.
Не оставляет надежды прогноз:
доброе лето давно пролетело.
Чайки смеются, лениво летя,
сумка легка в суете преддорожной…
Я ненароком обидел, шутя,
слишком беспечно и неосторожно.
Что мне теперь тот дурацкий фасон!
Истина билась в ладонях шершавых
в час, когда жадно глотал горизонт
солнце в мученьях обильно кровавых.
Я опоздал. И напрасно сюда,
в этот посёлок у Белого моря
сердце шальное пригнало меня,
с сердцем не мастер я спорить.
Вот он, рыбацкий колхозный причал,
сейнеры бьются в швартовах сонливо.
Именно здесь я тогда повстречал
девушку, что мне, смеясь, говорила:
«Тут побывало немало лихих,
слишком ты быстрый, моряк торопливый,
завтра, как все из залётных таких,
ты растворишься в тумане, мой милый!»
Нет, не вернутся те дни ни за что,
только причал и унынье осталось…
Мимо меня полным ходом прошёл
катер со странным названием «РАДОСТЬ».

* * *

Поэт в России меньше, чем Поэт,
Поэт не больше даже точки в строчке.
Интеллигент? Под микроскопом нет!
Рабочий? Тут понятно — он Рабочий.

Но, наконец-то, создан прецедент,
любезней быть не может прецедента:
Вступив в России в должность, Президент
гораздо больше просто Президента.

ОБ АВТОРЕ

Геннадий Михлин *закончил ЛВИМУ (ныне Государственный университет морского и речного флота). Работал в Балтийском пароходстве, инженером на производстве, в Мурманске в рыболовецких организациях. С 1990 года живёт и работает в Хельсинки.*

В 70-х годах были публикации в «Крокодиле», «Авроре», в периодической печати в Мурманске.

Вернулся к литературному творчеству, живя в Финляндии. Публикации в различных журналах, в финском Альманахе «Juolukka» (Голубика). Постоянный автор журнала «LiteraruS», Хельсинки.

Имеет ряд дипломов Международных поэтических конкурсов, в том числе за переводы финской поэзии. Звание «Серебряное перо Руси» в номинации «Переводы» с вручением Знака особого отличия — 2015 год.

В 2014 году издана книга «По жизни не в ногу…», Сборник «Финское лицо» («Эмигрантский блокнот» № 2).

В 2017 году к 100-летию независимости Финляндии вышел сборник «РАЗБЕГ. Финская поэзия во времени», издательство «Juolukka» (Голубика) С.-Петербург, Хельсинки.

Роальд МАНДЕЛЬШТАМ

ТАКАЯ КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ…



Бабушка Роальда не доверяла отечественной медицине (тогда ещё российской, имперской), и рожать уехала в США, вместе с мужем Яковом Горовичем. Там родился её сын, которого назвали Чарльзом. Чарльз Яковлевич прожил в США довольно долго, даже успел стать чемпионом какого-то штата по боксу. А потом принял решение вернуться в СССР — чтобы продолжать дело революции. Как выяснилось позже, совершенно зря.

Чарльз женился в 1931 году, а 16 сентября 1932 года у него и супруги, Елены Иосифовны Мандельштам, родился мальчик, которого назвали по моде 30-х в честь именитого человека — путешественника Роальда Амундсена.

Характерно то, что и семья Горович, и семья Мандельштам были обеспеченными — высшие слои общество, юристы в нескольких поколениях. Отец Елены, Иосиф Мандельштам был известнейшим адвокатом Санкт-Петербурга, не проиграл за карьеру ни одного дела.

Чарльзу не судьба была мирно жить в СССР. Еврейское происхождение и нерусское имя было достаточным поводом для ареста, нескольких лет концлагеря и высылки в 1937 году в Казахстан. Впрочем, он как-то в компании обмолвился, что Троцкий был неглупым человеком — и кто-то донёс, вот и всё. В 1943 году к отцу в Казахстан прислали сына, Роальда, потому что хилый и болезненный ребёнок вряд ли бы пережил вторую зиму ленинградской блокады. В эвакуа-

цию ребёнка отправили ещё до блокады. Елена Иосифовна пережила блокаду.

В эвакуацию к отцу маленький Роальд отправился в сопровождении бабушки, Веры Ионовны. Из Казахстана они вернулись в 1947 году.

Снова выйдя замуж, Елена взяла фамилию Томинг. Нехорошую немецкую фамилию пришлось изменить на русскую — Томина. В 1944 году инженера Дмитрия Томина, её мужа, арестовали — из лагерей он уже не вернулся.

В 1948 году, вскоре после окончания школы, Роальду поставили более страшный диагноз — костный и лёгочный туберкулёз. Он пытался что-то делать. Сначала Роальд поступил на востоковедческий факультет Ленинградского университета (учил китайский язык), но бросил через год, поскольку болезнь не позволяла много двигаться, да и вообще образование он называл «тухлятиной». Потом он учился в политехническом институте, но тоже бросил.

Он почти не выходил из дома. Лежал на кровати — и писал. Наброски, варианты, попытки создать крупные произведения. 400 стихотворений, по большей части маленьких, кратких — вот и всё, что он оставил после себя. И он принимал морфий — лошадиные дозы, потому что иначе боль не позволяла ему думать. Его руки были исколоты, как у профессионального наркомана. В общем, он им и был в какой-то мере. Морфий — как единственное и последнее лекарство. Какие-то деньги ему давали друзья. Какие-то — присылал отец. Чем-то кормила мать, которая перенесла три инфаркта (ей не было ещё и 60) и сидела на пенсии в 27 рублей. Что-то давала сестра, медик-лаборант. Что-то он получал от еврейской общины.

Он иногда читал свои стихи друзьям — в своей комнате, с трудом вставая. Он не любил и не хотел читать лёжа. Его друзьями были члены нонконформистской художественной организации «Арефьевский круг».

Судьбы всех участников этой группы непросты. Александр Арефьев, русский художник, был исключён в 1949 году из художественной школы, отчислен в 1953 году из медицинского университета, провёл три года в лагерях, умер в 47 лет в эмиграции, во Франции, в 1978 году. Вадим Преловский повесился в 1954 году. Владимир Шагин, чьи работы сейчас в Третьяковке, на протяжении нескольких лет находился на принудительном лечении в психбольнице. Рихард Васми был отчислен из архитектурного техникума, работал колори-

стом на картонажной фабрике, разрисовщиком косынок, клееваром, лаборантом в Ботаническом институте, кочегаром, маляром. Шолом Шварц более или менее работал и зарабатывал (маляром, реставратором), позже его картины выставлялись на выставках в Париже, Берлине. Родион Гудзенко отсидел 10 лет в лагере за то, что пытался бежать во Францию в 50-х.

Собственно, они познакомились на квартире у Рихарда Васми, точнее, в его единственной комнате, в 1948-м. Он пришёл, этот шестнадцатилетний мальчик, и читал свои стихи таким же юным художникам — и был интересен. Вот портрет Мандельштама работы Шварца.



Гораздо позже, в 1958 году, он познакомился со скульптором Михаилом Шемякиным. Впоследствии, уже после смерти Роальда, Шемякин был одним из инициаторов издания его стихов: именно в его руках оказалась большая часть сохранившихся рукописей. В 1956 году Роальд попал в больницу в таком тяжёлом состоянии, что врачи заранее подготовили и оформили свидетельство о смерти. Но он выжил тогда, его вытянули друзья и стихи. Он никогда не говорил о женщинах — только о некой Анне (или Алле), история больше ничего о ней не знает. Он посвятил Алле (или Анне) множество стихотворений. Он часто откровенно и вслух высказывал своё мнение о советской власти, он её ненавидел, презирал. Но в то время как его друзья-художники регулярно вызывались на допросы, Роальда никто не трогал. Формулировка, которую услышал как-то Гудзенко: «Мы даже его не вызываем, он сдохнет, это дерьмо! Мы даже его не вызываем по вашему делу, Родион Степанович, он и так сдохнет, его вызывать нечего! Он труп!» Это говорил майор КГБ. Поэт умер 26 января 1961 года, 28 лет от роду. «Высох совершенно, два огромных глаза, тонкие руки с большими ладонями, от холода укрыт чёрным пальто, а вокруг пара книг и много листочков с зачёркнутыми стихами, потом опять переписанными» — так писал Анри Волохонский (автор известного стихотворения «Под небом голубым») о последних месяцах Роальда, свидетелем которых был. За гробом шли всего два человека. Лошадь с санями и гробом — и две фигуры в валенках.

* * *

Мандельштам — ярко выраженный поэт-одиночка, в жизни и творчестве следовавший поздним романтикам (и отчасти акмеистам: так, сквозной для поэзии Мандельштама образ трамвая унаследован им от Николая Гумилёва). Его постоянная тема — родной город, предстающий в его стихах в мрачно-мистическом свете.

При жизни поэта не было опубликовано ни одно его стихотворение. В 1982 году стихи Роальда Мандельштама впервые опубликовали — в Израиле, в Иерусалиме, небольшую книгу «Избранное». С 1991 году его начали публиковать в России. Наиболее известна книга «Алый трамвай» 1994 года издания. Книга «Роальд Мандельштам. Собрание стихотворений». СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2006: Кирилл Медведев записал диск песен на стихи Роальда — «Призрак забытой руки».

Качания фонарей

Белый круг ночной эмали,
Проржавевший от бессонниц
И простудного томленья
Перламутровой луны,
Плыл, качаясь, в жёлтом ветре,
И крылом летучей мыши
Затыкал глазницы дому.
Темнота весенних крыш!

За окном рябые лужи,
Запах лестницы и кошек
(Был серебряный булыжник
В золотистых фонарях).
А за стенкой кто-то пьяный,
В зимней шапке и галошах,
Тыкал в клавиши роялю
И смеялся.

Алый трамвай

Сон оборвался. Не кончен.
Хохот и каменный лай.
В звёздную изморозь ночи
Выброшен алый трамвай.

Пара пустых коридоров
Мчится, один за другим.
В каждом — двойник командора —
Холод гранитной ноги.

— Кто тут?
— Кондуктор могилы!
Молния взгляда черна.
Синее горло сдавила
Цепь золотого руна.

— Где я? (Кондуктор хохочет).
Что это? Ад или Рай?
— В звёздную изморозь ночи
Выброшен алый трамвай!

Кто остановит вагоны?
Нас закружило кольцо.
Мёртвой чугунной вороной
Ветер ударил в лицо.

Лопнул, как медная бочка,
Неба пылающий край.
В звёздную изморозь ночи
Бросился алый трамвай!

Заклинание ветра

Свет ли лунный навеял грёзы,
Сон ли горький тяжёл, как дым,—
Плачет небо, роняя звёзды,
В спящий город, его сады.

Ночь застыла на чёрных лужах,
Тьма нависла на лунный гвоздь —
Ветер скован осенней стужей,
Ветер, ветер — желанный гость!

— Бросься, ветер, в глаза каналам,
Сдуй повсюду седую пыль,
Хилым клёнам, что в ночь стонали,
Новой сказкой пригрезив быль.

Сморщи, ветер, литые волны,
Взвей полночи больную сонь,
Пасти комнат собой наполни —
Дай несчастным весенний сон.

Серым людям, не ждущим счастья,
Бедным теням, забывшим смех —
Хохот бури, восторг ненастья,
Души слабых — одень в доспех.

Ветер, ветер — ночная птица!
Бей в литавры снесённых крыш —
Дай нам крылья, чтоб вдаль стремиться,
В брызги, громы, взрывая тишь.

Альба

Весь квартал проветрен и простужен,
Мокрый город бредит о заре,
Уронив в лазоревые лужи
Золотые цепи фонарей.

Ни звезды, ни облака, ни звука,
Из-за крыш, похожих на стога,
Вознеслись тоскующие руки —
Колокольни молят о богах.

Я встречаю древними стихами
Солнца ослепительный восход —
Утро с боевыми петухами
Медленно проходит у ворот.

Ноктюрн

Когда перестанет осенний закат кровоточить
И синими станут домов покрасневшие стены,—
Я окна раскрою в лиловую ветренность ночи,
Я в двери впущу беспокойные серые тени.

На ликах зеркал, драпированных бархатом пыли,
Удвою, утрою арабские цифры тревоги.
И в мерно поющей тоске ожидания милой
Скрипичной струной напрягутся ночные дороги.

Придёшь — и поникну, исполненный радости мглистой,
Тебе обречённый, не смея молить о пощаде;
Так в лунном саду потускневшее золото листьев:
Дрожащие звёзды лучом голубым лихорадит.

* * *

Вечерами в застывших улицах
От наскучивших мыслей вдали,
Я люблю, как навстречу щурятся
Близорукие фонари.

По деревьям садов заснеженных,
По сугробам сырых дворов
Бродят тени, такие нежные,
Так похожие на воров.

Я уйду в переулки синие,
Чтобы ветер приник к виску,
В синий вечер, на крыши синие,
Я заброшу свою тоску.

Если умерло всё бескрайнее
На обломках забытых слов,
Право, лучше звонки трамвайные
Измельчавших колоколов.

* * *

Я так давно не видел солнца! —
Весь мир запутался в дождях.
Они — косые, как японцы —
Долбят асфальт на площадях.

И сбросив с крыш кошачьи кланы
Искать приюта среди дров,
Морские пушки урагана
Громят крюйт-камеры дворов.

Дом Гаршина

С камня на камень, с камня на камень
Крылья ночных фонарей…
Тихи и жутки, злобны и чутки
Тёмные пасти дверей.

Холод ступенек, пыль на перилах,
Стенка, решётка, пролёт…
Смерть расплескала ночные чернила,
В пропасть тихонько зовёт.

Здесь он стоял, в бледной улыбке,
Серой тоской занемог —
Огненно-алый, злобный и гибкий,
Проклятый богом цветок.

Красные листья перед рассветом
Дворники смыли со стен.
Спите спокойно, в смерти поэта
Нет никаких перемен.

Спи, не тревожась, сволочь людская —
Потный и сладенький ад!
Всякий философ, томно лаская
Нежный и розовый зад.

С камня на камень, с камня на камень,
Стенка, решётка, пролёт…
С камня на камень, с камня на камень
Ночь потихоньку плывёт.

Вор

Вечер входит в сырые дворы,
Разодетый пестрей петуха,
Но не в тучи закатной поры —
В серебристо-цветные меха.

Он приходит в темнеющий сад.
Попросить у поникших ветвей:
— Дай мне золота, ты, Листопад,
На мониста подруге моей!

Только с ношей ему не уйти,
Перерезав дорогу ему,
Я стою у него на пути,
Все сокровища я отниму.

И монеты из жёлтой листвы,
И роскошную шубу из туч —
Угрожающим светом блестит
Из-за пояса вырванный луч.

Диалог

— Почему у вас улыбки мумий,
А глаза, как мёртвый водоём?
— Пепельные кондоры раздумий
Поселились в городе моём.

— Почему бы не скрипеть воротам?
— Некому их тронуть, выходя:
Золотые мётлы пулемётов
Подмели народ на площадях.

Мрачный гость

Мои друзья — герои мифов.
Бродяги,
Пьяницы,
и воры.
Моих молитв иероглифы
Пестрят похабщиной заборы,
Твердя своё
Баранам, прущим на рожон,
Стихи размеренной команды —
Такие песни не для жён.
— Здесь есть мужья…
— Но есть ли мужи?
(Мой голос зычен,
груб и прям.)
Дорогу мне!
Не я вам нужен!
Я не пою эпиталам!

* * *

Дикари! Нас кормят мысли —
Открывайте банки,
Если в них ещё не скисли,
Мысли-бумеранги.

На охоту! На охоту!
Смерть — микроцефалам!
Смерть — болванам, идиотам!
нас и так немало!

Только диких кормят мысли —
Проверяйте банки!
У кого мозги не скисли,
К бою, бумеранги!

Дон Кихот

Помнится, в детстве, когда играли
В рыцарей, верных только одной,—
Были мечты о святом Граале,
С честным врагом — благородный бой.

Что же случилось? То же небо,
Так же над нами звёзд не счесть,
Но почему же огрызок хлеба
Стоит дороже, чем стоит честь?

Может быть, рыцари в битве пали
Или, быть может, сошли с ума —
Кружка им стала святым Граалем,
Стягом — нищенская сума?

— Нет! Не о хлебе един — мудрость.
— Нет! Не для счёта монет — глаза:
Тысячи копий осветит утро,
Тайная зреет в ночи гроза.

Мы возвратимся из дальней дали
Стремя в стремя и бронь с бронёй.
Помнишь, как в детстве, когда играли
В рыцарей, верных всегда одной.

Хорен АРАМУНИ

«ВОЙНА И МИР»

С Ахмедом мы учились в одном классе. Он был литературным маньяком. Часами читал наизусть произведения средневековых и современных персидских поэтов. А дабы придать таинственности или же художественности своей устной речи или мыслям, он часто цитировал, особенно средневековых поэтов. А с каким мастерством он преподносил всё это, мог оценить только его слушатель!

По своим политическим взглядам он был крайне левым. Мало говорил о вере и религии, боготворил русских классиков…

Уроки у нас делились на две части — с восьми утра до двенадцати и во второй половине дня — с двух до четырёх.

…В этот день Ахмед не пришёл на вторую часть. Он даже во время болезни не отсутствовал, поэтому это нас озадачило, но на следующий день он вошёл в класс в хорошем настроении и начал без всякого вступления: «Около университета, в одном из книжных магазинов продают роман Толстого «Война и мир». Два огромных тома, цена — ужасно высокая, но великое дело сделано: первый том открыто выложили на витрине, это было предисловие, люди собирались, в основном — студенты, и читали. Представляете, продавец решил каждый день открывать по одной странице; замечательно; я решил каждый день с двенадцати до двух, в наши свободные часы, идти читать; книга очень дорогая, купить не могу…»

Не знаю, из скольких страниц состоял двухтомник и сколько лет — может быть, десятилетие — понадобилось бы, чтобы Ахмед закончил чтение всего романа. Иногда шутили, подтрунивали над Ахмедом, делали расчёты… Тот только улыбался. А однажды, когда ему не удалось почитать, с целью купить «Войну и мир» он пустился на поиски работы. Искал — и нашёл.

После уроков Ахмед шёл работать в химчистку. Многого от него не требовалось — любезно встречать посетителей, принимать одежду для чистки, давать соответствующую расписку и провожать клиентов. Грамотность Ахмеда, конечно, сыграла большую роль в том, что он нашёл эту работу; зарплата его особо не удовлетворяла, но всё же…

— Слушай, Ахмед, — в первый же день сказал ему хозяин, — не отправляй принятую одежду в чистку до того, как внимательно проверишь карманы. В карманах часто бывает мелочь, редко — крупные купюры или документы. Ведь знаешь, что наши клиенты — люди состоятельные. Будь внимателен, иногда они возвращаются и заявляют о потере. Что бы ты ни нашёл, клади в конверт, пиши на нём имя и фамилию клиента; если он, придя за одеждой, потребует утерянное, нужно вернуть, в противном случае…

— А если не потребует?

— Не ясно, что ли? После того как несколько недель никто не спросит… Парень, ты что, не понимаешь? Иди, иди, кажется, кто-то пришёл…

— Понял, господин Хушанг, понял.

— Раз понял, иди — клиент ждёт.

* * *

Брат Ахмеда Шахрох был любителем выпить, но из-за его разгульной жизни ему всегда не хватало денег. Он ходил в мечеть, часто делал намаз, верил в Аллаха, но это ничем не помогало ему освободиться от пристрастия к спиртному.

У Шахроха было шесть классов образования, и он делал всё, чтобы Ахмед бросил учёбу и работал. Все их встречи заканчивались неприятно, доходило даже до драки… Хотя с того дня, как Шахрох узнал, что брат нашёл работу, он старался быть к нему более доброжелательным.

* * *

Ахмед был рад, он считал и дни, и заработанные гроши, уже зная, через сколько дней он будет в состоянии купить «Войну и мир». Единственной помехой был брат, который в удобное и неудобное время требовал денег, иногда — больше, чем составляла зарплата Ахмеда, поэтому и краткий «мир» вновь уступал место «войне».

Ахмед не сдавался.

Однажды он восторженно вошёл в класс, прочитал Хайяма, а присев, украсил его стихи пением. До прихода учителя весь класс сосредоточился на Ахмеде, а тот сидел как на иголках, было видно его желание в каждую секунду выскочить из класса. Он не сдержался, взял мою руку и, с четверостишием на устах, вывел меня из комнаты.

— Что случилось, Ахмед?

— Не скажу; мы не останемся на следующий урок; пойдём, и по дороге всё расскажу.

— Но куда, что случилось?

Вместо ответа тот прочитал четверостишие Хафеза и указал на приближающегося учителя.

Урок казался очень долгим. Как только прозвучал звонок, Ахмед махнул мне рукой и выскочил из комнаты. Когда вышли на улицу, он вытащил из кармана золотую монету — пахлеви, подержал перед моими глазами, сказал: «Веришь?» — и приблизил её к губам.

— Ахмед?.. — я вопросительно посмотрел на него.

— Сейчас расскажу: вчера то ли от первого, то ли от шестого клиента принял одежду — шесть сорочек, два жилета и две пары брюк, проверил карманы, вдруг во внутреннем кармане жилета нащупал маленький, но мягкий пакет: мне показалось, что это крупная сумма; хозяин был занят своим делом; я весь дрожал, боялся вытащить руку из кармана, в секунду столько всего пронеслось в голове, затылок вспотел; медленно вытащил руку — это были не деньги, а бархатный мешочек, украшенный орнаментами и повязанный золотой нитью. Несколько секунд я пристально смотрел на него, затем, испугавшись, позвал хозяина. Он взял, открыл мешочек и выложил содержимое на стол. Два золотых креста на цепочках и несколько золотых монет пахлеви…

— У кого ты взял это? — спросил мой хозяин.

— Это принёс домработник доктора Варданяна.

— За этим точно придут!

Так и случилось: не прошло и часа, как явился доктор.

— Здравствуйте, доктор, — встретил его хозяин и продолжал. — Так и знал, вам повезло, у нас честный работник, а то кто знает, что было бы… Возьмите ваше добро!

Доктор, ещё не взяв кошелька, бросил на меня недоумевающий взгляд; мне показалось, он хочет сказать, что там чего-то не хвата-

ет, но он сразу же улыбнулся и с благодарностью положил мне руку на плечо, потом, не проверяя содержимое мешочка, вытащил эту золотую монету и тайком от моего хозяина вложил мне в ладонь.

— И что?

— А то, что мы пропустим урок, пойдём продадим это..

— Ну и?

— Купим «Войну и мир» Толстого, не ясно, что ли?

— Ты настоящий безумец, — сказал я, и мы побежали стремглав...

* * *

Брат Ахмеда Шахрох заметил уединённость брата. Он не упускал шансов выяснить причину. Однажды, пользуясь отсутствием Ахмеда, он вошёл в его комнату и начал её обыскивать. Он не догадывался, что могло часами удерживать брата в маленькой комнате, почему тот стал таким замкнутым и молчаливым. Он обыскал все уголки комнаты, пока на гардеробе не нашёл две большие и толстые книги, прикрытые тканью. «Интересно, сколько они стоят?» — спросил сам себя Шахрох, а затем увидел цену на обложке. «Но откуда у него столько денег?» — не получив ответа на свой вопрос, он вышел с книгами под мышками и через несколько минут возвратился со святым Кораном в руках, положил его на место двух книг, прикрыл тканью и смылся...

Перевод с армянского Арцви Бахчиняна

ОБ АВТОРЕ

Хорен Арамуни Кешишян *родился в 1948 г. в Иране. Начальное образование получил в армянской, среднее — в персидской школе. Два года учился на арменоведческом факультете Исфаханского университета. В 1969 г. репатриировался в Советскую Армению. В 1975 г. окончил филологический факультет Ереванского государственного университета. В 1980 г. переехал в США.*

Автор 16 сборников прозы и шести пьес, которые были поставлены в Ереване и Лос-Анджелесе. Рассказ «Война и мир» взят из сборника «Нечеловеческая комедия» (Лос-Анджелес, 2018).

Арцви Бахчинян *(род.в 1971, Ереван), армянский филолог, писатель, кандидат филологических наук. В 1988–1993 гг. учился в Ереванском государственном университете (факультет армянской филологии). В 1996–1997 гг. прошёл стажировку в Уппсальском университете (Швеция). С 1990 г. выступает в прессе со статьями и очерками об искусстве, деятелях культуры и армянских общинах мира (на армянском, английском, русском).*

Автор более десяти книг историко-филологического и биографического характера, а также сборника рассказов «Подснежники на футбольном поле» (2014), романов «Иноземец Мучик из Армении» (2017, русский перевод — в журнале «Литературная Армения», 2018) и «Хназ из ПГТ Болотное» (2019). Занимается также переводами (в основном с английского на армянский и наоборот).

Моисей Борода

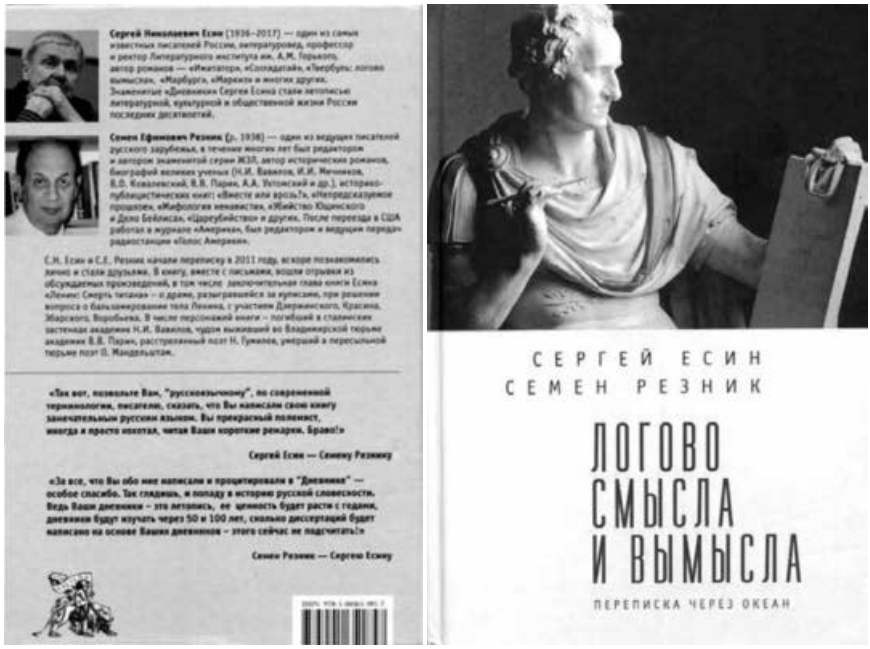
…И СЕРДЦА ГОРЕСТНЫХ ЗАМЕТ

Сергей Есин, Семён Резник. *В логове смысла и вымысла: Переписка через океан/ С.Н. Есин, С.Е. Резник.— СПб.: Алетейя, 2021—338 с.*

Перед мной удивительная, не укладывающаяся ни в какие определённые жанровые рамки, книга. Эпистолярный жанр — на что провоцирует её подзаголовок «переписка через океан»? Открыв эту книгу и прочитав две-три страницы, понимаешь: нет, хотя письма занимают немалую часть. Внезапно «письменность» может быть прервана фрагментом литературного произведения, отрывком из интервью одного из авторов — причём это прерывание не прерывает общего потока мысли — волна, на которую настроен читатель, не обрывается, но продолжается; приведённый фрагмент органично вплетён в общую ткань. И постепенно, страница за страницей, увлекаешься поразительным по искренности и глубине рассказом двух людей, двух литераторов, каждый из которых внёс более чем значимый вклад в культуру (хотя и был в разной степени заслуженности ею оценён), об их жизни, творческой и повседневной, в стране, назвавшей себя маяком человечества, — жизни в условиях свободы со всегда ощущаемой — когда менее, когда более давящей — гарротой на шее. Книга — дань памяти Сергея Есина, ушедшего из жизни в 2017-м.

Различны были судьбы авторов в этой стране.

Сергей Есин — литературовед, прозаик, автор целого ряда романов, знаменитых, блестящих в литературном отношении «Дневников», многолетний ректор Литературного института имени Горького, лауреат премий, отмеченный наградами российского государства — человек, к которому применимы его слова в одном из «Дневников»



о другом мастере: «…не распластывать искусство в жизни как рыбу на разделочной доске».

Семён Резник — прозаик, публицист, историк науки, литературовед, автор двадцати восьми книг — о предреволюционной и послереволюционной России, о выдающихся русских учёных (в их числе вышедшей три года назад и имевшей триумфальный успех книги о Николае Вавилове), открыто выступивший против сочившегося из всех пор советского антисемитизма и сращения красной идеологии с коричневой. Ощутив, что, по его собственному выражению, «выхода нет, а есть исход», был вынужден покинуть страну.

Читая эти письма, этот неторопливый, через океан, диалог (начавшийся в 2011-м и прерванный в декабре 2017-го скоропостижной смертью Сергея Есина) — о жизни, литературе, окололитературной среде, поневоле думаешь, до какой степени утеряна культура письменного общения, замещённая эсэмэсками, а потом, словно и этого было недостаточно, лайками, смайликами и прочим суррогатом. Что это — потеря доверия, что твоё может быть как-то интересно другому? Потеря интереса к личности другого, кроме разве что желания, чтобы тот «поставил лайк похвалы» очередному твоему опусу? Или потеря способности интеллигентного общения?

О чём эти письма, нередко полные «сердца горестных замет»? Главным образом — о литературе, о далеко не стерильной окололитературной среде, её «героях» — по выражению Семёна Резника, «несостоявшихся письменниках» (или, может быть, письмоводителях по духу и литераторов по должности) — и подлинных героях. О поверенной другому жизненной трагедии одного — безнадёжно больном любимом человеке, уход которого неизбежен, а страдания огромны. О книгах, посылаемых друг другу. О том, как «пробивалось» — или не пробивалось — к изданию то, что могло быть зарезано на полпути бдительным оком «проводников партийной линии», литературных церберов партократического государства, как например, истории с публикацией в ЖЗЛ булгаковского «Мольера», книги Чуковского «Современники», не говоря уже о книгах, посвящённых жертвам системы Парину, Вавилову…

Замечательна драматургия книги, в особенности то, что касается Приложений к письмам, то, как они «впаяны» в общий поток диалога.

Круг их тем широк: разговор Сталина с Пастернаком о Мандельштаме (фрагменты из романа Есина «Твербуль»), трагедия попавших в сталинскую мясорубку учёных (фрагмент из книги Резника «Против течения…»; там же возникает и тема Мандельштама, поразительное по проникновенности описание трагедии и диалог с фрагментом из романа Есина). Эта диалогичность продолжается и дальше: отрывок из книги Есина «Власть слова», посвящённый цензуре — и следующая за ним публикация Резника «Цензура и самоцензура в СССР» (выступление на 3-х Сахаровских Слушаниях).

Переписка по теме «Ленин» дополняется заключительной главой из романа Есина «Смерть титана» — о том, как возникла идея забальзамировать и сохранить тело «титана революции» и с какими личными рисками, амбициями и интригами было связано её воплощение. Эта тема перекликается с отрывком из книги Резника об академике Парине и деле Клюевой-Роскина, когда, на фоне антиамериканской истерии, Отец и Учитель завязывал новый узел террора, готовил новую Большую Чистку.

Своеобразным контрастом к этим темам, своего рода лирико-драматическим интермеццо (как медленная часть в музыкальной форме) входит в книгу проникновенная глава из романа Есина «Марбург» (тоже как Приложение).

Чем дальше углубляешься в эту удивительную книгу, тем сильнее возникают музыкальные ассоциации: полифония, возвращение темы, её «разработка» (термин из теории музыкальных форм), вступление новых тем, даже какие-то ассоциации с формой рондо.

Параллелями, перекличками, развитием тем пронизана вся книга. Говорить о них подробно — пытаться (с негодными средствами) пересказать эту потрясающее по богатству тематики, глубине и интеллигентной искренности издание — плод долгих наблюдений ума и горестных замет сердца.

ОБ АВТОРЕ

Моисей Борода *(1947) — писатель, музыковед, член Международной Гильдии литераторов.*

Кандидат искусствоведения. В 1989 получил международную стипендию фонда Александра фон Гумбольдта за исследования взаимосвязи музыкального и естественного языка.

С 1989 г. — в Германии. Председатель окружного отделения Немецкого союза музыкантов. Ведёт радиопередачи (WDR, SWR, Schweizer Radio DSR 2). Литературное творчество: рассказы, стихи, публицистика.



Алексей Орлов

ЧЁРНЫЕ РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ

и другие американские истории

Новая книга Алексея Орлова представляет собой сборник очерков об американцах и событиях американской истории, которые по той или иной причине либо замалчиваются, либо редко упоминаются в школах и университетах.

Толчком к созданию книги послужило движение, получившее название «культура отмены», требующее отрицания, запрещения, низвержения едва ли не всего, что создано в нашей стране, то есть перечеркивания или переписывания истории Соединенных Штатов. Книга озаглавлена по названию первого очерка, рассказывающего о том, что сегодня замалчивается, практически «отменено» — о черных американцах, владевших черными рабами. Таковых были тысячи. По переписи 1830 года 3776 свободным неграм принадлежали 12907 рабов. Читателей книги ждет много подобных «открытий».

Книгу можно купить:

- **У автора. Цена $20 (включая пересылку и авторский автограф). Чеки направлять по адресу:**

  Alexei Orlov
  28 Black Horse Run
  Biltmore Lake, NC 28715

- **Или на интернете — на сайтах Lulu.com или Amazon.com Price: $17 plus tax and cost of shipping and handling**

Вы можете также купить у автора его книгу *Тень проклятия Текумсе над Белым домом* (на русском или на английском языке). Цена $20. Не забудьте указать, на каком языке!

— Вы — русский или американец? Я имею в виду: кем вы себя сами идентифицируете?
— Видите ли… Если несправедливо ругают Россию, я — русский, если Америку — я американец.
— А если справедливо?
— Тогда мне вдвойне больно за страну.
— За какую?
— За ту и за другую…

Давид Гай

Город спит под конвоем снов.
Город видит туннели дул.
Город гонят вдоль мостовой,
Чтобы он никуда не свернул,
Чтоб он двигался в массе тел
К точке ада, адом ведом…

Вера Зубарева

…Какая это любовь, когда западня, в которую подлавливает нас Бог, чтобы мы отдали свой долг природе! Хуже врага — жена: пятая колонна, троянский конь, что там еще? А уж путешествовать надо точно одному! Как в том анекдоте о круизе: «Вам с женой отдельные кровати? отдельные каюты?» — «Отдельные пароходы!»…

Владимир Соловьев

…Я предпочитаю иметь дело с прошлым. Настоящее пошло и банально, будущее скучно и предсказуемо. Лишь прошлое обладает добротной материальностью, на прошлое можно положиться — прошлое не подведёт. Оно удобно, как потёртое кожаное кресло, которое мне осталось от деда-генерала, уютно, как верблюжье пальто, что покойный отец привёз из Лондона полвека назад. Прошлое не подлежит девальвации, оно бесценно…

Валерий Бочков

25 марта 2020

Прочитал интересную статью… в «Файнэншл таймс» о возможных политических последствиях пандемии: контроль над населением и т.д. Вчера Трамп заявил, что, возможно, через три недели он отменит все карантинные меры, потому что они могут подорвать экономику страны. Ну да, разумеется, экономика для него важнее, чем человеческая жизнь…

27 марта

Сегодня тридцать шесть лет с тех пор как я дебютировал двумя концертами Шопена в Большом зале Московской консерватории. Это был один из важнейших дней в моей жизни, но больше мне запомнились подробности не того, а следующего дня, когда Ляля, дочь нашей учительницы математики, объяснила мне, что мы живем в антисемитском государстве… Позвонили из высокой инстанции и «пригласили» меня сыграть на гала-концерте в честь дня рождения Ленина. Я категорически заявил, что играть не буду. Все бросились растолковывать мне (безуспешно), что отказываться нельзя, и когда мы с Лялей остались в комнате одни, она сказала: «Тебя будут лишать сцены! Ты еврей, козел отпущения!» — и объяснила, в какой стране мы живем.

Евгений Кисин